АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

5

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА — 1980

СОДЕРЖАНИЕ

Белодед И. К. (Киев). Значение русско-украинского языкового взаимодействия в выработке норм нового украинского литературного языка . . 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Гамкрелидзе Т. В. (Тбилиси), Иванов Вяч. В. (Москва). Ряды «гуттуральных» в индоевропейском. Проблема языков centum и satəm . . . 10

Эдельман Д. И. (Москва). К субстратному наследию Центральноазиатского языкового союза 21

Потаенко Н. А. (Чита). Словарные дефиниции как средство выявления принципов организации лексики (на материале слов со значением времени во французском языке) 33

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Назаренко А. В. (Москва). Об имени «Русь» в немецких источниках IX—XI вв. 46

Гринбаум Н. С. (Ленинград). Древнегреческий литературный язык. Позднеэллинистический период (I—V вв. н. э.) 58

Ушаков В. Д. (Москва). О некоторых стилистических фигурах в трудах Абдалькахира Джурджани 64

Порохова О. Г. (Ленинград). О лексике с неполногласием русского диалектного происхождения 74

Ковтун Л. С. (Ленинград). Азбуковники, или алфавиты иностранных речей конца XVI—XVII вв. (об историзме в критике источника) 84

Кузнецова Р. Д. (Калинин). К вопросу о функциях указательных местоимений в истории сложноподчиненного предложения 94

Мурьянов М. Ф. (Москва). К истории адъективной флексии *-ого* 106

Глонти А. А. (Тбилиси). К вопросу о трех суффиксах множественности в грузинском языке 111

Хайдаков С. М. (Москва). Дюративное действие и эргативная конструкция (на материале дагестанских языков) 120

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Климов Г. А. (Москва), Боголюбов М. Н. (Ленинград). *В. И. Абаев.* Историко-этимологический словарь осетинского языка 127

Федоров А. В. (Ленинград). *В. С. Виноградов.* Лексические вопросы перевода художественной прозы. 129

Бородина М. А. (Ленинград). *M.-R. Simoni-Aurembou.* Atlas linguistique et ethnographique de l'Ile-de-France et de l'Orléanais 133

Мельничук А. С. (Киев). *А. В. Бондарко.* Грамматическое значение и смысл. 137

Андерш И. Ф. (Киев). *І. К. Білодід.* Киево-Могилянська академія в історії східнослов''янських літературних мов 141

Вентцель Т. В., Поливанова А. К. (Москва). «Учебный словарь сочетаемости слов русского языка» 145

Кузнецова О. Д., Сороколетов Ф. П. (Ленинград). «Словарь русских говоров Новосибирской области» 150

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 153

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Ф. М. Березин, Р. А. Будагов, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин* (главный редактор), *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 202-92-04

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука»,
«Вопросы языкознания», 1980 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1980

БЕЛОДЕД И. К.

ЗНАЧЕНИЕ РУССКО-УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ВЫРАБОТКЕ НОРМ НОВОГО УКРАИНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Историческое взаимодействие двух братских языков — украинского и русского — следует рассматривать как во внутреннем структурном отношении, так и в плане общности экстралингвистических условий, проявлявшихся в жизни восточнославянских народов — их общей борьбы за единую линию развития культуры в процессе преодоления двойственности их языковой основы функционирования — церковнославянской и народно-разговорной, восточнославянской.

Известно, что понятия «старый» («древний», «книжно-литературный») украинский язык (XIV—XVIII вв.) и «новый» украинский литературный язык, основой которого является украинская национальная народно-разговорная речь, созданная гением народного языкотворчества на протяжении веков и отраженная в памятниках фольклора и в произведениях выдающихся мастеров слова, в исторической науке (собственно истории Украины, истории украинской литературы, истории украинского литературного языка) имеют четко очерченное содержание. В основе старого, или древнего, книжного украинского литературного языка лежал древнерусский язык Древнерусского государства — Киевской Руси, общей исторической основы, колыбели будущих русского, украинского и белорусского народов. В этом языке наблюдаются элементы древнерусские, церковнославянские, частично латинские, греческие, польские и др., а также элементы восточнославянской народно-разговорной речи. В произведениях письменности они были представлены в большей или меньшей степени в зависимости от характера жанра, назначения произведения. Староукраинский литературный язык уже в XIV—XVIII вв. оформился как украинский письменный язык, отображенный в научных трактатах ученых Киево-Могилянской академии, полемических и художественных произведениях писателей XVI—XVIII вв., в летописях, в грамматических и лексикографических трудах ученых этой эпохи, в деловых памятниках. Это подчинение определенному принципу организации, определенной регламентации, особенно в области взаимодействия между языком письменности и народно-разговорной речью, между стилистическими компонентами различных типов языка известно в науке и зафиксировано в ряде исследований.

Ф. П. Филин справедливо отмечает: «В древней Греции сложилась теория трех стилей (к этому мы вернемся позже.— *Б. И.*), сыгравшая благодаря Ломоносову заметную роль в становлении русского литературного национального языка (как известно, также и украинского, и белорусского.— *Б. И.*). А М. Грек, Л. Зизаний, П. Берында, М. Смотрицкий, деятели Киево-Могилянской академии у восточных славян, проводившие свою языковую политику? Да и древнерусские книжники не писали „без всякого устроения“, а руководствовались своими правилами. Несомнен-

но существовала своя особая „скрытая" кодификация»[1]. «Письменные традиции Киевской и Московской Руси хотя и были потрясены в XVIII в. (не только в XVIII, но и в предыдущих — XIV—XVII вв.— *Б. И.*), но и в трансформированном виде все же сохранились, не оказались прерванными»[2].

Устойчивость этого языкового взаимодействия объясняется, естественно, общностью происхождения русского, украинского и белорусского языков, органической их близостью, которая всегда осознавалась деятелями восточнославянской языковедческой науки и в средние века, а также общностью исторической судьбы русского, украинского и белорусского народов. Нельзя не согласиться с П. И. Житецким, который писал: «Церковнославянский язык, разработанный в грамматике Мелетия Смотрицкого, сближен был с такими свойствами русских наречий, которые составляют общее достояние их (отсутствие глухих гласных, полногласие и т. п.), поэтому его (этот язык.— *Б. И.*) можно назвать не столько церковнославянским, сколько славянорусским в самом общем значении этого слова»[3].

Как известно, восточнославянским народам пришлось вести борьбу с захватчиками как с востока, так и с запада, и для истории их языков огромное значение имели взаимная опора друг на друга, осознание их носителями своей общности. Территории распространения украинского и белорусского языков с XIII в. были захвачены Польшей и Великим княжеством Литовским. Следовательно, языки украинского и белорусского народов создавались как языки формирующихся народностей в условиях чужеродной среды. Известно, что польская шляхта, католическое духовенство всячески притесняли и искореняли украинский язык, подвергали его гонениям. Хотя в Великом княжестве Литовском язык славянорусский и был в какой-то период языком официальной деловой письменности (у некоторых исследователей он даже получил название «западнорусский язык»), все же украинский и белорусский языки как языки своих народностей не развивались и не обогащались. Что же касается украинского языка, то его спасла от гибели именно опора на древнерусскую традицию, близость к русскому языку, опора на украинскую живую народную речь. Борьба против политики шляхетской языковой полонизации в украинском и белорусском языках и опора в этой борьбе на национальные языковые традиции привели к тому, что, как известно из истории восточнославянских литературных языков, в украинском и белорусском оказалось меньше элементов книжных, церковнославянских, и больше народно-разговорных по сравнению с русским языком XVI—XVII вв. С другой стороны, этот процесс интенсивного вливания народно-разговорной стихии в украинский и белорусский литературные языки не мог с ходом времени не оказать влияния на их взаимодействие с языком русским. «В XVI—XVII вв. явно преобладало украинско-белорусское воздействие на русский литературный язык... В XIX—XX вв. становится заметным русское воздействие на украинский и белорусский литературные языки»[4], но этому предшествовала историческая традиция огромной важности и значения.

Наряду с книжным украинским литературным языком в XIV—XVIII вв. существовал, естественно, и богатый народно-разговорный устный язык, в своем многостилевом творческом функционировании, содержа-

---

[1] Ф. П. Филин, Что такое литературный язык, ВЯ, 1979, 3, стр. 11.
[2] Там же, стр. 4.
[3] П. И. Житецкий, «Энеида» Котляревского и древнейший список ее в связи с обзором малорусской литературы XVIII века, Киев, 1900, стр. 8.
[4] Ф. П. Филин, Указ. соч., стр. 5.

нии, отраженный в живой стихии речи народа, в устно-разговорном и песенном фольклоре, а также и в «высоких» стилях и жанрах устного народного творчества — в исторических думах и песнях. Выдающимися образцами литературного украинского языка в этом плане являются, например, Летопись С. Величко, переводы церковнославянской литературы на живой украинский язык и т. п. Ведущей закономерностью исторического развития этого языка было все более интенсивное насыщение его народно-разговорными элементами, что играло большую роль в процессе формирования украинской нации.

Борьба за обогащение литературного языка народно-разговорными, живыми элементами имела широкий характер, что отражено уже в конфессиональной, административной, или школьной учительской деятельности. В Киево-Могилянской академии эта борьба шла на основе теоретических установок учения о трех стилях, которые в ее стенах были одной из основ филологической науки в концепции, выработанной Феофаном Прокоповичем на основе старогреческого учения о трех стилях.

В стенах Киево-Могилянской академии учение о трех стилях (высоком, среднем и низком) стояло на большой высоте и строго соблюдалось. Для примера отметим, что известный полемист, писатель, проповедник Иван Вишенский, отдавший так много сил борьбе за славянорусский язык, против католической экспансии, много сделавший для «онароднения» украинского книжного языка, все же требовал: «Евангелія и апостола в церкви на литургіи простым языком не выворочайте; по литургіи же, для вырозумѣнья людского, попросту толкуйте и выкладайте» [5]. Однако стремление к приближению книжного, церковнославянского языка к «простой мове» было весьма сильным, популярным везде, в том числе в Киево-Могилянской академии, ибо этого требовала жизнь, развитие культуры народа. В этом процессе весьма влиятельную роль играли преподаватели, студенты и воспитанники Киево-Могилянской академии. Приведем утверждение одного из таких воспитанников академии, затем священника Симеона Тимофеевича. Доказывая необходимость говорить с церковной кафедры «простою барзо мовою», он подчеркивает, что «широ́кая а узлова́тая мова рѣдкій пожи́ток чл҃ку прино́сит, але про́стая и короткая, а́ до того́ з вырозумѣньем одкры́тая мова в прудком ча́сѣ всѣ обширные аркгуме́нта и завыхля́ные мо́вы загóртует, и двома́ а́бо трома́ сло́вы коро́ткими ба́рзо мно́го сло́в мо́жет в собѣ́ замкну́ти...» [6].

И если в стенах самой Киево-Могилянской академии, в курсах, читаемых ее профессорами, в научных трактатах обозначения «высокий» и «средний» стили речи преподносились в полном их достоинстве и чистоте, то в тех же стенах, одновременно с этим звучали многообразные интермедии, народные песни, шутки («низкий» стиль). Такова была действительность.

И хотя язык летописей, исторических повестей, учительных евангелий, деловых документов XVII в. и отражал приближение письменного языка к народно-разговорному, это было только приближение. Живой разговорный украинский язык, известный по таким образцам народного творчества, как песня о «Стефане воеводе», песня «Про козака і Кулину», интермедии, школьные драмы и под., еще не вошел в кодификационную практику письменности хотя бы той же Киево-Могилянской академии. Еще очевиднее это становится из таких трудов, как «Разговорник» XVI в.,

[5] Иоанн Вишенский, Посланіе ко князю Василию Острожскому..., «Акты, относящиеся к истории южной и западной России», II, СПб., 1865, стр. 210.

[6] «Учительное евангелие», Симеона Тимофеевича (см.: И. К. Белодед, Влияние воссоединения Украины с Россией и развитие украинского литературного языка, ВЯ, 1954, 2, стр. 28).

«Грамматика» Ивана Ужевича XVII в., «Лексикон Славенороссский...» Памвы Берынды и др.

Воссоединение Украины с Россией в 1654 г. положило конец стремлениям польской шляхты к искоренению украинского языка, обеспечило ему возможность развития в братской семье восточнославянских языков под влиянием растущей прогрессивной русской науки и культуры, под воздействием русского языка. Киево-Могилянская коллегия, получив права и статут академии от Российской державы в 1701 г. (грамота Петра I), начала интенсивно перестраивать свою работу, свой учебный план, укрепляя и расширяя свои традиционные связи с русской наукой и просвещением. Все это находило широкое отражение как в языке деловых документов на Украине, так и в летописях, переводах и т. п.— они освобождались от полонизмов, латино-польских языковых образцов и возвращались к восточнославянским языковым моделям.

В 1734 г. в Киеве, в Киево-Могилянской академии находился великий русский ученый М. В. Ломоносов, который изучал здесь древнерусские памятники. Труды М. В. Ломоносова по русской словесности сыграли решающую роль и в усовершенствовании преподавания, преобразовании духа филологических дисциплин в Киево-Могилянской академии. Пиитика, риторика, каноны поэзии начали преподаваться в академии по правилам М. В. Ломоносова. С середины XVIII в. в академии вводится преподавание русского языка. Учение М. В. Ломоносова о трех стилях произвело в России и на Украине, в частности, и в Киево-Могилянской академии, подлинную реформу. Ее основой и содержанием было не разграничение на высокий, средний и низкий стили, а их сплетение, взаимопроникновение и взаимодействие. Таким образом, речь шла, как мы говорим теперь, о выработке определенных компонентов функциональных стилей литературного языка. Отсюда и начинается в русском языкознании разработка учения о функциональных стилях литературного языка, учения, которое в том виде, в котором известно советскому языкознанию, вошло как фундаментальное достижение и в мировую языковедческую науку.

В свое время, оценивая эту реформу М. В. Ломоносова, П. И. Житецкий писал, что сложные задачи упорядочения литературного языка «решил, как известно, Ломоносов, создатель нашего литературного языка, который служит органом умственной жизни для всех нас — людей Великой, Малой и Белой России» [7]. По этому поводу М. А. Максимович отметил, что «Российскую грамматику» М. В. Ломоносов создал, чувствуя потребность в ней для России. «Главное богатство ея содержания взято из уст народных, из живаго языка „Великороссийского". Главная заслуга ея в том именно, что народный Руский язык является тут впервые и так достойно в определении грамматическими правилами» [8]. Подчеркивая большое значение грамматики Ломоносова для дальнейшего развития грамматической науки в России, он считал, что Ломоносов — «наш русский Первославянин и учитель» [9]. Своей реформой М. В. Ломоносов открыл русскому, украинскому, белорусскому и другим славянским живым народным языкам пути в письменный, литературный язык.

Акад. В. В. Виноградов отмечал, что в этот период «процесс образования новых литературных стилей посредством смешения элементов церковно-книжной речи с формами светско-делового языка, живой разговорной русской речи с западноевропейскими заимствованиями ускоряется и регулируется правительственными инструкциями. Этот процесс

[7] П. И. Житецкий, Старинные воззрения русских людей на русский язык, «Киевская старина», IV, Киев, 1882, стр. 291.
[8] М. А. Максимович, Собр. соч., Киев, 1880, 3, стр. 177.
[9] Там же, стр. 188—189.

был симптомом национализации русского литературного языка, отделения его от профессионально-церковных диалектов и сближения с общественно-бытовыми стилями устной речи» [10].

В структурно-функциональном плане на языковом материале XVIII в. условно можно выделить пять языковых стилей: художественный, публицистический, научный, деловой и конфессиональный [11]. И это деление на стили идет уже не по линии деления на традиционные стили, а исходит из функционального развития языка, из потребностей, обусловленных развитием естественных, математических и других наук, не говоря уже о гуманитарных.

Таким образом, если движение к «новому» литературному языку шло, с одной стороны, по линии трансформации и взаимопроникновения стилей, то, с другой стороны, оно закреплялось и в грамматике, в выработке законов, в кодификации грамматической структуры языка уже на основе живой национальной речи народа. М. В. Ломоносов глубоко осознавал это, говоря: «Тупа оратория, косноязычна поэзия, неосновательна философия, неприятна история, сомнительна юриспруденция без грамматики« [12].

Известно, что еще до Ломоносова предпринимались попытки создания грамматики русского языка, которые, несомненно, вносили свой вклад в разработку проблемы. Однако в этой области, как и в реформе учения о стилях, решающую роль сыграла «Российская грамматика» М. В. Ломоносова (1755), она не только стала основой для утверждения норм русского литературного языка на народной основе, но и образцом для украинского и белорусского языков. Грамматика М. В. Ломоносова является объектом для научных исследований и в настоящее время.

От «Российской грамматики» М. В. Ломоносова, который зафиксировал в ней и украинские элементы (это относится, в частности, к § 118, где говорится о различении *е* и *ѣ*: учитывая произношение *ѣ* как *і*, М. В. Ломоносов пишет, что если выбросить *ѣ*, то это «...малороссиянам, которые и в просторечии *е* от *ѣ* явственно различают, будет против свойства природного их наречия») [13], идет прямой путь к «Грамматике малороссийского наречия» А. Павловского, где дается обзор грамматического строя живого, разговорного украинского языка. Это большой шаг вперед по сравнению со старой грамматической традицией, т. е. церковнославянской и латинской [14]. Однако следует подчеркнуть, что грамматика А. Павловского базировалась не только на живой устной речи украинского народа,— она отображала, фиксировала уже и соответствующую письменную традицию. В «Грамматике» А. Павловского верно охарактеризована звуковая система украинского национального языка (например, мягкость *ц* в конце слова, удвоенное произношение некоторых звуков, фрикативный и взрывной *h* — *g*, наличие звуков *дж* и *дз*, переход *о*, *е* в *і* в закрытых слогах, произношение старого *ѣ* как *і*, четкое произношение йотированных звуков, ударение и т. д.), т. е. ясная ориентация на фонетический принцип правописания. А. Павловский правильно определил основы украинского литературного языка,— с одной стороны, он указывает на народно-разговорную, словарно-песенную стихию, с другой — на язык города, куль-

---

[10] В. В. Виноградов, Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв., М., 1938, стр. 72.

[11] В. А. Передрієнко, Формування української літературної мови XVIII ст. на народній основі, Київ, 1979, стр. 20.

[12] М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., 7, М.—Л., 1952, стр. 392.

[13] М. В. Ломоносов, указ. соч., стр. 431.

[14] См. подробнее в кн. «Курс історії української літературної мови», I, Київ, 1958, стр. 143—144.

турных и экономических центров. В произведениях украинских писателей (Ивана Некрашевича, Григория Сковороды и др.), выразителей украинского языка этой эпохи также фиксировалось взаимодействие письменной и народно-разговорной стихий украинского языка с преимуществом народно-разговорной основы [15].

Г. С. Сковорода, как известно, был и писателем (басни, стихотворения), и ученым-философом. В его языке наблюдается вольное смешение стилей, взаимодействие украинского и русского языков, хотя и с преимуществом украинской народно-разговорной основы. В своих научных трудах по философии Г. С. Сковорода всецело ориентировался на взгляды М. В. Ломоносова. Его язык опирался на украинскую народно-разговорную основу с использованием лучших достижений предыдущей традиции. Это и дает ему право вместе с И. Некрашевичем и другими считаться предшественником И. П. Котляревского.

Оценивая роль Г. С. Сковороды в истории украинского литературного языка, П. Г. Тычина писал: «Обычный, будничный народный язык (украинский.— *Б. И.*) сознательно начал звучать именно у Григория Сковороды. И уже от него пролегли пути-дорожки — через Некрашевича — и к Котляревскому, и к Марку Вовчку, и к Шевченко» [16].

Итак, вся история русско-украинского языкового взаимодействия привела к выработке «нового» русского и украинского литературных языков. В создании украинского и белорусского литературных языков решающую роль сыграл русский язык как ведущая сила в организации и обогащении всех языков восточнославянских народов.

Влияние «нового» русского языка наблюдается, как показывают исследования, не только на украинский язык, но на ряд южно- и западнославянских. Так, например, деятели сербской культуры XVIII в. (Д. Обрадович и др.) призывали сербских литераторов писать для соотечественников на «простом» языке, выражавшем интересы демократических масс, писать «на сербском языке по примеру русских» [17].

В XIX в. взаимоотношения украинского языка с русским вступают в новый этап и приобретают новое содержание. Русский литературный язык, обогащенный гением А. С. Пушкина, еще полнее раскрывает заложенные в нем потенциальные выразительные средства, неограниченные стилистические богатства и возможности на основе органического единства языкового наследства и широко развитого, активного словесного творчества народа. В XIX в. высокой степени совершенства достигают в нем все функционально-структурные стили, в частности, научный, публицистический, особенно в произведениях представителей революционно-демократической мысли и позже в трудах представителей научного социализма, русских марксистов, а также стили художественной литературы.

Украинский литературный язык в силу известных неблагоприятных социально-политических условий развития не смог развернуть все свои потенциальные возможности. Но все же, преодолевая искусственно созданные на его пути препятствия, лучшие представители украинской художественной литературы, используя опыт наиболее родственного украинскому русского литературного языка, ориентируясь на его достижения, сумели развить и усовершенствовать стили украинской художественной литературы до уровня высокоразвитых литературных языков; наиболее

---

[15] Подробнее см.: «Курс історії української літературної мови», I, стр. 127—132.
[16] П. Тичина, Квітни, мово наша рідна, Київ, 1971, стр. 41.
[17] В. П. Гудков, Борьба концепций «славянского» и «простого» языка в истории литературного языка у сербов, в кн.: «Славянское и балканское языкознание. История литературных языков и письменностей», М., 1979, стр. 209—210.

важными в развитии украинского языка являются художественные произведения Т. Шевченко, И. Франко, Леси Украинки.

Другие функционально-структурные стили украинского литературного языка — научный, публицистический — в тот период только начинали формироваться; на их становление также огромное влияние оказывал русский литературный язык, в частности, в борьбе против его засорения чуждыми для восточнославянских языков лексическими, грамматическими и фонетическими элементами, искусственно создавшимися реакционными деятелями националистического направления. Русский литературный язык стал основным источником пополнения украинского языка интернациональной терминологией и образцом для создания новых терминов на национальной основе.

Прогрессивные русские деятели, убежденные в том, что на украинском языке вскоре появятся не только художественные произведения, но и «ученые трактаты по всем наукам» (Н. Чернышевский), принимали непосредственное участие в теоретическом обосновании путей развития украинского литературного языка, отстаивая его народную и общенациональную основу, примером чему может служить статья Н. Г. Чернышевского «Национальная бестактность» («Современник», 1861, 6), в которой с революционно-демократических позиций подвергнута критике национальная и языковая политика реакционного львовского журнала «Слово».

В настоящее время русский язык, добровольно избранный народами СССР как язык дружбы, единения и братского общения в семье «великой, вольной, новой», продолжает выполнять свою высокую миссию как источник обогащения всех языков социалистических наций и народностей СССР, в том числе близкородственных, имеющих с ним единую основу,— украинского и белорусского.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1980

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ГАМКРЕЛИДЗЕ Т. В., ИВАНОВ ВЯЧ. В.

РЯДЫ «ГУТТУРАЛЬНЫХ» В ИНДОЕВРОПЕЙСКОМ. ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВ CENTUM И SATƏM

Система трех серий индоевропейских смычных и правила ее трансформации в отдельные исторически засвидетельствованные индоевропейские системы предполагают наличие в индоевропейском по крайней мере трех локальных рядов, определяемых местом артикуляции соответствующих фонем. Эти ряды можно охарактеризовать как «лабиальный», «дентальный» и «велярный».

Фонетико-фонологический характер «лабиального» и «дентального» рядов в индоевропейской парадигматической системе недвусмысленно устанавливается по их рефлексам в исторических индоевропейских языках. «Велярный» ряд может быть фонетически охарактеризован как заднеязычный, артикулируемый примерно в зоне произнесения смычных *k*, *g*, т. е. при смычке спинки языка и передней части мягкого нёба (velum palati). Таким образом, в индоевропейской фонологической системе восстанавливается с несомненностью три ряда смычных, артикулируемых в трех основных артикуляционных зонах в полости рта: лабиальные, дентальные и велярные, что согласуется с типологическими данными о распространенности в языках мира согласных, артикулируемых в этих трех зонах. Консонантные звуки, произведенные в этих артикуляционных зонах, можно рассматривать как «самые естественные» в том смысле, что их возникновение происходит самым простым и естественным образом с помощью подвижных органов в полости рта [1].

Такие основные ряды фонологической системы, объединяющие фонемы, которые производятся в указанных выше трех основных артикуляционных зонах, могут быть модифицированы путем добавления к основным артикуляционным признакам дополнительных артикуляций. В качестве такой дополнительной артикуляции при фонемах этих трех локальных рядов может выступать «огубление» (лабиализация), «смягчение» (палатализация) или «отвердение» (веляризация). Такая модификация основных локальных рядов с помощью дополнительной артикуляции может вызвать появление в системе новых фонемных рядов, маркированных по отношению к основным рядам и представляющих как бы их дополнения в фонологической системе.

Дополнительный признак палатальности (диезности) или смягчения (по акустическому эффекту палатализованных звуков) может выступать во всех согласных, за исключением собственно палатальных. При этом в системе могут возникнуть дополнительные палатализованные ряды ла-

---

[1] Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 142 и сл.; T. Milewski, Phonological typology of American Indian languages, в кн.: «Études sur les langues indigènes de l'Amérique», Kraków, 1967.

биальных, дентальных и велярных, выступающие как маркированные по отношению к основным.

Некоторые из модифицированных фонологических рядов могут отсутствовать в системе в соответствии со степенью их маркированности. Так, например, дентальные лабиализованные (и тем более лабиальные лабиализованные) могут отсутствовать в системе при наличии велярных лабиализованных [2]. Велярные лабиализованные выступают в качестве немаркированного ряда по отношению к другим рядам лабиализованных смычных — дентальному и лабиальному.

Несколько иное соотношение наблюдается с общетипологической точки зрения в палатализованных рядах смычных. Существуют системы с палатализованным рядом велярных при отсутствии палатализованных дентальных и лабиальных (ср. систему абхазского языка), но наиболее распространенным является тип системы с палатализованным дентальным рядом (в противовес маркированным велярному и лабиальному рядам палатализованных смычных, см. примеры, относящиеся к типологии корреляции по палатализации — мягкостной корреляции — в Евразии с преобладанием этой корреляции в дентальном ряду) [3]. Из немаркированного характера палатализованных велярных в противовес палатализованным дентальным объяснима тенденция первых к преобразованию в направлении элиминации дополнительного признака палатализации и превращению его в чисто фонетический признак (при совпадении палатализованного ряда с основным рядом велярных) или превращения палатализованных велярных в особый ряд компактных постериорных аффрикат, которые уже характеризуются относительно большей стабильностью сравнительно с другими локальными рядами (в частности, по сравнению с антериорными диффузными аффрикатами) [4].

Среди постериорных смычных, судя по их рефлексам в исторических индоевропейских языках, следует постулировать основной ряд велярных смычных $*k'$[5], $*g^h$, $*k^h$, отраженных в конкретных индоевропейских диалектах в виде велярных смычных.

Рефлексы постериорных смычных в определенной части индоевропейских диалектов дают основание судить о наличии в индоевропейской фонологической системе и модифицированных рядов, характеризующихся дополнительным артикуляционным признаком по отношению к основному, немаркированному велярному ряду смычных, который в этом смысле может рассматриваться как нейтральный по отношению к модификациям.

Соотношения между велярными согласными, устанавливаемые в ряде исторических индоевропейских диалектов, позволяют постулировать в индоевропейской фонологической системе особый ряд постериорных смычных с дополнительным признаком лабиализации, который образовывал в системе относительно немаркированного велярного ряда корреляцию по признаку «лабиализации».

---

[2] Лабиализованный лабиальный ряд в противовес нелабиализованному встречается крайне редко. Примером таких систем могут служить языки нупе (N. Chomsky, M. Halle, The sound pattern of English, New York, 1968, стр. 311), кутеп (P. Ladefoged, Preliminaries to linguistic phonetics, Chicago — London, 1971, стр. 61), убыхский (H. Vogt, Dictionnaire de la langue oubykhe, Oslo, 1963) и бирманский (Н. С. Трубецкой, указ. соч.). Примером системы как с велярными лабиализованными, так и с дентальными лабиализованными может служить система абхазского консонантизма (ср.: G. Deeters, Die kaukasischen Sprachen, в кн.: «Handbuch der Orientalistik», hrsg. von B. Spuler, VII, 1, Leiden — Köln, 1963).

[3] R. Jakobson, Selected writings, I, The Hague—Paris, 1971.

[4] Н. С. Трубецкой, указ. соч.; N. Chomsky, M. Halle, указ. соч., стр. 420 и сл.

[5] Относительно интерпретации фонемы, по традиции считавшейся звонкой $*g$, в качестве глоттализованной $*k'$ см. особую статью авторов в «Вопросах языкознания».

Имеются в виду в первую очередь соотношения, устанавливаемые в конкретных индоевропейских диалектах между велярными смычными фонемами, с одной стороны, и сочетаниями велярных с последующим *u* или лабиальными фонемами, с другой. К группе индоевропейских диалектов с чистыми велярными в таких соответствиях относятся индоиранские, армянский, балто-славянские и албанский.

Для объяснения этого ряда соответствий представляется существенным постулировать в индоевропейской фонологической системе наряду с велярным рядом смычных модифицированный ряд лабиовелярных, который с учетом фонологического характера индоевропейских серий смычных может быть определен как состоящий из глоттализованной лабиовелярной $*k'^{w}$, звонкой $*g^{wh}$ и глухой лабиовелярной $*k^{wh}$, т. е. в дополнение к немаркированному велярному ряду постулируется лабиовелярный ряд: k' g^{h} k^{h} k'^{w} g^{wh} k^{wh}.

Реконструируемые индоевропейские лабиовелярные фонемы, в частности, серий I и III, лучше всего сохранились в латинском языке (и в германском), в которых они отразились как единичные лабиовелярные фонемы — гот. k^{w} (передаваемое на письме специальным знаком *q*) и h^{w} (передаваемое особым знаком, отличным от *h*), лат. g^{w} (на письме *gu*) и k^{w} (на письме *qu*) [6]. Признак лабиализации выступает в некоторых языках в рефлексах этих фонем в качестве независимой сегментной фонемы, составляющей совместно с рефлексом велярного компонента двуфонемное сочетание; ср. греческие формы типа νύξ «ночь», κύκλος «круг», γυμνός «нагой», хеттские формы типа *kuenzi* «бьет», *kunanzi* «убивают» [7], тохарские формы типа тох. А *kum-* «приходить» (в *kum-näs*), *kukäl* «колесница», тох. В $k_{u}se$ (относительное местоимение).

Наконец, в некоторых случаях индоевропейские лабиовелярные фонемы в исторических языках, в частности, греческом, дают отражение в виде лабиальных монофонем *b*, *ph* и *p* (соответственно из индоевропейских лабиовелярных k^{o} [8], g^{oh} и k^{oh}), в чем также проявляется монофонематичный характер постулируемых индоевропейских лабиовелярных: можно сказать, что признак лабиализации превращается в самостоятельную фонему, звонкую, глухую или придыхательную в зависимости от признака при велярном компоненте индоевропейской смычной фонемы, т. е. с сохранением в возникшей фонеме этих признаков исходной фонемы и утерей признака велярности.

Аналогичный переход индоевропейских лабиовелярных наблюдается в италийском и отчасти в кельтском. В италийском такое развитие видно в оскско-умбрской подгруппе в формах типа оск. *biuus* «vivi» («живые»), при ирл. *beo* «живущий», лат. *uiuus*, оск. *biitam* «vitam» («жизни»), оск. *pui* «который», *pud*, *pis*, *pid*, *pae*, умбр. *poi* при лат. *quis* «который», *quid*, *quae* и т. д.

Данные рассмотренных выше индоевропейских диалектов с рефлексами постулируемых фонем, включающих признак лабиализации или лабиаль-

---

[6] И. М. Тронский, Историческая грамматика латинского языка, М., 1960, стр. 58.

[7] Для более ранних этапов развития хеттского и других анатолийских языков следует допустить наличие в системе особого рода лабиовелярных фонем, восходящих к индоевропейским лабиовелярным. Наличие в хеттском особого рода лабиализованных велярных фонем в дописьменный период его развития видно из таких стабильных сочетаний, как «велярный + лабиальный», например, в формах *kuiš* «который» при *kuiški* «какой-нибудь» с диссимилятивной утерей лабиального элемента (ср. лат. *quisque*), а также в отдельных фактах написания лабиализованных последовательностей типа *-kw-* в форме *-uk-*, ср. *e-uk-zi* «пьет» («Keilschrifturkunde aus Boghazköi», XX, 53, 6, 10), при обычном *e-ku-zi* (т. е. ek^{w}*-zi*) и др.

[8] Здесь и далее k^{o} имеет тот же смысл, что k^{w} в традиционной символике.

ность, при явных следах велярной артикуляции могут быть поняты лишь при допущении исходных лабиализованных фонем велярного ряда.

Постулирование особых лабиализованных фонем в индоевропейском для объяснения рассмотренных выше рефлексов с лабиальным элементом в группе исторических индоевропейских диалектов ставит вопрос о причинах утери признака лабиализации при этих фонемах в той группе индоевропейских диалектов, которые отражают постулированные лабиализованные фонемы в виде чистых велярных. Альтернативным решением при таком соотношении рассматриваемых выше двух групп индоевропейских диалектов было бы постулирование в индоевропейском лишь основного ряда лабиовелярных (без допущения дополнительного ряда лабиовелярных) с позднейшим появлением лабиального элемента в одной группе диалектов [9].

Существуют, однако, основания, как фонологического, так и структурно-типологического порядка, считать, что принятие дополнительного лабиовелярного ряда в исходной индоевропейской системе более адекватно отражает ход исторического развития фонологических систем отдельных индоевропейских языков и согласуется при этом с данными синхронной и диахронической типологии.

Дело в том, что утерю признака лабиализации в определенной группе индоевропейских диалектов при лабиовелярных фонемах легче объяснить с учетом типологических данных диахронической фонологии, чем появление лабиального элемента в соседстве с велярной фонемой в качестве одного из ее признаков или независимой фонемной единицы в последовательности. Не представляется возможным объяснить естественным путем появление такого элемента при рефлексах индоевропейских велярных, тогда как утеря дополнительного признака, модифицирующего основной ряд велярных, легко объяснима и может быть иллюстрирована на достаточно большом типологическом материале (ср. развитие лабиовелярных в дардских, кафирских и африканских языках).

Наличие в отдельных диалектах ряда лабиовелярных на раннем этапе их развития видно и из рефлексов слоговых сонантов в позиции после заднеязычных, восходящих к индоевропейским лабиовелярным. Вокализация слоговых сонантов в древнеиндийском — процесс довольно поздний, протекавший в эпоху обособленного развития древнеиндийского. Тем самым устанавливается поздняя хронология утери признака лабиализации в древнеиндийских заднеязычных, восходящих к индоевропейским либиовелярным фонемам. Такой след лабиовелярных в древнеиндийском проявляется в факте вокализации долгих (и кратких) слоговых сонантов *$\bar{\underset{\circ}{\gamma}}$, *$\bar{\underset{\circ}{l}}$ в виде последовательности *ūr* (*ŭr*) в позиции после заднеязычной, восходящей к индоевропейской лабиовелярной фонеме (как и в позиции после собственно лабиальной смычной), тогда как после остальных смычных, т. е. дентальных, чистых велярных и палатализованных, вокализация слоговых сонантов дает сочетание *īr* (*ĭr*): др.-инд. *pūrṇa-* «полный», литов. *pìlnas* «то же», и.-е. *$p^{[h]}\bar{\underset{\circ}{l}}$-n-, др.-инд. *gurtaḥ* «желанный», лат. *gratus* «приятный; приемлемый», оск. *brateis*, βρατωμ «тоже» < *$g^{\circ}r$-t-i*, и.-е. *$k^{\circ\prime}r$-t^{h}-; др.-инд. *guru-* «тяжелый», греч. βαρύς, лат. *gravis* «то же»: *$g^{\circ}\gamma ru$- < и. -е. *$k^{\circ\prime}\gamma ru$-. Ср. в отличие от такого отражения долгого $\bar{\gamma}$ (и краткого γ), $\bar{l}$ в древнеиндийском отражение их в виде *ir* в позиции после чистого или палатализованного велярного и дентального, т. е. после фонем, не содержащих признака лабиальности: др.-инд. *tīrṇa-*, причастие прош. вр. от *tarati* «переходить; побеждать», и.-е. *$t^{[h]}r$-; др.-инд. *kirti-*

[9] Ср., в частности, решение этой проблемы, данное Куриловичем (J. Kuryłowicz, Études indo-européennes, Kraków, 1935).

«мысль; упоминание; слава» от др.-инд. *carkati* «возвещать славу», *karu* «певец», греч. κῆρυξ «глашатай», и.-е. *$k^{[h]}r$-$t^{[h]}$-; др.-инд. *śīrsā(n)* «голова», греч. κάρα, ср. лат. *cerebrum* < *$\hat{k}$eresrom «голова», и.-е. *$\hat{k}^{[h]}\bar{r}$-s-; др.-инд. *jīrṇa*, лат. *granum* «зерно», ст.-слав. **зьрно** при греч. γέρων «старый», и.-е. *$k'\bar{r}$-n [10].

В индоевропейских диалектах, в которых обнаруживаются позиционно обусловленные аффрикаты и фрикативные фонемы, восходящие к индоевропейским лабиовелярным смычным, имеются также фрикативные фонемы и аффрикаты, не чередующиеся с чистыми велярными в пределах одного языка, но соотносящиеся с собственно велярными смычными в соответствующих формах других языков. В отличие от позиционно обусловленных аффрикат и фрикативных, возникших в результате палатализации, они не чередуются с велярными смычными, т. е. не связаны исторически с определенной позицией в слове, в чем и обнаруживается их иной фонологический статус в системе и соответственно комбинаторная необусловленность их происхождения.

Естественно предположить, что индоевропейские фонемы, давшие в исторических языках такие рефлексы (т. е. аффрикаты и фрикативные в индоиранском, армянском, албанском, балто-славянском при велярных смычных в греческом, латинском, хеттском, кельтском и других языках), должны быть отграничены от тех индоевропейских фонем, которые дали рефлексы в виде велярных смычных в обеих названных выше группах индоевропейских диалектов. Это должны были быть, очевидно, фонемы, отразившиеся в одной группе индоевропейских диалектов как аффрикаты и фрикативные, а в другой группе совпавшие с рефлексами чистых велярных смычных. На основании типологических соображений можно предположить, что такие фонемы в индоевропейском представляли ряд палатализованных велярных смычных, который выступал в системе в качестве дополнительного ряда по отношению к немаркированному ряду велярных смычных, составляющему наряду с рядом лабиовелярных подсистему постериорных рядов смычных в индоевропейской фонологической системе: k' g^h k^h $k^{w'}$ g^{wh} k^{wh} $\hat{k}'$ $\hat{g}^h$ $\hat{k}^h$.

Характерно, что палатализованный ряд велярных смычных, будучи маркированным в системе по отношению к велярному ряду смычных, имеет тенденцию к видоизменению и переходу в соответствующие компактные (постериорные) аффрикаты, являющиеся самыми стабильными в подклассе аффрикат (по сравнению с диффузными — антериорными — аффрикатами). В некоторых случаях такая тенденция проявляется в слиянии палатализованного ряда велярных с соответствующими чистыми велярными. В результате именно таких фонетико-фонологических процессов в системе индоевропейских диалектов устраняется палатализованный ряд индоевропейских велярных фонем, давших в одних диалектах новые фонологические ряды аффрикат и спирантов, а в других диалектах слившихся с рефлексом соответствующих чистых велярных фонем.

Постулирование в индоевропейской фонологической системе палатализованного ряда велярных, отличного от рядов чистых велярных и лабиовелярных, становится необходимым и на основании внутренних структурных особенностей построения индоевропейского корня (основы) и линейного распределения в нем фонем различных подклассов системы.

---

[10] Ср.: O. Szemerényi, Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft, Darmstadt, 1970, стр. 61; L. Steensland, Die Distribution der indogermanischen sogenannten Gutturale, Uppsala, 1973, стр. 100—101; о возможном аналогичном развитии в общеславянском ср.: А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М., 1938, стр. 144—145.

Одним из основных принципов построения индоевропейского корня является правило, запрещающее сочетание в корне идентичных фонем [11]. Это правило можно сформулировать в более общем виде как правило, налагающее запрет на комбинацию в пределах корня двух фонем одного и того же локального ряда: две согласные смычные фонемы одного локального ряда несовместимы в корне структуры *CVC*-.

При такой формулировке этого правила запрет на сочетание двух идентичных фонем в корне предстает как частный случай более общего запрета на сочетаемость в корне двух фонем одного и того же ряда.

Это правило выводится на основании анализа индоевропейских корней, содержащих смычные согласные фонемы лабиального, дентального и лабиовелярного рядов. В индоевропейском не засвидетельствован корень структуры C_1VC_2- с двумя лабиальными, с двумя дентальными или двумя лабиовелярными фонемами [12].

В явном противоречии с этой структурной закономерностью индоевропейского корня оказалось бы поведение постериорных смычных (помимо собственно лабиовелярных фонем) при допущении их принадлежности к одному единственному локальному ряду велярных, поскольку в индоевропейском можно выделить определенное количество корней структуры *CVC* с двумя постериорными смычными фонемами. Допущение в таких структурах различия выступающих в них согласных фонем в отношении локального ряда привело бы эти структуры в полное соответствие с большинством закономерных структур, состоящих из согласных фонем различных локальных рядов. Такое переосмысление структуры корней, состоящих из двух постериорных согласных, подводит их под действие правила, описывающего структуру корней с лабиальными, дентальными и лабиовелярными смычными. Легко видеть, что это различение и отнесение к двум различным рядам смычных постериорных фонем внутри каждого корня проводится на основе структурных соображений, но конкретное отождествление этих фонем по различительным признакам локальных рядов в подгруппе постериорных согласных можно произвести лишь на основе их отражений в исторических индоевропейских диалектах. В каждой из реконструируемых индоевропейских форм с двумя постериорными (нелабиовелярными) согласными одна фонема отождествляется как собственно велярная (с рефлексом преимущественно в виде велярных смычных во всех индоевропейских диалектах), другая как велярная с дополнительной артикуляцией, по всей видимости, палатализованная велярная (с фрикативными фонемами и аффрикатами в качестве рефлексов — в одной группе индоевропейских диалектов и велярными смычными — в другой).

В полном соответствии с изложенным находится и то, что невозможно обнаружить недвусмысленные примеры индоевропейских корней, в которых обе согласных одновременно отражались бы в исторических язы-

---

[11] Э. Бенвенист, Индоевропейское именное словообразование, М., 1955.

[12] Единственный случай сочетания в основе двух лабиальных (в данном случае тождественных) фонем в форме $*p^{[h]}\ rep^{[h]}$: арм. *erevian* «делаюсь видимым, являюсь», греч. πρέπω «выдаюсь, делаюсь заметным»; ирл. *richt* «форма», др.-в.-нем. *furben* (ср.: Г. Льюис, Х. Педерсен, Краткая сравнительная грамматика кельтских языков, М., 1954, стр. 54; J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, I, Bern, 1959, стр. 845) может объясняться сочетанием в основе (биноме) двух морфем $*pr^{[h]}$-$ep^{[h]}$. Единственная форма, обнаруживающая сочетание двух тождественных согласных в корне, **ses-* (др.-инд. *sas-*, хет. *šeš-* «спать; покоиться»), не составляет исключения к сформулированному выше правилу, поскольку в данном случае сочетаются две идентичные сибилянтные фонемы.

ках либо по типу чистых велярных смычных, либо по типу палатализованных велярных.

Необходимость принятия в подгруппе постериорных согласных локального ряда велярных смычных и его модификации в виде рядов палатализованных велярных определяется также и тем, что в противном случае оказались бы противоречащими основным принципам построения индоевропейского корня следующие индоевропейские формы: осет. *ænγezun* < < иран. **ham gaizaya* «бродить», зап.-осет. *γizun* «замерзать», арм. *kc-anem* «колоть» (аорист 3-го лица ед. числа *e-kic*), *kc-u* «горький», литов, *gìžti* «скисать», *gaižùs* «горький», *gaižti* «становиться горьким», алб. *gjizë* «сыр», др.-ирл. *ger* «острый; кислый»: и.-е. **k'eiĥ'*-; авест. *kasu* «мало, малый», сравн. степень *kas-yah*, превосх. степень *kas-išita-*, литов. *nukašéti* «ослабеть» при нем. *hager* : и.-е. **k*[h]*aĥ*[h]-; др.-инд. *śaknoti* «может; помогает», авест. *sačaiti* : и.-е. **k̂*[h]*ak*[h]-; др.-инд. *śākha* «ветвь», арм. *çax* «то же», литов. *šakà* «ветвь», ст.-слав. **соха** «соха», **посохъ** «посох»; гот. *hoha* «плуг» (ср.- ирл. *gec* «ветвь») : и.-е. **k̂*[h]*āk*[h]-; арм. *jalk* «ветвь», гот. *galga* «шест», литов. *žalgà* «жердь, прут» : и.-е. **ĝ*[h]*alg*[h]-; др.-инд. *jaṅghā* «лодыжка», авест. *zanga* «косточка ноги» (ахуровского существа), *zanra* «косточка ноги» (дэвовского существа), литов. *žengiù* «иду, шагаю», гот. *gaggan* «идти»: и.-е. **ĝ*[h]*eng*[h]-; др.-инд. *guhati* «скрывает», авест. *gaoz-*, др.-перс. *gaud-* «скрывать», др.-исл. *gygr* «великанша», литов. *gùžė* «языческая богиня», *gūžti* «охранять; накрывать крыльями» : и.-е. **g*[h]*eu ĝ*[h]; др.-инд. *śāka-* «съедобные овощи, зелень», литов. *šėkas* «свежескошенная трава для корма лошадям», латыш. *sēks*, др.-прусск. *schokis* «трава», др.-исл. *hā* : и.-е. **k̂*[h]*ēk*[h]*o-*; др.-инд. *kṛśa-* «отощавший; слабый», авест. *kər³sa-*, литов. *karšeti* «стареть», чеш. *krsati*, др.-исл. *horr* : и.-е. **k*[h]*or k̂*[h]-; др.-инд. *śocati* «сияет», *śukra-* «белый; чистый», авест. *aaocint-* «сияющий», греч. κύκνος «лебедь» (< «белый»): и.-е. **k̂*[h]*euk*[h]-; др.-инд. *kaksa* «подмышка», авест. *kaso* «то же», лат. *coxa* «бедро», др.-ирл. *coss* «нога», др.-в.-нем. *hehsa* «то же», тох. В *kek(t)señ(e)* «тело»: и.-е. **k*[h]*o k̂*[h]-; др.-инд. *svañcate* «открывается; объявляется», литов. *šúke*, полаб. *sacĕt*, русск. *щем(-ка)*: и.-е. **k̂*[h]*eunk*[h]-.

Принцип сочетаемости в корне смычных одного и того же ряда может быть распространен с некоторыми оговорками и на структуру более сложных морфемных объединений, в частности, на основу, т. е. корень + + суффикс, ср. индоевропейские основы типа **k*[h]*lei-k̂*[h]- (др.-инд. *kliśnāti* «мучит», *kliśyate* «мучим, мучится», литов. *klíšė* «клешня», ст.-слав. **клѣшии**«клещи»), **g*[h]*ar-ĝ*[h] (арм. *karcem* «я боюсь», *kakcr* «твердый», литов. *gražoju* «грожу», ст.-слав. **гроза**, греч. γοργός «страшный; ср. **Γοργώ** «Горгона»), **g*[h]*n-eu-ĝ*[h] (литов. *gniáuž-iu* «сжимаю руку», др.-исл. *kujūkr* и др.) [13].

По принципу отражения в индоевропейских диалектах ряда палатализованных велярных в виде аффрикат и фрикативных или в виде чистых велярных (в результате слияния ряда палатализованных смычных в этих диалектах с рядом собственно велярных) все индоевропейские диалекты

---

[13] В редких случаях в качестве исключения суффиксальная согласная принадлежит к тому же ряду смычных, что и корневая; это в определенном смысле является нарушением принципа несовместимости двух согласных одного и того же ряда в пределах основы (но не корня), ср. такие формы, как **k*[h] *n-ek*[h]-, **k*[h] *en-k*[h]- (др.-инд. *kancate* «связывает», греч. χιγκλίς, лат. *cirgere* «опоясывать», литов. *kinkýti* «запрягать») при **k*[h]*en-* «сдавливать, сжать» (J. Pokorny, указ. соч., стр. 559, ср. др.-исл. *hnakki*, др.-нем. *hnac*). Неясным по структуре основы представляется греч. γάλα «молоко», род. пад. γάλακτος, гом. γλάγος, «то же» (περιγλαγής), крит. κλάγος, γλάκκον, лат. *lac*, род. пад. *lactis* «то же», ср. также хет. *galattar* «сок дерева». Есть предположение, что слово восходит к другому корню: **m̥lk'*-, греч. ἀμέλγω «дою».

обычно делят на две большие группы — на группу satəm и на группу centum (по отражению индоевропейского числительного «сто»).

Характерно, что ни в одном историческом индоевропейском диалекте не сохраняется ряд палатализованных велярных смычных наряду с рядами лабиализованных велярных и чистых велярных. Палатализованный ряд велярных как наиболее маркированный является нестабильным в системе, имеющим тенденцию к движению и слиянию с собственно велярным рядом или к переходу его в особый ряд аффрикат или фрикативных.

Такая тенденция палатализованных велярных объясняется их фонетической нестабильностью и может быть проиллюстрирована на материале многих исторических языков. Переход палатализованных велярных в аффрикаты и спиранты в одной группе индоевропейских диалектов привел к образованию так называемых satəm-ных языков, которые характеризуются одновременно и утерей признака лабиализации (фарингализации), и образованием тем самым из трех рядов индоевропейских постериорных смычных единственного ряда смычных велярных фонем.

В другой группе индоевропейских диалектов происходит преобразование нестабильного палатализованного ряда смычных в другом направлении — в направлении утери признака палатализации и слияния в результате этого процесса древнего палатализованного ряда велярных с рядом чистых велярных смычных. Эти процессы приводят к образованию так называемых диалектов группы centum, в которых, однако, еще сохраняется некоторое время ряд лабиализованных фонем в качестве самостоятельного фонемного ряда, противопоставленного по признаку лабиализации ряду чистых велярных смычных. Уже позднее фонемы лабиализованного ряда велярных в этих языковых системах распадаются на последовательность «велярный смычный + лабиальная фонема *u*» или совпадают со смычными лабиального ряда.

Однако в процессе движения в системе палатализованный ряд смычных претерпевает не единообразные изменения в отношении всех членов ряда, а обнаруживает различия в эволюции отдельных его членов, в зависимости от системных и позиционных факторов. Такое неединообразие в изменении палатализованного ряда в системе наблюдается как при движении его в сторону чистого велярного ряда (т. е. в диалектах группы centum), так и в случае движения этого ряда в общем направлении аффрикатизации (т. е. в диалектах группы satəm).

Рассмотрим сначала индоевропейские диалекты, в которых палатализованный ряд движется в сторону чистого велярного ряда и сливается с ним в общий ряд велярных (при наличии в системе фонемного ряда, восходящего к индоевропейскому лабиовелярному ряду смычных). К этой группе диалектов следует отнести в первую очередь анатолийские языки, греческий, италийский, кельтские, германские и тохарские языки. Однако в некоторых из этих диалектов в ряде форм наблюдается отклонение от основного направления преобразования палатализованных велярных, что находит удовлетворительное структурное объяснение из складывающихся в системе в процессе ее преобразования соотношения между фонемными рядами.

В анатолийских языках (хеттском и лувийском) индоевропейские палатализованные смычные отражаются (как и соответствующие велярные) в виде заднеязычных смычных, представленных на письме простым (и удвоенным) написанием согласного *-k-* (*-kk-*) типа хет. *gi-e-nu* «колено», ср. др.-инд. *jānu*, арм. *cunr* при гот. *kniu*, греч. γόνυ, лат. *genu*, тох. *kanwem*, и.-е. **k̑'enu*.

Ряд лабиовелярных представлен как последовательность «велярный + + **u̯*», который в общеанатолийском, несомненно, представлял монофоне-

матический комплекс, т. е. велярную фонему с признаком лабиализации (ср. выше о фонологическом статусе подобных сочетаний в хеттском) типа хет. *ne-ku-ma-an-za* «голый» (Madduwataš, передняя сторона, строка 51, цит. по «Keilschrifturkunde aus Boghazköi», XIII, 4, III, 32), ср. гот. *naqaþs* : и.-е. *nek°'-.

Но в позиции перед *u/u̯* анатолийские рефлексы индоевропейской палатализованной фонемы $*\hat{k}^{[h]}$ представлены не в виде *k*-, как во всех остальных позициях, а в виде спиранта *s*: иероглиф. лув. *sù-wa-na-i* «собаки» (надпись из Ассурс, в II 15): ср. др.-инд. *śvā*, *ś(u)vā*, род. пад. мн. числа *śunas*, арм. *šun*, род. пад. *šan*; литов. *šuõ*, род. пад. *šuns* при греч. κύων, род. пад. κυνός, лат. *canis*, др.-ирл. *cú* «то же», род. пад. *con* : и.-е. $*\hat{k}^{[h]}u̯$ *(e/o)n*-; иероглиф. лув. *á-sù-wa* «конь» (надпись из Каратепе, 41 и сл.; соответствует финик. *ss* «конь» в билингве), *á-sù-wa-i* «кони» (надпись из Андавала, 2), ср.: др.-инд. *aśva*- «конь», ст.-литов. *ašvà* «лошадь, конь» при греч. ἵππος, лат. *equus*, др.-ирл. *ech*, тох. В *yakwe* «то же»: и.-е. $*e\hat{k}^{[h]}u̯o$-; иероглиф. лув. *su-wà-há* «я наполнил» (надпись из Каратепе, 38 — финик. *w-ml'*; надпись из Кархемыша, A 30 h 2), *su-su-ta* (редуплицированный глагол, надпись из Кархемыша, A 30 h 1); клин. лув. *šuwa*- «наполнять», 3-е лицо ед. числа прош. времени *šu-u-u̯a-at-ta* (H. Otten, Luvische Texte in Umschrift, Berlin, 1953, 88 III 2 и сл.; E. Laroche, Dictionnaire de la langue louwite, Paris, 1959, стр. 88); хет. *šuu̯ai*- «наполнять», иероглиф. лув. *suwa*- «наполнять», *šunna*- «наполнять», пал. *šun*-: др.-инд. *śvayati* «наполняется; усиливается», перф. *śuśuvuh* (перфектная редупликация), арм. *sun*, алб. *thellë* «глубокий», литов. *pa-šŭne* «сила», ст.-слав. соуи при греч. κυέω «беременеть», κῦμα «вздутие», лат. *cavus* «полый, пустой»; хет. *šuu̯a̯a*- «смотреть», др.-ирл. *ci*- «видеть».

Такое развитие индоевропейского $*\hat{k}^{[h]}$ в анатолийском частично совпадает с отражением палатализованных велярных в диалектах группы satəm. Однако это частичное совпадение развития палатализованных велярных в анатолийских языках и в языках группы satəm — лишь внешнее и не является следствием однородных внутренних причин.

Такое отражение индоевропейской палатализованной смычной фонемы в анатолийском в позиции перед *u* в отличие от отражения палатализованных во всех остальных позициях объяснимо наличием в системе ряда лабиализованных велярных наряду с рядом чистых велярных. При переходе в анатолийском палатализованного ряда в соответствующий ряд велярных, что было характерно для и.-е. диалектов группы centum, в позиции перед сонантом *u* должны были возникнуть комплексы велярных смычных с последующим сонантом *u*: /*k'u/, /*g^hu/, /*k^hu/, которые в таком случае совпали бы с рефлексами индоевропейских лабиализованных $*k'^o$, $*g^{o[h]}$, $k^{o[h]}$, представлявших в системе маркированный ряд лабиовелярных в противовес немаркированному ряду собственно велярных. Такое совпадение в системе палатализованного ряда с маркированным рядом лабиализованных предотвращается путем ассибиляции палатализованных смычных в позиции перед *u*, где и могло только возникнуть такое совпадение в отличие от других позиций, в которых палатализованные смычные нормально переходили в соответствующие велярные смычные, сливаясь тем самым с немаркированным рядом велярных. Таким образом, двойное отражение в анатолийском индоевропейских палатализованных смычных в виде велярных и сибилянта *s* (в позиции перед *u̯*) объясняется общей тенденцией к переходу нестабильного ряда палатализованных смычных в наиболее стабильный среди постериорных смычных ряд велярных, причем избегалось возможное совпадение палатализованных при таком переходе с еще сохранившимися лабиовелярными фонемами посредством ассибиляции первоначального палатального в позиции перед *u*.

Аналогичное в фонологическом отношении развитие древних палатальных в позиции перед *u* наблюдается и в некоторых других диалектах группы centum, в которых исходный палатализованный ряд смычных преобразуется путем слияния его с немаркированным рядом велярных фонем, в частности, в латинском. Непонятное отражение индоевропейского сочетания $*\hat{k}^{[h]}u$ в форме *canis* «собака» [14] становится легко объяснимым с учетом описанных выше фонологических соотношений в системе. Во избежание совпадения сочетания $*k^{[h]}\underset{\smile}{u}$ в латинском при переходе палатализованной фонемы в соответствующую велярную с лабиовелярной фонемой $*k^{u}$ происходит упрощение первого сочетания; $*k^{h}u > k$ (ср. сходное развитие и в германском названии «пса, собаки»).

Несколько отличное от этого развитие, но объясняемое также той же общей тенденцией к избеганию слияния велярных с соответствующими маркированными лабиовелярными фонемами наблюдается в латинских формах *equus* «конь» (и.-е. $*e\hat{k}^{[h]}\underset{\smile}{u}o$-, ср. выше иероглиф. лув. *aśuua*-), *uapor* «дым; пар», и.-е. $*k^{[h]}uep$-$^{[h]}$, ср. литов. *kvãpas* «дым», греч. καπνός «дым; пар» [15], лат. *cāseus* (и.-е. $k^{[h]}\underset{\smile}{u}as$-) «сыр», ср. ст.-слав. **квасъ** «квас», **къ снѫти** «скисать, сквашиваться».

Латинские формы *uapor* и *cāseus* объяснимы как результат преобразования сочетания *ku* путем утери одного из компонентов: велярного *k* в форме *uapor* и лабиального *u* в форме *cāseus*, чем и достигается расподобление этого сочетания с рефлексом лабиовелярной фонемы /k°/. Характерно также в этом отношении и отсутствие лабиального элемента в греч. καπνός (вместо ожидаемого *κFαπνός; дигамма отсутствует уже в микенской форме) [16]. Этой же тенденцией объясняется двойное ππ в греч. ἵππος (из индоевропейского сочетания $*\hat{k}^{[h]}u$) в отличие от греческого рефлекса индоевропейского лабиовелярного $*k^{o[h]}$, передаваемого в греческом неизменно через одно π (ср. вызванное аналогичными причинами преобразование этого индоевропейского слова в анатолийском). Латинские формы *equus*, с одной стороны, *uapor*, *cāseus* — с другой, можно рассматривать как возникшие в силу тенденции к различению друг от друга рефлексов индоевропейского сочетания /$k^{[h]}$u/, с одной стороны, и рефлексов индоевропейской лабиовелярной фонемы — с другой. В латинском возникают рефлексы, не совпадающие друг с другом фонетически.

При всем фонетическом различии результатов преобразования в анатолийском, латинском и греческом происходят однотипные процессы при движении палатализованных гуттуральных в направлении слияния их с соответствующими велярными, что характеризует индоевропейские диалекты группы centum.

Вместо ряда палатализованных смычных в диалектах группы satəm возникает особый ряд аффрикат и фрикативных фонем, которые совместно с исконными сибилянтными фонемами составляют общий класс аффрикат и сибилянтов. Такие аффрикаты и фрикативные должны были совпадать в системе с теми аффрикатами и фрикативными фонемами, которые, вероятно, еще раньше возникли комбинаторно из первичных лабиовелярных (или фарингализованных велярных фонем) в позициях палатализации, т. е. в позиции перед гласными переднего образования. Лабиовелярные фонемы в позиции перед гласными переднего ряда выступали как палатализованные варианты лабиовелярных фонем, которые в других

---

[14] См.: A. Ernout — A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, Paris, 1967, стр. 92. Ср. выше о лув. иероглиф. *suuana* при аналогичных факторах изменения.

[15] См.: V. Pisani, Glottologia indoeuropea, Torino, 1949, стр. 40—45.

[16] См.: M. Lejeune, Phonétique historique du mycénien et du grec ancien, Paris, 1972.

позициях проявлялись без этого фонетического признака палатализации [17]. Палатализованные лабиовелярные, выступающие на определенном этапе развития языка в качестве позиционно обусловленных вариантов фонем лабиализованного ряда велярных, претерпевают в дальнейшем фонетическую ассибиляцию и переход в аффрикаты.

Элиминация нестабильного в системе палатализованного ряда велярных происходит в индоевропейских диалектах группы satəm, как было указано выше, путем фонетического преобразования этого ряда и перехода единиц этого ряда в звуки, фонетически отличные от исходных.

[17] Фонетически возможно сочетание при велярных признаках лабиализации совместно с признаком палатализованности (в частности, в японском диалекте Нагасаки).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1980

ЭДЕЛЬМАН Д. И.

К СУБСТРАТНОМУ НАСЛЕДИЮ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО ЯЗЫКОВОГО СОЮЗА

Интенсивные сравнительные исследования последних лет языков индоиранской семьи позволяют не только проследить основные тенденции спонтанного развития их исходного состояния, но и выявить целый ряд интересных «исключений», «отклонений», «аномалий», не мотивированных, как будто, закономерным ходом эволюции этих языков. Часть таких аномалий возникает, по-видимому, благодаря своеобразным «мутациям» системы (ср. перестройку дейктических систем во многих индоиранских языках с трехчленных на двучленные при использовании этимологически различных компонентов; появление здесь разных типов эргативной или эргативообразной конструкции предложения; связанную с этим «инверсию» связки в памирских языках в результате ее контаминации с энклитическими местоимениями и т. п.), часть может быть объяснена конвергенцией и заимствованием элементов из других языков в ходе длительных контактов (например, церебральные в белуджском языке, усвоенные вместе с лексикой, изафетные конструкции в языках, контактирующих с персидским и таджикским и т. п.). Наконец, часть преобразований в группе языков единого ареала (не обязательно ближайше родственных) может быть обусловлена субстратным воздействием. Последнее способно служить и своего рода катализатором для тенденций, потенциально заложенных в прасистеме, но не реализовавшихся в других языках, однако может вызвать изменения и не подразумевавшиеся логикой развития исходной системы.

Анализ такого рода «аномалий» может дать информацию как об истории соответствующих языков, так и о строе языка субстрата — в плане и его «поверхностных» (формальных) структурных характеристик, и явлений, отражающих его целостный содержательно-типологический облик.

В специальной литературе уже отмечалось наличие во многих индоиранских языках субстратно обусловленных черт на разных уровнях: в фонетике, в словообразовательных и словоизменительных моделях, в синтаксисе, лексике, а также в элементах общей типологической характеристики [1]. В данной статье суммируется совокупность «аномалий», которые могут быть продиктованы субстратным воздействием на генетически не однородные языки единого ареала.

В рассматриваемом ареале, включающем регионы Гиндукуша, Памира, отроги Каракорума и отчасти Гималаев, локализованы языки различной

[1] В. И. Абаев, О языковом субстрате, «Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР», IX, М., 1956; его же, Типология армянского и осетинского языков и кавказский субстрат, сб. «Sprache und Gesellschaft», Jena, 1970; его же, Armeno-ossetica (Типологические встречи), ВЯ, 1978, 6; В. С. Воробьев-Десятовский, К вопросу о роли субстрата в развитии индоарийских языков, «Советское востоковедение», 1956, I; Д. И. Эдельман, Основные вопросы лингвистической географии, М., 1968, стр. 53 и сл.; ее же, Структурные аномалии восточноиранских языков и типология субстрата, «Studien zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft», Jena, 1976.

генетической принадлежности. Это — представители восточноиранских (афганский, или пушту, памирские, мунджанский), западноиранские (белуджский) и два реликтовых иранских языка (парачи и ормури), выявляющих и западные, и восточные черты. Здесь же распространены отдельные индоарийские языки: думаки, так называемые диалекты западного пахари, язык панджаби, по ряду признаков также лэнди (лахнда) и синдхи; дардская подгруппа входит в этот ареал полностью. Сюда относится и нуристанская (традиционно — «кафирская») группа, составляющая третью (наряду с индоарийской и иранской) ветвь индоиранской семьи [2]. Из неиндоевропейских языков здесь налицо изолированный бурушаски, часть сино-тибетских — гималайских — языков и единичные дравидийские (брагуи и, возможно, отдельные диалекты в Непале). Ряд разноуровневых структурных параллелизмов позволяет применить к этим языкам понятие языкового союза, называемого в литературе Центральноазиатским или Гималайским [3]. При этом некоторые из черт входящих в него индоиранских языков указывают на субстратное воздействие на них со стороны языков доиндоевропейских.

Из чисто формальных характеристик языков этого ареала, которые могут быть объяснены субстратным воздействием, отметим следующие.

Имеется определенная общность в их фонологическом составе: сложность консонантной подсистемы при относительной простоте вокалической; ареальная закрепленность определенных фонологических рядов, в частности, церебральных щелевых (а в особо узком ареале — и аффрикат), в отличие от большинства индоарийских языков, где церебральный ряд включает только смычные [4], но в соответствии с фонологическим инвентарем неиндоевропейских языков региона, в частности, бурушаски [5].

Наблюдается определенная ареальная приуроченность некоторых словообразовательных моделей, указывающая, скорее всего, на субстратное начало. Так, характерна модель образования местоимений 2-го лица мн. числа не от древней основы полного или энклитического местоимения, а от основы ед. числа, по схеме **tu + sma* (для подавляющего большинства индоарийских, включая часть дардских: вотапури, тирахи, торвали, башкарик, майян, пхалура, шина, кашмири) или **ta + hma* (для части иранских: афганского, ормури, шугнано-рушанской группы, язгулямского, ишкашимского), т. е. по модели, которая могла иметь праобразом субстратную модель местоимения «вы», образованного от «ты» присоединением показателя множественности [6] (ср. такое образование в драви-

---

[2] О месте этих языков среди индоиранских см.: G. Morgenstierne, Irano-Dardica, Wiesbaden, 1973, стр. 327 сл.; его же, Languages of Nuristan and surrounding regions, «Cultures of the Hindukush», Wiesbaden, 1974; G. Buddruss, Nochmals zur Stellung der Nūristān-Sprachen des afghanischen Hindukusch, «Münchener Studien zur Sprachwissenschaft», 36, München, 1977.

[3] В. Н. Топоров, Несколько замечаний к фонологической характеристике центрально-азиатского языкового союза (ЦАЯС), «Symbolae linguisticae in honorem Georgii Kuryłowicz», Wrocław, 1965; см. также работы, указанные в примеч. 1 настоящей статьи.

[4] Т. Я. Елизаренкова, Исследования по диахронической фонологии индоарийских языков, М., 1974, стр. 278—280.

[5] И. И. Зарубин, Вершикское наречие канджутского языка, «Зап. Коллегии востоковедов», II, 2, Л., 1927, стр. 283; D. L. R. Lorimer, The Burushaski language, I, Oslo, 1935, стр. 5—7; H. Berger, Das Yasin-Burushaski (Werchikwar), Wiesbaden, 1974, стр. 10. Далее материал бурушаски дается по этим источникам.

[6] G. Morgenstierne, The personal pronouns first and second plural in the Dardic and Kafir languages, «Indian Linguistics», V, 4, 1935; В. С. Воробьев-Десятовский, Развитие личных местоимений в индоарийских языках, М.— Л., 1956, стр. 25, 27, 64, 83, 112 и др.; Д. И. Эдельман, К вопросу о словообразовании местоимений в индоиранских языках, «Индийская и иранская филология (вопросы лексики)», М., 1971. Аргументы против заимствования этих местоимений иран-

дийских языках [7], гималайских [8] и, по-видимому, в раннем бурушаски (ср. буруш. *uŋ*, вершик. *un* «ты» ~ *ma* «вы»).

Вероятно, субстратной схемой объясняется построение числительных второго десятка по типу «десять + два» = 12 (в отличие от обычного индоиранского «два + десять») в данном ареале (к ваханскому, ряду дардских и прошедшему через ареал цыганскому, где такой порядок связан с аналогичным в бурушаски [9], можно добавить языки шугнано-рушанской группы и язгулямский). Воздействием субстрата объясняется, очевидно, вигезимальная система построения числительных выше тридцати в большинстве языков ареала, как и в более южных районах Индостана (ср. вигезимальную систему в соседних неиндоевропейских языках, с одной стороны, и децимальную в позднем индоевропейском, а также неавтохтонность здесь индоевропейских языков, с другой).

Можно отметить в этой связи и ряд частных словообразовательных моделей. Так, шугнанская расширенная форма числительного «два» *δiyūn* (при первичной *δu*), представляющая форму с именным показателем мн. числа, не обусловлена историей иранских языков (в древних иранских и индийском «два» склонялось по парадигме двойств. числа). Употребляясь не только при счете людей, но и предметов, а также при абстрактном счете, она, будучи сходной по форме с классич. перс. *duvān* (в *har duvān* «двое») [10], не аналогична ей функционально. По функциям и месту в системе она сопоставима с бурушаски *ālto* «два» — формой числительного абстрактного ряда (употребляемого без существительных), являющейся — единственной из всех числительных этого ряда — застывшей формой мн. числа (с именным показателем мн. числа *-o*).

В словообразовании имен ср., например, ваханские *žəmák* «луна», *ž(ə)yir* «солнце» с сращенным местоименным элементом *žə-* «мой» (ср. местоименные проклитики в языке бурушаски, употребляемые при именах) [11], *brin* «колено», *brət* «локоть», где *b-* < **dba-* < **dva-* «два» [12] (при аналогичной структуре названий парных частей тела в бурушаски с префиксальным *-lt-* < *ālto* «два»). Отмечаются также параллелизмы в словоизменении, служебных словах и элементах и синтаксисе языков шина, кховар, думаки, с одной стороны, и бурушаски, с другой [13].

В лексике наблюдаются определенные семантические сдвиги (иногда сопровождаемые фонетическими перебоями), ср. вах. *yumǰ* «мука» < **āmači-* «сырая» и буруш. *dʌγōʌŋ* «мука́» ~ *dʌγūi* «сырой» (вершик. *dʌγōm* ~ *dʌγōiε*) [14]. Возможно, к таким «сдвигам» относится в ряде па-

скими языками из индоарийских см.: F. B. J. Kuiper, [рец.на.кн.:] «Melanges linguistiques offerts à É. Benveniste», Paris, 1975, III, 1976, XVIII, 1/2, стр. 99—100.

[7] T. Burrow, M. B. Emeneau, A Dravidian etymological dictionary, Oxford, 1963, стр. 247; М. С. Андронов, Сравнительная грамматика дравидийских языков, М., 1978, стр. 256—260.

[8] «Linguistic survey of India», I, 2, Calcutta, 1928, стр. 34—41 (далее—LSI).

[9] В. М. Бескровный, О влиянии иноязычной среды на индоарийские языки (на материале цыганских числительных), «Народы Азии и Африки», 1974, 4.

[10] Д. Карамшоев, Т. Бахтибеков, Доир ба алоқаи луғавию грамматикии забонҳои помирӣ ва тоҷикӣ, «Масъалаҳои забоншиносӣ (маҷмӯаи мақолаҳо)», Душанбе, 1975, стр. 67.

[11] И. М. Стеблин-Каменский, Ваханское (*žə*)*mák* «(моя) луна» и (*y*)*imьík* «хвойник» и древнеиранское *hauma-*, «Актуальные вопросы иранистики и сравнительного индоевропейского языкознания. Тезисы докладов», М., 1970.

[12] И. М. Стеблин-Каменский, «Колени» и «локти» памирского субстрата, «Переднеазиатский сборник. История и филология стран Древнего Востока», М., 1979, стр. 213—214.

[13] См., например, D. L. R. Lorimer, Burushaski and its alien neighbours: problems in linguistic contagion, TPhS — 1937, Amsterdam, 1968; его же, The Dumaki language, Nijmegen, 1939, стр. 49 сл., 139 сл.

[14] И. М. Стеблин-Каменский, «Колени» и «локти» памирского субстрата, стр. 212.

мирских языков (и таджикских говорах Бадахшана) *dawōm*, *dawom*, *dawūm* «начинание» в сложноименных глаголах «начинать» и «начинаться», являющееся контаминацией арабского заимствованного *dawām* через тадж. *davom* «продолжение» с бытовавшим, очевидно, некогда в памирских языках сходным словом «начало». Таковым могло быть субстратное слово, связанное этимологически с буруш. *dūn-*, вершик. *dohon-* «держать, хватать; начинать» (ср. вершик. *ts.hɛl mīya dohōnimi* «воду пить начал» [15]), особенно учитывая, что в вершикском глагол часто выступает в этих конструкциях в форме причастия на *-m* или абсолютива *dohon*. При отсутствии в памирских языках фонемы /h/, сходная форма могла быть унаследована из субстрата как **dowom* (с *w* для преодоления зияния; при заимствовании из таджикского сохранилась бы фонема *v*) и контаминирована с тадж.-араб. *davom*, передав ему значение и видоизменив звучание.

Наблюдается здесь также заметный слой ареальной лексики с не всегда ясным языком-источником того или иного слова, часть которой, видимо, субстратного происхождения [16]. Очевидно, образцы субстратной лексики следует искать и в топонимии, которая далеко не полностью этимологизируется на индоиранской почве.

Схождения, о которых говорилось выше, имеют в основном формальный характер. Однако с точки зрения возможного субстратного воздействия не менее интересны черты языков данного ареала, позволяющие сделать определенные выводы относительно содержательной стороны языковых форм и выявить тем самым элементы того, что нередко называют «речевым» или «языковым мышлением», стоящим за так называемыми «скрытыми категориями» [17], т. е. элементы, зачастую сохраняющиеся при переходе этноса с одного языка на другой [18]. Именно эти элементы, связанные с содержательной стороной языка, позволяют, как кажется, проследить некоторую систему во множестве структурных аномалий языков ареала. Если принять определение проявления субстрата, данное В. И. Абаевым, как совокупности закономерных «ошибок» среды, переходящей на новый язык [19], то можно предположить, что, установив принцип, которым эти «ошибки» и «аномалии» объединяются в данную совокупность, мы сделаем шаг к пониманию контенсивно-типологической характеристики языкового субстрата данного ареала.

Заранее следует оговориться, что географическое распределение рассматриваемых элементов, как и элементов чисто формального плана, неоднородно (и неодинаково изучено). Часть их может быть общей для двух и более сопредельных языков (не обязательно ближайше родственных друг другу [20]), другие — разбросаны по единичным языкам. Поскольку в рамках статьи невозможно подробно рассмотреть всю их совокупность, ограничимся некоторыми, на наш взгляд, наиболее характерными.

В отдельных восточноиранских языках, в частности, в афганском, в языках шугнано-рушанской группы, язгулямском, мунджанском, а также в соседящих с ними белуджском и парачи, наблюдается заметная

---

[15] D. L. R. Lorimer, Werchikwar-English vocabulary, Oslo, 1962, стр. 74.

[16] Список таких слов в ваханском языке был любезно предоставлен автору И. М. Стеблин-Каменским.

[17] С. Д. Кацнельсон, Типология языка и речевое мышление, Л., 1972, стр. 7, 16 и др.

[18] В. И. Абаев, О языковом субстрате, стр. 66—67; В. Н. Ярцева, Теория субстрата в истории языкознания, «Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР», IX, стр. 28—29; Б. А. Серебренников, Проблема субстрата, там же, стр. 41, 52.

[19] В. И. Абаев, указ.соч., стр. 60, 62.

[20] Ср. сходные субстратные кавказские черты в осетинском и армянском: В. И. Абаев, Armeno-ossetica.

аномалия в распределении глаголов на классы переходных и непереходных. Некоторые глаголы непереходного характера (т. е. не управляющие прямым дополнением) трактуются как переходные: либо спрягаются по типу переходных, либо образуют эргативообразные конструкции предложения. Это глаголы типа: «вздыхать», «чихать», «кашлять», «смеяться», «улыбаться», «плакать», «тошнить», «умирать», «жадничать», «гордиться», «расти», «становиться»; «прыгать», «бегать», «приближаться», «садиться», «кочевать», «плясать», «играть», «купаться», «убегать»; «лаять», «мяукать», «выть», «кукарекать», «блеять» и др., а также глаголы со значением физических отправлений и пр., иными словами, непереходные глаголы, обозначающие деятельность живого существа. Наиболее полный список таких глаголов для иранских языков засвидетельствован в афганском (35 лексем) [21]. Несколько меньшее число отмечено в мунджанском — зафиксированы: «смеяться», «плакать», «кашлять», «тошнить», «соглашаться», «лаять», «испражняться», «стоять», «выпадать (об осадках)», «стучать», «бранить(ся)» и др.[22]. Вхождение в эту группу глагола «выпадать (об осадках)» объясняется тем, что ряд явлений природы (осадки, радуга, движение светил, гроза и пр.) воспринимались древними как проявление живого начала, что отражалось в языке. Примеры оформления глаголов этой группы (или конструкций с ними) по переходному типу встречаются в ряде памирских языков, ср.: язг. *im wůγd yo dim*? «она (эта) плакала или она (та)?» *im-ǰa wůγd, dim-ǰa* «и она плакала, и она»; *můn-anə na-xant* «я не смеялась, правда?»; рушн. *uf daδ pa way bolt* «тогда они побранили его» (букв. «побранились на него»); барт.: *uf-af newd* «они плакали»; шугн. *yu-yi piršt* «он чихнул», *yu γiδa-(y)i šinč* «мальчик засмеялся» [23] и т. п. Ср. глаголы этого типа в парачи («садиться», «умирать», «плакать») [24], белуджском («смеяться», «бежать», «чихать», «лаять» и др.) [25]. Столь же «аномальны» подобные глаголы в языках дардской группы (отмечены в кашмири, шумашти, диалектах пашаи) [26] и собственно индоарийских (прослежены в хинди, ассамском, маратхи, языке среднеазиатских парья) [27]. Несомненно, более исчерпывающее исследование этих языков пополнит список как глаголов данной группы, так и языков, знающих эту «аномалию».

Любопытны аналогичные отклонения в оформлении глаголов той же семантической группы в вымерших иранских языках региона — согдийском («приближаться», «садиться», «становиться», «рассветать» и др.) [28] и сакском («жить», «достигнуть нирваны», «приходить», «ехать верхом», «плакать», «сбиться; потерпеть неудачу», «становиться, быть», «расти», «спать», «оставаться»). В свое время С. Конов выделил эту группу глаголов в сакском, охарактеризовав их как «такие непереходные, которые

---

[21] Н. А. Дворянков, Язык пушту, М., 1960, стр. 70—71.

[22] В. С. Соколова, Генетические отношения мунджанского языка и шугнано-язгулямской группы, Л., 1973, стр. 76, 100, 101 и др.

[23] См. примеры: М. Файзов, Язык рушанцев Советского Памира, Душанбе, 1966, стр. 76, 152; Д. И. Эдельман, Язгулямский язык, М., 1966, стр. 40, 155; Н. Карамхудоев, Бартангский язык, Душанбе, 1973, стр. 153. Шугнанские примеры любезно сообщены Д. Карамшоевым.

[24] G. Morgenstierne, Indo-Iranian frontier languages (далее IIFL), I, Oslo, 1929, стр. 96.

[25] В. А. Фролова, Белуджский язык, М., 1960, стр. 48.

[26] См., например, IIFL, III, 1, 1967, стр. 67, 69; G. Morgenstierne, Notes on Shumashti, NTS, XIII, Oslo, 1945, стр. 250; G. A. Grierson, Essays on Kāçmīrī grammar, London, 1899, стр. 107, 204, 214, 219, LXXXVII—LXXXIX.

[27] Г. А. Зограф, Морфологический строй новых индоарийских языков, М., 1976, стр. 206; И. М. Оранский, Фольклор и язык гиссарских парья (Средняя Азия), М., 1977, стр. 83.

[28] I. Gershevitch, A grammar of Manichean Sogdian, Oxford, 1954, стр. 130.

имеют усиленно активное значение»[29]. К сожалению, его формулировка не была должным образом оценена и даже подверглась резкой критике с позиций отнесения этих «исключений» к формальному распространению переходного типа спряжения на непереходные глаголы[30]. Однако семантическая характеристика данных глаголов и сопоставление их с аналогичными глаголами других языков ареала свидетельствует о правоте С. Конова («обратное исключение» — глагол *bud-* «сознавать, знать, понимать», спрягающийся по непереходному типу,— лишь кажущееся: verba sentiendi, к которым относится *bud-*, во многих языках трактуются как непереходные или образуют особую группу).

Характерно наличие такого же отклонения в бурушаски (прослежены глаголы «опьянеть», «лечь спать», «прибывать», «смеяться»)[31].

Таким образом, в языках данного ареала отмечается совершенно определенная черта — связь группы глаголов, обозначающих деятельность живого существа, с переходными глаголами. В каждом из этих языков данная группа образует исключение из общих морфологических и синтаксических правил оформления переходности/непереходности, однако единообразие семантики и повторяемость этих глаголов по языкам приводит к мысли, что это явление — не случайность. Оно может указывать на определенный семантический принцип членения глагольной лексики, основанный на противопоставлении не (или не только) переходности/непереходности, а живого/неживого или одушевленного/неодушевленного субъекта действия. (Сходное явление прослежено И. И. Цукерманом в курдском языке, где оно, однако, не сопровождается другими «аномалиями», о которых будет сказано ниже.)

Для ряда языков ареала характерно наличие двух различных лексем связки 3-го лица — при одушевленном и при неодушевленном субъекте. Они отмечаются в нескольких дардских языках (пашаи, шумашти, кховар, калаша)[32], одном иранском (парачи)[33]. Лексическое противопоставление одушевленности/неодушевленности в связке (ср. калаша: наст. вр. ед. числа *asou* ~ *šiu*, мн. числа *asan* ~ *šian*, прош. вр. *asis* ~ *ašis*, *asini* ~ *ašini*; парачи: *(h)a* ~ *sī* и т. п.) не вытекает из общеарийской системы (хотя обе лексемы этимологически исконны). Вместе с тем особая форма связки при именах IV класса (исторически — неживых) имеется в бурушаски.

В некоторых языках этого региона, например, в дардских — кашмири, шумашти и др., существует ряд глаголов, обозначающих качество, типа «быть красным», «быть большим», «быть горьким», «быть горячим» и т. п. (например, кашм. *wazal-* «быть красным», *pōṭh-*, *vyath* «быть жирным», *g°ab-* «быть тяжелым», *lōk-* «быть маленьким», *čhat-* «быть белым», *tat-* «быть горячим», *ṭyaṭh-* «быть горьким», *thad-* «быть высоким» и т. д.). При наличии в общеарийском богатой системы прилагательных как отдельной части речи с развитой словоизменительной системой и при том, что во многих языках индоиранской семьи прилагательные имеют тенденцию к смыканию с существительными, возникновение в таком узком ареале данных глаголов как категории нерасчлененного предиката едва ли объяснимо естественным развитием общеарийского прилагательного. Это — исключение, которое можно сопоставить с аналогичной группой

---

[29] S. Konow, Primer of Khotanese Saka, NTS, XV, Oslo, 1949, стр. 50.
[30] R. E. Emmerick, Saka grammatical studies, Oxford, 1968, стр. 221.
[31] D. L. R. Lorimer, The Burushaski language, стр. 199 и др.
[32] IIFL, III, 1, 1967, стр. 100, 176, 229, 274; G. Morgenstierne, Some features of Khowar morphology, NTS, XIV, Oslo, 1947, стр. 25; его же, Notes on Kalasha, NTS, XX, Oslo, 1965, стр. 219—221; его же, Notes on Shumashti, стр. 255.
[33] IIFL, I, 1929, стр. 81—82.

глаголов в гималайских языках и бурушаски (в дравидийских они появляются в позднюю эпоху).

В отдельных языках отмечены вторичные лексемы местоимения 1-го лица мн. числа, противопоставленные по инклюзитивности/эксклюзитивности. В иранских языках — язгулямском и белуджском — эта оппозиция выглядит как инклюзивное/общее, ср.: язг. *az-tow* «мы с тобой» (букв. «я-ты») ~ *mox* «мы (вообще)»; бел. *mašmā* «мы с тобой», «мы с вами» (букв. «я-вы» или «мы-вы») ~ *amma* «мы (вообще)» [34]. Такое явление отмечено и в отдельных индоарийских языках. В неиндоевропейских языках данного ареала — гималайских, дравидийских (а также в мунда) противопоставление инклюзив/эксклюзив распространено почти повсеместно [35]. Общеарийская система не знала этого противопоставления, основанного на участии/неучастии собеседника в ситуации, а спонтанное развитие системы едва ли могло бы его выработать.

В отдельных языках ареала особое выражение получила оппозиция отчуждаемой/неотчуждаемой принадлежности. В неявном виде она проступает в большинстве индоиранских языков — в обычном употреблении терминов неотчуждаемой принадлежности с определителем (местоимением или энклитикой), при том, что остальные имена принимают его факультативно в зависимости от смысла высказывания. В некоторых же языках ареала эта оппозиция выражается также синтаксически — порядком компонентов предложных сочетаний.

Так, в части восточноиранских языков — в большинстве памирских, включая мунджанский,— принадлежностное сочетание с предлогом строится обычно в последовательности: предлог — препозитивное определение — определяемое (типа язг. *ən ni kůd* «в моем доме»). В афганском и сарыкольском (единственном из шугнано-рушанской группы) предлог оказывается внутри такого сочетания (афг. *də duy pə baγ ki* «в их саду»). Такое различное положение предлога в родственных языках естественно, если учесть, что в общеарийском, общеиранском и даже в более поздние эпохи место служебных слов не было закреплено, и фиксация его была относительно поздней.

Однако, в отдельных языках первого типа — в йидга и большинстве языков шугнано-рушанской группы — отмечаются случаи постановки предлога внутри принадлежностного сочетания (с постепенным превращением его в префикс). Подобных случаев немного, и все они связаны с неотчуждаемой принадлежностью: с названиями частей тела, сторонами (перед, бок и т. п.) и неотделимыми от человека понятиями (память, разум, сон и т. п.), ср.: шугн. *mu tar δust* «в моей руке», *xu tar bīst* «себе за пазуху», *mu ba yōδ* «в моей памяти», *tu pi pōδ* «на твоей ноге», *wi pi tanā* «на его теле»; руш. *xu par cāmēn* «своими глазами»; барт. *xu tar δöst* «на свою руку»; йидга *mən tra zil* «в моем сердце» (ср. шугн. *tar xu čīd*; йидга *də x(w)oi kyēi* «в свой дом»). Эта конструкция для современных языков составляет архаизм и часто нарушается (хотя отмечаются случаи лексикализации сращения имени с таким «префиксом» и превращения его в послелог, ср.: руш. *x̌ār pa-kāl* «над городом»; йидга *nā-mən da-pīr* «передо мной»). Сходные построения отмечаются и в других языках ареала (ср. вайг. *ũ a-kār* «в мое ухо»).

Передача оппозиции отчуждаемой/неотчуждаемой принадлежности различной фиксацией предлога может объясняться тем, что некогда —

[34] С. Н. Соколов, Язык белуджей Советского Союза, «Труды Ин-та языкознания АН СССР», VI, М., 1956, стр. 69.

[35] M. Maspero, Notes sur la morphologie du tibéto-birman et du munda, BSLP, 44, 1, 1948, стр. 175. М. С. Андронов, указ. соч., стр. 250—256; Г. А. Зограф, указ. соч., стр. 156.

в протошугнанском языке и в раннем состоянии ряда других языков — термины неотчуждаемой принадлежности употреблялись неизменно с местоименными энклитиками, благодаря чему препозитивное определение, выраженное полным местоимением (или именем), оказывалось пролептическим, не входившим в данную синтаксическую группу (возможна трактовка его и как косвенного дополнения: «У меня в моей-руке»). Именно такие конструкции с терминами неотчуждаемой принадлежности отмечаются в других языках ареала (например, в шумашти). Остальные имена выступали либо с энклитиками, либо с препозитивными определениями — полными местоимениями или именами, которые здесь уже не были пролептическими, а являлись компонентами определительного сочетания, выступающего как целостная синтаксическая группа, оформленная стоящим перед ней предлогом. Такое положение сохранилось в большинстве языков шугнано-рушанской группы (кроме сарыкольского, где обобщился второй тип) и в йидга даже после исчезновения приименных энклитик (в вайгали сохранившиеся приименные энклитики примыкают к именной основе, предваряя падежные форманты, ср. обратный порядок в мунджанском, где генерализовалась первая конструкция).

Облигаторность энклитик при терминах неотчуждаемой принадлежности и спаянность их с основой, т. е. эксплицитное выражение этим путем соответствующей грамматической категории, не вытекающее из праязыковой системы, находит прямую аналогию в бурушаски. Здесь явная оппозиция отчуждаемой/неотчуждаемой принадлежности передается факультативностью/обязательностью проклитических показателей лица и (для 3-го лица) класса обладателя (ср. проклитики в языке прасун). Здесь же характерны конструкции с пролептическим полным местоимением типа *ǰa a-riŋ-ulo* «в моей руке» (букв. «моя моя-рука-в»). Аналогичные конструкции языка-субстрата могли способствовать становлению рассмотренных конструкций в данных языках.

Интересно, что само наличие оппозиции разных типов принадлежности снова приводит нас к противопоставлению одушевленных/неодушевленных, так как она может быть присуща только одушевленным (особенно если учесть, что термины родства, часто приложимые и к животным, оформляются здесь по первому типу, т. е. как понятия отчуждаемой принадлежности).

В рассматриваемом ареале отмечается необычный для индоиранских языков факт переориентации категории рода с грамматической основы на семантическую. Обычно общеарийская категория рода в современных индоиранских языках либо исчезает, либо сохраняется в виде такой же грамматической категории, базирующейся в существительных, как и в древнюю эпоху, на огласовке или исходе основ (хотя и с конкретными изменениями в разных языках). Однако в северопамирских языках налицо очевидные отклонения: в язгулямском эта категория полностью перестроилась на семантическую основу и стала по существу семантическим классом: все имена, обозначающие мужчин и предметы, независимо от типа основ, относятся здесь к так называемому «мужскому» роду, имена, обозначающие женщин и всех животных, независимо от пола,— к «женскому» (термин «род» здесь фактически имеет уже чисто этимологический смысл — «мужской» образовался из слияния исторического мужского со средним, неодушевленным, «женский» вобрал названия животных, включая такие, как *γew* «бык», *bəč* «козел» и пр.). Видоизменяется категория рода и в соседней шугнано-рушанской группе. При сохранении здесь старого принципа — членения по родам, в зависимости от огласовки основ имен,— наблюдаются отклонения, связанные с пересечением категории рода имен неодушевленных с категорией единичного/

/общего, конкретного/отвлеченного и т. п. Имена, обозначающие неодушевленные предметы и относящиеся по типу основ к жен. роду, в случаях, когда они выступают как обобщенные названия групп однородных предметов, меняют род на мужской, ср. руш. *dum māwn mu-r dāk* «дай мне то (жен. род) яблоко», *day māwn tar bōzōr yōs* «отвези те яблоки (букв. „то" — муж. род — „яблоко") на базар» [36]. Наблюдаются и иные семантические критерии отнесения субстантивов к тому или иному роду [37]. При этом ряд существительных в условиях двойственности их семантики может, не меняя формы, иметь различную родовую отнесенность. Например, при общей тенденции отнесения названий участков возделываемой земли к жен. роду, в шугнанском и бартангском языках имена *māǎ* «горох», *žindam* «пшеница», шугн. *čūšč*, барт. *čōšč* «ячмень», относящиеся в значении «зерно» к муж. роду, обозначая засеянный данной культурой участок, выступают в жен. роде [38]. Имеется ряд других примеров двойной родовой отнесенности существительных [39].

Практически этот процесс знаменует перестройку родового распределения имен с формальной базы на семантическую, т. е. классную.

Распределение существительных не по родам, связанным с внешним обликом основ (или не только по родам), а по семантическим классам было свойственно доиндоевропейским языкам ареала. Оно прослеживается в дравидийских языках [40] и в бурушаски. Однако в современных дравидийских языках основой деления на классы является семантический критерий лица/не-лица, или человека/не-человека (с подразделением имен, обозначающих лицо, на группы муж и жен. рода) [41]. Такой же принцип членения имен, выражаемый в типах согласования и в вопросительных местоимениях, наблюдается практически во всех живых иранских языках.

В бурушаски же система четырех классов: I — мужчин, II — женщин, III — животных и отдельных предметов, IV — остальных предметов, веществ и абстрактных понятий,— обусловливает более сложную схему оппозиций. Здесь наблюдаются, в частности, случаи двойной классной отнесенности имен, в зависимости от оттенка семантики (единичное/общее, предмет/вещество или абстрактное понятие, плод/дерево и т. п.), к III или к IV классу (ср. *γʌšil* «палка» — III кл., «дрова» — IV, *bālt* «яблоко» — III кл., «яблоня» — IV; *baiyu* «каменная соль» — III кл., «зернистая соль» — IV; *bʌγυndo* «лепешка из заквашенного теста» — III кл., «заквашенное тесто» — IV и т. п.), что прямо перекликается с аналогичным явлением у неодушевленных существительных в шугнано-рушанской группе. Иными словами, принадлежность ряда имен неодушевленных к жен. (resp. муж.) роду в шугнано-рушанской группе является, как и принадлежность аналогичных имен к III (resp. IV) классу в бурушаски, своего рода маркером семантического регистра первого (resp. второго) порядка

---

[36] В. С. Соколова, Рушанские и хуфские тексты и словарь, М.—Л., 1959, стр. 108; ср. ее же, Шугнано-рушанская языковая группа, «Языки народов СССР», I, М., 1966, стр. 371; Д. Карамшоев, Категория рода в памирских языках (сравнительный анализ). АДД, М., 1979, стр. 28.

[37] См. списки слов по родам в конкретных описательных работах Д. Карамшоева, Н. Карамхудоева, Х. Курбанова, М. Файзова и др.; обобщение см.: Д. Карамшоев, Проблемы категории рода в памирских языках, ВЯ, 1979, 5, стр. 99—100.

[38] Д. Карамшоев, Баджувский диалект шугнанского языка, Душанбе, 1963, стр. 99; Н. Карамхудоев, указ. соч., стр. 59.

[39] Подробнее см.: Д. Карамшоев, Категория рода, стр. 27 сл.

[40] О связи рода с единичностью/общностью, противопоставлении в протодравидийском одушевленных/неодушевленных и других семантических групп см.: Н. В. Гуров, Именное склонение в дравидийских языках и микропарадигма протоиндийских текстов (опыт сопоставления), «Сообщения об исследовании протоиндийских текстов. I. Proto-Indica: 1972», М., 1972, стр. 110—118.

[41] М. С. Андронов, указ. соч., стр. 169—173.

(реализуемых как значения конкретного/абстрактного, предметного/отвлеченного, единичного/общего и т. д.), в котором выступает данное имя в данном контексте.

В бурушаски имеется также оппозиция лица/не-лица (выражаемая противопоставлением первых двух классов последующим), и уже в стертом виде прослеживается более старая оппозиция живого/неживого, наблюдаемая в следующем: III класс включает и теперь, кроме названий животных, названия фруктов, деревьев и их частей, частей тела и названия некоторых космических и природных явлений — словом, всего того, что, не являясь человеком, относится все же к живому миру, характеризующемуся жизненным циклом, либо примыкает к последнему. В настоящее время сюда входит и ряд других имен, но, как полагают, они вошли позднее, и первоначальное значение III класса — именно класс живых существ, растений и природных явлений, осмысливавшихся первоначально в качестве живых, в противоположность IV классу, объединяющему названия предметов и понятий неживого мира [42]. При этом по ряду ведущих морфологических показателей (форм мн. числа существительных, классных форм прилагательных и глаголов и др.) основной оппозицией в бурушаски является оппозиция IV класса трем первым, т. е. первоначально — оппозиция неживых живым.

Известно, что оппозиция лица/не-лица в современных иранских и части индоарийских языков, построенная на признаке социальной активности, является относительно поздней: ей предшествовала оппозиция одушевленности/неодушевленности, засвидетельствованная в общеарийском различием/ именных парадигм. И тот факт, что перестройка системы рода в севернопамирских языках проявилась (в язгулямском — прежде всего, а в шугнано-рушанской группе — как один из процессов) в отрыве названий животных от названий неодушевленных предметов, лишний раз свидетельствует о наличии здесь неявной категории одушевленности/ /неодушевленности.

Естественно, что не все предположительно субстратные черты языков данного ареала уже выявлены — в отношении семантических категорий это особенно трудно сделать, учитывая слабую изученность многих рассматриваемых языков и труднодоступность материала. Несомненно, со временем будет пополняться как состав таких черт, так и список прослеживающих их языков. Однако даже приведенный краткий обзор отдельных «аномалий» позволяет сделать некоторые выводы. Рассмотренные черты — как формальной структуры, так и содержательной,— не встречаются одновременно, все в совокупности, ни в одном из индоиранских языков данного региона и, следовательно, не образуют здесь в настоящее время реальной системы. Они не вытекают с необходимостью из закономерностей спонтанного развития общеарийской структуры и, следовательно, могут быть результатом изменений, вызванных соответствующими структурами языкового субстрата.

Совокупность формальных структурных изменений, обусловленных субстратом, дает некоторое представление о строении определенных подсистем субстрата (его фонологического облика, строения числительных, местоимений, словообразовательных моделей имен, лексических элементов, связанных с определенными реалиями, понятиями и т. п.).

Совокупность же аномалий содержательного характера показывает, что все они являются как бы слепками с осколков единой весьма последовательной в содержательном плане системы, базировавшейся на детерми-

---

[42] D. L. R. Lorimer, The Burushaski language, стр. 20—25.

нанте активности/инактивности с некоторыми колебаниями внутри нее: от общей «живой/неживой», или «одушевленный/неодушевленный» к частной «активный/инактивный в данной ситуации». Если предположить, что данная система была присущей языковому субстрату, придется признать, что бытовавшие здесь доиндоевропейские языки по своему типу напоминают языки активного строя, в которых признак активности/инактивности дает проекции на разные уровни.

В самом деле, следы членения глаголов не по переходности/непереходности, а по одушевленности/неодушевленности деятеля, разные лексемы-связки для одушевленного и неодушевленного субъекта говорят о противопоставлении глагола в этой субстратной системе именно по этому признаку. Наличие глаголов со значением качества (типа «быть высоким») вообще характерно для языков активного строя, где отсутствует самостоятельная категория прилагательного. Оппозиция отчуждаемой/неотчуждаемой принадлежности имеет явное выражение в языках активного строя, отделяя имена одушевленные, имеющие ее, от неодушевленных, которые ее не знают. Наблюдаемые в ряде языков ареала различия в парадигме существительных, обозначающих одушевленные и неодушевленные денотаты (не рассмотренные здесь из-за недостатка места), могут объясняться тормозящим в данном случае влиянием субстрата, сохранявшим на какой-то период оппозицию, оформившуюся в индоевропейский период [43] и продолжавшуюся в общеарийский.

Наличие именных классов также характерно для языков активного строя, где они являются одной из наиболее существенных импликаций активности, делящей все субстантивы на активные и инактивные (с модификациями, о которых говорилось выше). В этом отношении бурушаски, с его системой классов и первоначальной оппозицией «живой/неживой» ближе к прототипу, чем дравидийские. И, наконец, противопоставление инклюзива/эксклюзива или инклюзива/неинклюзива характерно для такой модификации детерминанты, где ведущей оказывается ситуационная активность/инактивность (или включенность/невключенность) собеседника.

Таким образом, складывается впечатление, что субстрат должен был обладать чертами активной типологии. В этом плане он может быть сопоставлен прежде всего с бурушаски [44] и гималайскими языками, выявляющими и сейчас черты активного строя или их формальные рудименты. В ряде случаев сходные признаки обнаруживают и ныне номинативные дравидийские языки, однако влияние их на индоиранские в рассматриваемом ареале могло быть меньшим (или опосредованным). Если учесть, что общеарийское состояние должно было, судя по языкам древнеиранских и древнеиндийских памятников, характеризоваться номинативной типологией, в которой одушевленность/неодушевленность выявлялась остаточно, на периферии именной парадигмы, то развитие центральных и периферийных признаков активной типологии в языках этого ареала в последующие эпохи едва ли могло быть спонтанным.

Относительно позднее появление или проявление субстратных черт не является чем-то исключительным, свойственным только данному региону. Оно отмечено во многих других районах мира и характерно для тех случаев, когда ныне представленные в них языки развивают те тенденции, которые задолго до этого мог катализировать либо даже за-

---

[43] Г. А. Климов, Типология языков активного строя и реконструкция индоевропейского, ИАН СЛЯ, 1973, 5.

[44] О субстратной роли бурушаски см. также: LSI, VIII, pt. II, Calcutta, 1919, стр. 6; В. И. Абаев, Осетинский язык и фольклор, I, М.— Л., 1949, стр. 589.

ложить заново строй субстрата [45]. Возможно, и элементы содержательного характера, будучи весьма стойкими, могут сохраняться особенно долго в неписьменной среде, прорываясь в письменный язык значительно позднее.

Из всего сказанного можно сделать еще один вывод: типологические аномалии в общей структуре генетически родственных языков данного ареала дают ценный материал для установления структуры языкового субстрата не только в плане его частных подсистем, но и в плане его целостной типологической характеристики.

---

[45] См.: В. И. Абаев, О языковом субстрате, стр. 63—64; его же, Типология армянского и осетинского, стр. 27; В. Н. Ярцева, указ.соч., стр. 20—21; Р. И. Аванесов, Выступление, «Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР», IX, стр. 110; см. также: А. Мартине, Структурные вариации в языке, «Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 452—453.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1980

ПОТАЕНКО Н. А.

СЛОВАРНЫЕ ДЕФИНИЦИИ КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ

(на материале слов со значением времени во французском языке)

В процессе освоения человеком окружающего мира происходит выделение отдельных временных характеристик действительности. Временные понятия, будучи отражением явлений действительности, закрепляют в своем содержании этапы и формы освоения действительности человеческим сознанием. Система понятий времени, сложившаяся в современном обществе [1], находит выражение в определенным образом организованной совокупности лексических единиц.

Целью данной статьи является: выяснить, каким образом объясняются слова с временным значением в толковых словарях разного типа; проследить структуру дефиниций интересующей нас лексики, организацию дефиниций в пределах словарей, а также, по возможности, выявить закономерности в толковании темпоральной лексики.

Для сравнения использованы материалы словарей, содержащих разные пласты лексики современного французского языка. Словарный состав каждого из них является как бы фиксацией разных уровней процесса становления словарного запаса «идеального» носителя языка в онтогенезе.

Начальным этапом исследования послужил словарный запас трех- и четырехлетних детей, приведенный в работе А. Грегуара [2], наиболее полном из существующих исследований, посвященных изучению становления словарного запаса у французских детей.

Второй словарь «Mon premier Larousse» (далее MPL) [3] содержит четыре тысячи слов и отражает «те слова, которые ребенок может услышать и которые могут его заинтересовать» [4]. По мнению авторов, ребенок от пяти до восьми лет должен знать значения этих слов и правильно их понимать. Авторы считали возможным использовать в словарных дефинициях только те слова, которые уже объяснены в словаре на соответствующем месте. Словарь обладает, таким образом, замкнутым характером и образует неразрывную цепь.

Третьим исследованным словарем явился «Dictionnaire fondamental de la langue française» (далее DF) [5], содержащий около 3500 слов. В него включены наиболее употребительные слова французского языка, выявленные путем строгого статистического отбора [6]. Эти слова являются

[1] R. Hallig, W. von Wartbourg, Begriffssystem als Grundlage für die Lexikographie, Berlin, 1963, стр. 224—226.

[2] A. Gregoire, L'apprentissage du langage (les deux premiéres années), I Paris — Liège, 1937; его же, L'apprentissage du langage (la troisième année et les années suivantes), II, Gembloux, 1947.

[3] M. Fonteneau, S. Thereau, Mon premier Larousse en couleurs, Paris, 1978.

[4] Там же, Avant-propos, стр. 2.

[5] G. Gougenheim, Dictionnaire fondamental de la langue française, Paris, 1961.

[6] G. Gougenheim, L'elaboration du français élémentaire, Paris, 1956.

общеупотребительными и представляют собой базовую лексику «среднего» носителя французского языка. В словарных дефинициях, по словам автора, использовалась только та лексика, которая получает толкование в словаре.

Четвертым рассмотренным словарем послужил «Le Petit Robert» (далее PR) [7], предназначенный для самого широкого читателя, желающего правильно пользоваться лексикой французского языка. Словарь содержит более 50 тысяч слов, которые представляют собой «устоявшиеся, отработанные обществом средства выражения мысли» («les instruments de pensée et d'expression les plus élaborés») [8].

Для исследования потребовалось произвести в каждом словаре предварительный отбор темпоральной лексики, под которой понимаются слова, имеющие темпоральное значение в одном из своих лексико-семантических вариантов. Под темпоральным значением имеется в виду такое значение, содержанием которого является социально обусловленное отражение временных характеристик действительности.

В зависимости от того, каким образом познавательная деятельность человека в отношении времени отражена в значении слов, мы выделяем в общем массиве четыре группы слов.

В первую группу вошли слова, которые обозначают время как реальный объект. В значении этих слов время представлено как длительность или как точки длительности. Восприятие и идентификация этих длительностей производится через характерные признаки явлений действительности, например, *jour* «день», *saison* «сезон», *année* «год», *âge* «возраст», *époque* «эпоха», *enfance* «детство» и др. Границы этих длительностей устанавливаются по естественным ориентирам (положение солнца на небосводе, состояние природы, различные состояния орган зма) и искусственным (даты календаря, положение стрелок на циферблате и др.). Эта группа будет далее называться «группой субстантиваторов».

Во второй группе объединены слова, значением которых является «временная отнесенность», а также «соотнесенность во времени». В значениях слов этой группы отражены временные связи, в которых находятся явления действительности по отношению к моменту речи или времени совершения какого-либо события, например, *autrefois* «в прошлом», *hier* «вчера», *futur* «будущий». Значения слов этой группы предполагают существование временного континуума, служащего объектом отсылки, в котором происходит локализация явлений действительности. Эта группа далее будет именоваться «группой корреляторов». В эту же группу входят слова, значение которых отражает связи, устанавливаемые между явлениями действительности и временными отрезками, без указания на их связь с моментом речи или другим временем. В данном случае временные длительности являются фоном, на который проецируются явления и процессы действительности и, в связи с этим, получают соответственные временные характеристики, например, *nocturne* «происходящий ночью», *dominical* «связанный с вокресеньем» и др.

В третью группу вошли слова, значения которых выявляют характеристики явлений действительности, внутренне им присущие, и тем самым качественно характеризуют эти явления в аспекте их длительности, протяженности во времени, например, *momentané*, *momentanément* «длящийся одно мгновение», *éphémère* «длящийся один день, для-

[7] P. Robert, Le Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, 1978.
[8] Там же, стр. XVII.

щийся короткое время». Эта группа будет далее именоваться «группой-параметризаторов».

Четвертую группу составляют слова, значение которых не является темпоральным (по нашему определению), но в которое темпоральный элемент входит как необходимый и без привлечения которого невозможна экспликация рассматриваемого значения, например, *vitesse* «скорость», *fréquent* «частый», *fréquemment* «часто» и многие другие. Эта группа будет далее называться «группой импликаторов».

Анализ дефиниций слов показал, что существует группа лексических единиц, которые могут быть взяты за основу для толкования других единиц. Ею является группа субстантиваторов. Поэтому вначале мы рассмотрим эту группу, а затем остальные.

Группа субстантиваторов. Анализ дефиниций показал, что слова этой группы обозначают длительности разного рода, в основе выделения которых лежат определенные явления действительности и отношения, в которых находятся эти явления. В связи с этим группа субстантиваторов не представляет исключения и в ней выделяется структура, как и в ряде других тематических групп [9].

В зависимости от того, какие элементы, лежащие в основе выделения длительностей, фигурируют в словарных дефинициях, в пределах данной группы выявляются подгруппы слов со значением: 1) длительностей в пределах суток, точек в пределах этих длительностей, характеризуемых движением солнца по небосводу и солнечным освещением; 2) длительностей, выделяемых по движению луны; 3) длительностей, устанавливаемых по движению солнца и по состоянию природы; 4) времени, прожитого человеком; 5) времени, связанного с деятельностью человека; 6) отрезков времени, выделяемых календарем; 7) качественно неопределенных отрезков времени; 8) временных отрезков, точек во времени, выделяемых по их положению относительно времени совершения каких-либо событий.

Последовательное сопоставление дефиниций слов в пределах отдельных словарей и одного слова в разных словарях выявило пути, по которым идет осмысление лексических единиц в плане их соотнесения с явлениями действительности, с понятиями, в плане выявления их функций в системе языка.

Так, при определении значений слов первой подгруппы, куда входят слова: *jour*, *journée*, «день», *matin*, *matinée* «утро», *midi* «полдень», *soir*, *soirée* «вечер», *nuit* «ночь», *minuit* «полночь» и другие, выявляется объект номинации, выделяемый по наблюдаемым явлениям природы: восходу и заходу солнца, наличию или отсутствию солнечного освещения.

Во второй подгруппе такими наблюдаемыми ориентирами являются фазы луны: новая луна в виде серпа, старая луна в форме круга.

В третьей подгруппе делаются отсылки к закономерностям движения солнца, длительности дня и ночи, количеству солнечного тепла и связанным с этим изменениям, происходящим в природе. Так, например, в дефинициях названий сезонов используется отсылка к качественным признакам: холод — зимой, тепло — летом, цветение — весной, дожди, туманы, листопад — осенью. Наряду с естественными в дефиниции вводятся искусственные ориентиры: даты календаря, обозначающие границы сезонов, т. е. весна — с 21 марта по 21 июня, лето — с 22 июня по 22 сентября, осень — с 23 сентября по 21 декабря, зима — с 22 декабря по 20 марта.

---

[9] Ю. Н. Караулов, Словарь как компонент описания языков, в кн.: «Принципы описания языков мира», М., 1976.

Второй принцип выделения сезонов связан с измерением длительности светлой и темной части суток, что приводит к выделению четырех периодов, когда: а) день самый короткий в году (*solstice d'hiver* «зимнее солнцестояние»); б) день самый длинный в году (*solstice d'été* «летнее солнцестояние»), в) ночь равна дню (*équinoxe de printemps* «весеннее равноденствие» и *équinoxe d'automne* «осеннее равноденствие»).

В отличие от выделения времени сезонов, где качественные признаки играют решающую роль, выделение времени солнцестояния и равноденствия происходит, как мы уже отметили, на базе количественных характеристик. Определенное соотношение количественных характеристик превращается в качественную характеристику периода солнцестояния и равноденствия, т. е. можно сказать, что для этих периодов характерным является или факт установления равенства длительности дня и ночи (для периодов равноденствия), или факт установления самой большой и самой малой продолжительности дня в году (для солнцестояния).

В четвертой подгруппе, куда входят слова типа *enfance* «детство», *adolescence* «отрочество», *jeunesse* «юность», *maturité* «зрелый возраст», *âge* «возраст», *longévité* «продолжительность жизни» и другие, ориентирами для выделения различных периодов жизни служат: рождение, половая зрелость, физическая зрелость.

В пятой подгруппе дефиниции указывают на то, что временные отрезки выделяются на основании установления подобия в процессах, вовлеченных в сферу деятельности человека. В этой подгруппе слов выделяются соответственно две микрогруппы, в зависимости от того, содержат ли значения слов, кроме указания на временные отрезки, также указание на: 1) происходящие в течение их процессы, например, *sursis* «отсрочка», *stage* «время стажировки», *séjour* «время пребывания», *quinquennat* «пятилетка», *ère* «эра», *époque* «эпоха», *moisson* «время жатвы», *gestation* «время ношения плода (у животных)» и др. или, наоборот, 2) указание на отсутствие деятельности, например, *récréation* «перерыв», *repos* «время отдыха», *vacances* «время каникул», *pause* «пауза», *halte* «время остановки», *mi-temps* «перерыв в игре», *interclasse* «школьная перемена» и др.

Дефиниции слов шестой подгруппы выявляют соотнесенность слов с единицами системы календаря: названиями месяцев, дней недели, праздников, являющихся результатом совмещения ряда принципов, учитывающих движение солнца и луны, литургические циклы, исторические условия [10]. Календарь, таким образом, можно представить в виде абстрактной шкалы с делениями, которая накладывается на временной континуум, и в зависимости от того, какая шкала будет накладываться (юлианский календарь, григорианский календарь и др.), реальная единица времени, находящаяся в процессе реализации (например, день, когда читаются эти строки), получит разные наименования в рамках разных календарных систем. Вследствие сказанного нужно иметь в виду, что названия месяцев, дней недели, праздников соотносятся с единицами системы, которые, в свою очередь, соотносятся с потенциальными отрезками разной длительности. Частным случаем является соотнесение названий с реальными длительностями.

В явном виде подобная номинативная отнесенность проявляется в дефинициях слов *date* и *fête*, которые обозначают сущности разного характера: 1) надпись, указатель, изображение в календаре, 2) единицу системы календаря; 3) период, отмеченный этим названием.

---

[10] А. Н. Зелинский, Конструктивные принципы древнерусского календаря в кн.: «Контекст — 1978», М., 1978.

Обладая такими свойствами, указанные слова в первой функции выявляют единицы формальной части календаря, т. е. совокупность цифр, надписей, изображений, которые служат средством ориентации во времени. Будучи отнесенными к реальным отрезкам времени, календарные названия тем самым являются связующим звеном между реальными отрезками времени и абстрагированной, искусственно созданной системой обозначений календаря, которая позволяет упорядочить во времени деятельность общества.

Существование слов данной подгруппы дает основание для разработки положения о существовании «реального», «перцептуального» и «концептуального» времени [11]. Другими словами, отсылка в дефинициях к явлениям действительности подразумевает существование «реального» времени, не зависимого от субъекта. Наличие слов с темпоральным значением свидетельствует о наличии отраженного «реального» времени, что составляет в своей совокупности определенным образом структурированное «перцептуальное» время. Наконец, существование ряда слов, обозначающих временные модели и их единицы, например, *calendrier romain* «римский календарь», *calendrier julien* «юлианский календарь», *calendrier grégorien* «григорианский календарь», *chronologie* «хронология», *temps* «грамматическая категория времени» и др., свидетельствует о наличии «концептуального» времени, представляющего собою совокупность временных моделей.

Дефиниции слов седьмой подгруппы выявляют отнесенность слов к длительностям, выделяемым не по каким-либо качественным признакам, но различающихся своими количественными характеристиками. Эти слова подразделяются на две микрогруппы в зависимости от того, обозначают ли они длительности, образующие иерархию и входящие в систему единиц измерения (например, *seconde* «секунда», *minute* «минута», *heure* «час» и т. д.), или же они обозначают длительности с относительными количественными характеристиками (например, *éternité* «неограниченная длительность», *instant* «незначительная длительность»).

Наконец, из дефиниций слов восьмой подгруппы явствует, что выделение длительностей происходит на основании их положения относительно времени совершения некоторых событий, вследствие чего в пределах подгруппы выделяются микрогруппы слов, обозначающие отрезки времени, находящиеся в отношениях: а) предшествования, например, *passé* «прошлое», *veille* «канун», *avant-guerre* «предвоенный период»; б) одновременности, например, *présent* «настоящее», *aujourd'hui* «сегодня»; в) следования, например, *avenir* «будущее», *après-midi* «время после полудня», *lune de miel* «медовый месяц»; г) нахождения между двумя событиями, например, *intervalle* «интервал», *entre-deux-guerres* «время между двумя войнами»; д) длительности с фиксированным местом в пределах некоторого процесса, например, *début* «начало», *milieu* «середина», *fin* «конец».

Наряду с упорядоченностью слов по их номинативной функции, которая выявляет их соотнесенность с явлениями природы, имеющими ряд идентичных признаков, слова рассматриваемой группы упорядочены также и в других отношениях и, прежде всего, благодаря отнесенности к одной понятийной сфере «*temps*». Это осуществляется двумя способами: слово определяется непосредственно через родовое понятие «*temps*» («время»), «*partie de temps*» («часть времени»), «*espace de temps*» («временной промежуток») или же оно определяется через слова, уже определенные как «*temps*», например, *matin* «утро» определяется как «*partie de la journée*» («часть дня»),

---

[11] А. М. Мостепаненко, Проблема универсальности основных свойств пространства и времени, Л., 1969, стр. 11—17.

а *journée* («день») — через родовое понятие «espace de temps» («промежуток времени»). Отнесенность к общему родовому понятию позволяет включить рассматриваемые единицы в одну лексико-семантическую группу (ЛСГ) «времени».

Особо следует отметить способ дефиниций в словаре MPL, где слово *temps* «время» не объясняется в своем общем значении и, естественно, не может быть использовано в качестве родового понятия при объяснении других слов с темпоральным значением. В дефинициях MPL дается отсылка к тому, что не определено, но, тем не менее, соотнесено с явлениями природы, а именно: общее понятие эксплицируется при помощи указания на то, что находится в пределах «от .... до». В данном случае широко используются предлоги: *entre* «между», *après* «после», *avant* «перед», союз *quand* «когда» [например, *journée* «день» определяется как «entre le lever et le coucher du soliel» («между восходом и заходом солнца»); *matin* «утро» объясняется как «quand le jour se lève» («когда день начинается») и т. д.].

Наряду с установлением факта вхождения слов в одну ЛСГ «времени», дефиниции позволяют также выявить организацию слов в пределах отдельных подгрупп, когда одни слова подгруппы объясняются с помощью других слов этой же подгруппы. Так, например, в первой подгруппе выявляются три основных члена: *jour* «день», *journée* «длительность дня» и *nuit* «ночь», которые определены относительно положения солнца на небосводе и наличия солнечного освещения. Остальные же члены этой подгруппы получают определение уже с опорой на эти единицы при использовании отсылок к экстралингвистическим элементам: положению солнца на небосводе, показаниям часов, распорядку дня (обед, ужин, сон и др.).

Подобная организация выявляется и в других подгруппах, причем следует отметить, что в группе календарных названий и единиц измерения времени организация лексических единиц проявляется более наглядно, что, видимо, связано с высокой степенью организации самих обозначаемых явлений.

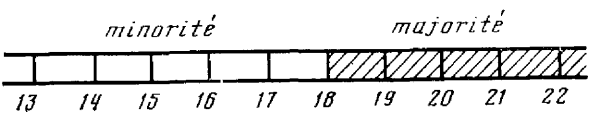
Выше мы отметили отсутствие родового понятия при толковании слов в MPL. Тем не менее, в данном случае можно говорить об элементах иерархии, когда слова: *midi* «полдень», *minuit* «полночь», *soir* «вечер» толкуются через более общие понятия: *jour* «день» и *nuit* «ночь». Наряду с отсутствием родового понятия для объяснения темпоральной лексики, другие группы слов в указанном словаре, например, слова, обозначающие животных, растения, получают толкование через родовые понятия. Таким образом, дефиниции слов с темпоральным значением в MPL позволяют упорядочить картину наблюдаемых явлений действительности, не прибегая к понятиям более высокого уровня абстракции. Вполне вероятно, что в данном случае большую роль играет возрастной фактор, не позволяющий на данном этапе вводить более общие понятия.

Отметим еще один способ организации темпоральной лексики, а именно, вхождение слов в синонимические ряды и антонимические группы. В этом отношении словарь PR выгодно отличается от других словарей и содержит большое количество материала, привлечение которого делает более эффективной работу по изучению структуры значения слов.

Анализ дефиниций, помимо возможности выявления системообразующих факторов, вместе с тем вскрывает ряд несоответствий в различных словарях в толковании слов. Эти несоответствия имеют неодинаковый характер и отражаются в подведении значения одного и того же слова под разные понятийные категории (если *congé* «отпуск» в DF толкуется как «д н и, когда...», то в PR оно объясняется как «р а з р е ш е н и е на отсутствие»; *week-end* «уикенд» в MPL — это «конец недели», а в PR — «отдых»;

sommeil «сон»; *réveil* «пробуждение» в DF определяется соответственно как «время, когда спят» и «момент, когда просыпаются», а в PR — как «состояние спящего человека» и «переход от сна к бодрствованию» и т. д.). Несоответствие в пределах одного словаря выражается в том, что не всегда соблюдается последовательность в определениях слов одной подгруппы, например, в то время как *âge* «возраст» в DF определяется как «nombre d'années qu'on a vecues» («количество прожитых лет»), другая единица этой подгруппы *jeunesse* «молодость» определяется как «âge où l'on est jeune» («возраст, когда мы молоды»), т. е. следуя уже данному определению слова *âge*, это нужно понимать как «возраст, когда мы молоды», что не соответствует сущности той реалии, которая является «периодом в жизни индивидуума» [12] и может быть определена на основании возраста. В трактовке слов *majorité* «совершеннолетие» и *minorité* «несовершеннолетие», также выявляются несоответствия. В DF они объясняются соответственно как «le fait d'être majeur (d'avoir plus de 21 ans)» и «le fait d'être mineur (avoir moins de 21 ans)», т. е. «факт пребывания в возрасте больше.... меньше 21 года» [13]. Употребление конструкции «le fait de...» в настоящем случае, на наш взгляд, выражает синкретическое определение понятия «несовершеннолетия», включающего в себя «возраст 21 года» и «нахождение в возрасте 21 года». В PR *majorité* «совершеннолетие» объясняется как «âge légal à partir duquel une personne devient pleinement capable ou responsable» («возраст, установленный законом, начиная с которого гражданин обладает правами и считается ответственным за свои поступки»). Указывается, что антонимом этого слова является слово *minorité* «несовершеннолетие», но оно уже толкуется как «état d'une personne qui n'a pas encore atteint l'âge où...» [«состояние (по-видимому, юридическое.— *П. Н.*) человека, не достигнувшего возраста, когда...»].

Можно предложить следующий способ интерпретации этих двух понятий. Существует официальная, конституционно закрепленная в данном обществе возрастная шкала, согласно которой период до 18 лет является «minorité» («несовершеннолетием»), а начиная от 18 лет — «majorité» («совершеннолетием»):



Для отдельного же индивидуума «несовершеннолетием» или «совершеннолетием» является факт недостижения или достижения конституционно установленного возраста, например, двадцатилетний возраст при сопоставлении с официальной шкалой свидетельствует о нахождении в периоде «совершеннолетия», а шестнадцатилетний возраст при сопоставлении показывает нахождение в периоде «несовершеннолетия».

Отметим еще один случай непоследовательной интерпретации значения слов. В данном случае речь идет о терминах церковного языка, где родовое понятие «heures canoniales» («время богослужения») определяется как «часы, когда идет служба». В словарной статье приводится еще одно значение этого выражения: «молитвы, которые читаются во время службы». «Heures canoniales» делятся на «grandes heures» — «большие» и «petites

---

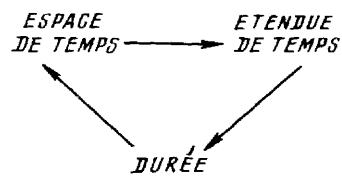
[12] В данном случае мы не рассматриваем значение *jeunesse* как «состояние организма, для которого характерны...»

[13] В связи с изменением во французском законодательстве в настоящее время совершеннолетием считается достижение 18 лет.

heures» — «малые». Далее в статье даются отсылки к конкретным названиям «больших» и «малых» служб, которые ведутся в определенное время суток: *laudes*, *matines*, *vêpres*, *complies*, *none* и др. Однако характерным является тот факт, что все названия этих служб уже объясняются как «office», «partie de l'office», т. е. как «с л у ж б а», а не «в р е м я службы». Таким образом, исходя из приводимых дефиниций, обобщающее название «heures canoniales» подлежит включению в ЛСГ времени, а названия отдельных служб, которые имеют одно родовое понятие, в ЛСГ не входят. Это либо говорит о том, что в данной группе слов происходит движение из одной понятийной сферы в другую, либо свидетельствует о неадекватности описания значений слов рассматриваемой группы. Для ответа на этот вопрос нужны дополнительные исследования.

Рассмотренные примеры указывают, на наш взгляд, на еще не закончившийся процесс осмысления соответствующих понятий и явлений. Кроме того, это говорит о неоднозначности самого явления и сложности его описания, что отмечает В. Г. Гак, анализируя различия в дефинициях одних и тех же слов в разных словарях, свидетельствующие о «возможности и даже неизбежности различий в представлении семантической структуры слова в разных словарях, в зависимости от принципов выделения значения» [14].

Прежде чем перейти к рассмотрению других выделенных групп, отметим два интересных явления в дефинициях, связанных с тем, что при рассмотрении множества слов с темпоральным значением мы смогли выделить микрогруппу слов с общим значением «временного отрезка» («espace de temps», «étendue de temps») и со значением «длительности» («durée»), которые образуют своеобразный треугольник, члены которого определяются через отсылки друг к другу как к родовым понятиям (а также имеют отсылки к единицам, уже определенным через них):



Анализ этих единиц показывает, что устойчивые словосочетания *espace de temps* и *étendue de temps* образованы на основе пространственных понятий «espace» и «étendue», что вводит временные понятия в область пространственных понятий. Слово же *temps* в PR определяется как «среда неопределенного свойства, где развертываются необратимые жизненные процессы, события и явления в их следовании» (перевод автора.— *П. Н.*).

Понятие «espace» («пространство») толкуется как «идеальная с р е д а...», «etendue» («протяженность») имеет следующее определение: «свойство тел существовать в пространстве и занимать его часть», а «свойство» («qualité») в словаре толкуется как «способ бытия, обладающий характерными чертами». «Среда» («milieu»), в свою очередь, определяется как «то, что окружает, в чем находятся существа и вещи». Наконец, «durée» («длительность») объясняется через глагол *durer* «длиться», который в свою очередь получает толкование через глагол самого общего значения *être* «быть».

---

[14] В. Г. Г а к, От толкового словаря к энциклопедии языка. Из опыта современной французской лексикографии, ИАН СЛЯ, 1971, 6, стр. 530.

Таким образом, при определении слов с наиболее общим темпоральным значением в дефинициях делается отсылка к словам, выражающим понятия «пространство», «качество», «бытие».

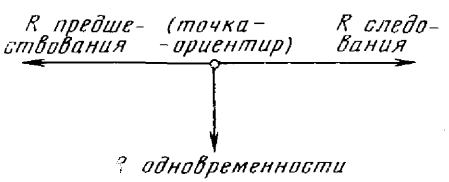
Второе интересное явление, о котором было упомянуто, состоит в том, что при толковании слов микрогруппы «passé» — «présent» — «avenir» дифференциальные признаки лексического значения объясняются при помощи грамматических форм, т. е. через категориальное значение временных глагольных форм, например, *avenir* «ce qui **arrivera**»; *présent* «le temps où l'on **est**»; *passé* «le temps d'autrefois», где *autrefois* объяснено как «**il y a** longtemps» (если проследить далее, то можно увидеть, что оборот *il y a* объясняется как «знак для обозначения времени, которое уже прошло» («marque le temps qui s'est passé»), т. е. отнесенность к прошлому эксплицируется при помощи грамматической формы.

В группе «hier» — «aujourd'hui» — «demain» («вчера» — «сегодня» — «завтра») центральный ее член *aujourd'hui* объясняется аналогичным образом, т. е. при помощи грамматического значения настоящего времени «le jour où l'on **est**» (букв. «день, в котором мы **находимся**»).

Отметим также случай, когда дифференциальный признак «отнесенности временного отрезка к будущему» эксплицирован с помощью синтаксической конструкции (например, *avenir* «будущее» определяется как «le temps **à venir**», букв. «время, которому **быть**»).

Группа корреляторов. Поскольку в значениях слов этой группы отражены различные виды связей, существующих между явлениями действительности по отношению к моменту речи, ко времени совершения какого-либо события, а также к различным промежуткам времени, в пределах данной группы выделяются следующие подгруппы слов: 1) слова со значением «предшествования во времени»; 2) слова со значением «одновременности»; 3) слова со значением «следования во времени»; 4) группа ориентиров; 5) слова со значением «временного порядка»; 6) группа реляторов.

Анализ словарных дефиниций в выделенных подгруппах позволил выявить ключевые слова с наиболее общим значением, которые являются базовыми для толкования слов в подгруппах. Такими словами, во-первых, являются: *avant* «перед», *pendant* «во время», *après* «после», представляющие основную триаду временных отношений, которые можно представить в виде векторов, направленных из временной точки-ориентира:



Приведенные слова являются такими элементами, которые определяют основной смысл значений, например, *antérieur* «qui est avant, qui précède dans le temps» (PR); *hier* «le jour qui précède immédiatement celui où l'on est» (PR). Отметим, что глагол *précéder* «предшествовать», использованный в дефинициях, в свою очередь, получает толкование через *avant*: «exister, se produire avant dans le temps» (PR).

Кроме указанных элементов (*avant*, *pendant*, *aprés*), в дефинициях используется система грамматических времен для толкования тех же отношений, например, *aujourd'hui* («сегодня») [15] «en ce jour même, au jour où

[15] *Aujourd'hui* и ряд других слов как существительные рассматриваются в группе субстантиваторов, а как наречия — в группе корреляторов.

l'on est» (PR); *récent* («недавний») «qui a eu lieu il n'y a pas longtemps» (DF); *présent* («настоящий, нынешний») «qui existe, se produit au moment, a l'époque où l'on parle ou dont on parle» (PR).

Ввиду того, что значения слов рассматриваемой группы, кроме указания на временную отнесенность, содержат также указание на локализованность события во времени, то в дефинициях представлены отсылки к различного рода временным отрезкам, например, *demain* «завтра» содержит указание на локализованность события в рамках одних суток, а *maintenant* «теперь» — ограничивает процесс рамками настоящего момента, временем момента речи.

Отсылку к различным временным отрезкам содержат также дефиниции подгруппы реляторов, например, *estival* «летний», *printanier* «весенний», *diurne* «дневной» и др.

В группе слов со значением «временного порядка» толкование производится с использованием слов: *avant*, *après*, а также при помощи отсылок к единицам группы субстантиваторов, например, *d'abord* «сначала» объясняется как «en premier lieu» (DF), а *premier* толкуется в свою очередь как «qui est avant les autres» («который происходит перед другими»); *dernier* «последний» — «qui vient après tous les autres» (DF) («совершающийся, наступающий после других»).

В группе ориентиров, которые имеют значение «отнесенности к некоторому времени», выделяются следующие подгруппы: а) подгруппа с обозначением временного предела (*de*, *dès*, *depuis*, *lors de*, *à partir de*, *jusque*, *entre*); б) отсылка к какому-либо времени (*à*, *en*, *vers*, *pour*).

Отметим, что временное значение ряда слов этой подгруппы (*à*, *en*, *de*, *vers*, *entre*, *jusque*) получает толкование на базе их пространственного значения. Через пространственное значение толкуются и ранее упомянутые *avant* и *après*.

Другие единицы этой подгруппы получают объяснение через отсылку к единицам группы субстантиваторов: *lors de*, *depuis*, *des*.

Таким образом, анализ дефиниций слов группы корреляторов показывает, что в определениях ключевых дефиниционных терминов этой группы производится отсылка к словам с пространственным значением, с одной стороны, и к словам группы субстантиваторов, с другой стороны.

Вместе с тем, стоит отметить существующее расхождение в трактовке отдельных слов. Так, *hier* «вчера», *aujourd'hui* «сегодня», *demain* «завтра» в MPL и DF объясняются соответственно как «le jour avant le jour où l'on est»; «le jour où l'on est»; «le jour qui vient après celui où l'on est», т. е. наречие, отвечающее на вопрос «когда?», толкуется как существительное.

В PR приводятся значения этих слов уже и как наречий, и как существительных, но раздельное толкование проводится только для слова *aujourd'hui*.

Группа параметризаторов. Как уже указывалось, в данную группу вошли слова, значения которых отражают временную динамику процессов, показывают характер развертывания процессов во времени.

В дефинициях слов этой группы, так же, как и в ранее рассмотренных группах, применяется объяснение через слова группы субстантиваторов с привлечением слов, дающих количественную характеристику длительности, например, *bref* «de peu de durée» («малой длительности», PR); *court* «qui a peu de durée» («имеющий малую длительность») и др.

В дефинициях применяется отсылка к словам, которые в свою очередь объясняются через слова группы субстантиваторов, например, *passager* «dont la durée est brève» («краткая длительность», PR); *éternel* «qui dure très

longtemps, dont on ne peut imaginer la fin» («длящийся очень долго, конец которого трудно представить», PR) и т. д.

Дефиниции разных словарей для одного слова отражают становление некоторых временных понятий на базе пространственных, например, в MPL дается толкование пространственного значения слова *long* «длинный» с демонстрацией рисунка, где противопоставляется длинный и короткий отрезки. Временное значение вводится вторым после пространственного при помощи описания естественных явлений: длинных летних дней и длинных зимних ночей. Слово *court* «короткий» в MPL временного толкования не получает совсем, а приводится только пространственное значение. Тем не менее авторы все же используют это слово во временном значении при дефиниции слов *moment* и *minute*, несмотря на обещание использовать в дефинициях только те слова, которые объясняются в словаре на соответствующем месте.

В DF временные значения слов *court* и *long* вводятся после пространственных, причем эти слова не получают дефиниций, а вводятся во фразы, в контексте которых выявляется их пространственный и временной смысл. Наконец, в PR эти слова объясняются через родовое понятие времени («durée»): *long* «qui a une durée très étendue, qui dure longtemps, beaucoup de temps»; *court* «qui a peu de durée».

Анализ четырех выделенных групп лексических единиц позволил нам проследить закономерности в толковании этих единиц в пределах отдельных словарей, а также выявить общие закономерности в представлении смысловой структуры темпоральной лексики.

Прежде всего следует отметить разную сущность временного содержания, передаваемого лексическими единицами разных разрядов, куда входят существительные (группа субстантиваторов), наречия, прилагательные, предлоги и союзы (группа корреляторов), прилагательные и наречия (группа параметризаторов) и все части речи (группа импликаторов).

В зависимости от способа языкового воплощения, время представляется в дефинициях французских словарей как объект номинации, имеющий независимое от субъекта существование и обладающий различными качественными и количественными признаками (группа субстантиваторов): его можно воспринимать, измерять, описывать.

Из определений группы корреляторов выявляется иной аспект времени, которое представлено уже в виде всеобъемлющей среды, временного континуума, включающего в себя все объекты действительности. В значениях слов этой группы отражено место, которое занимают явления действительности во временном континууме, а также связи временного характера, обусловленные положением явлений действительности во времени. В значениях слов группы также выявляется своеобразная интерпретация временных отрезков в качестве фона явлений действительности, которые благодаря им приобретают соответственные отличительные признаки.

В группе параметризаторов время представлено как свойство явлений и процессов, заключающееся в их временной протяженности. Вместе с тем это свойство является мерой явлений и процессов, что свидетельствует о его универсальности.

Группа импликаторов представляет собой большую совокупность лексических единиц, значение которых выявляет неразрывное единство времени и пространства, времени и движения, времени и порядка, времени и жизненных процессов.

Этот перечень можно продолжить, но в этом нет необходимости в данной работе, поскольку темпоральный элемент в значении слов этой группы представлен как объект, временная отнесенность, соотнесенность во времени или мера времени, что рассматривается нами в рамках первых трех

групп. Группа импликаторов представляет интерес в плане отражения в значениях слов множества аспектов осмысления действительности в их связи с категорией времени, что может явиться предметом отдельного исследования.

Словари отражают количественное увеличение лексики, выражающей понятие времени. Так, если к концу третьего года жизни в речи детей отмечены 26 слов с временным значением [16], то в возрасте от пяти до восьми лет таких слов уже 79 [17], а в речи взрослых количество единиц темпоральной лексики достигает 148 [18].

Последовательное сравнение состава тематических групп и разрядов слов в разных словарях позволило проследить порядок становления этих тематических групп, а именно: а) выявилось раннее становление разряда наречий: 11 единиц в конце третьего года жизни (существительных — 10), 13 — в MPL (существительных — 53), 23 — в DF (существительных — 86); б) к восьми годам почти полностью оформляются тематические группы названий единиц календаря, частей суток, единиц измерения времени. Анализ выявил также позднее становление группы *passé — présent — avenir* и группы качественно неопределенных отрезков времени: *temps*, *éternité*, *durée*, *période* и др.

Словари отражают появление на первом этапе овладения речью отдельных названий частей суток и дней недели. По словарям также прослеживается процесс образования лексических подсистем, например, овладение на первом этапе лексикой, связанной с ориентацией на момент речи: *maintenant*, *aujourd'hui*, *hier*, *alors*, *autrefois*, *demain*, *bientôt*, с последующим овладением средствами относительной ориентации, не связанными с моментом речи: *tôt*, *tard*, *ensuite*, *finalement*, *veille*, *lendemain* и др. На более позднем этапе в речи детей появляются подсистемы названий частей суток, дней недели, месяцев и др.

Становление лексической системы обусловлено взаимодействием содержательной стороны лексических единиц, определенным образом организованной интерпретацией явлений действительности, а также взаимодействием мыслительного содержания со структурой языка. Качественные же изменения в содержании темпоральной лексики идут в направлении от качественного времени (времени, выделяемого по воспринимаемым признакам: движению солнца, луны, состоянию природы, когда что-то происходит) ко времени-объекту, которое имеет свою структуру, свои свойства. Время как объект становится предметом изучения, о чем свидетельствует ряд таких слов, как *chronologie*, *histoire*, *temporalité*, *calendrier*.

При анализе дефиниций выявляются те элементы внеязыковой действительности, которые служат ориентирами для выделения ее временных характеристик. Так, ряд слов фиксирует своими значениями способ познания действительности, например, толкования слов в подгруппе названий длительностей в пределах суток выявляют тот факт, что выделение длительностей, точек этих длительностей было возможным для наблюдателя, находящегося в определенной точке земной поверхности, что послужило причиной именно такой фиксации движения солнца.

Расширение границ познания, практики находит отражение в ряде новых понятий, о чем свидетельствует появление новых лексических образований: *jour astronomique*, *jour sidéral*, *jour solaire vrai*, *jour solaire*

---

[16] A. Grègoire, L'apprentissage du langage (la troisième année et les années suivantes), II, стр.414—417.

[17] M. Fonteneau, S. Theureau, указ. соч.

[18] G. Gougenheim, указ.соч.

moyen, *jour civil*. С выходом же человека за пределы земной поверхности меняются традиционные представления о временных отрезках в связи с тем, что новые условия ставят в новое соотношение видимое движение солнца и практику деления длительностей на отрезки.

На ряде дефиниций прослеживается во многом неустановившийся характер осмысления того сложного явления, которое называется «временем», что является результатом его неизученности во многих аспектах, включая закономерности его отражения в человеческом сознании.

Принимая во внимание данные проведенного анализа, есть возможность наметить направление дальнейшего поиска закономерностей отражения времени в лексико-семантической системе языка путем исследования ряда других словарей (идеологических, этимологических, двуязычных), привлечения данных психологии, философии и материалов исследования языков разных семей.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1980

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

НАЗАРЕНКО А. В.

ОБ ИМЕНИ «РУСЬ» В НЕМЕЦКИХ ИСТОЧНИКАХ IX—XI ВВ.

Вопрос о происхождении этникона «русь» в настоящее время, кажется, столь же далек от своего разрешения, как и в эпоху М. В. Ломоносова и А.-Л. Шлёцера. Между тем попыток разрешить его было предпринято немало. Всем этим разнообразным попыткам, кому бы они ни принадлежали — норманнистам ли, сторонникам ли «готской теории», защитникам ли автохтонности славянской руси в Среднем Поднепровье и др. [1] — присущ один общий методический момент: проблема происхождения этнонима «русь» ставится и решается в прямой зависимости от той или иной концепции происхождения руси как этноса. Спору нет, такой подход оправдан и естествен, и он был бы единственно верным, если бы происхождение племени руси было хотя бы относительно ясно современной науке. Однако это, к сожалению, не так. Подобный образ действий привел к тому, что лингвисты, увлекшись поисками потенциальных прототипов имени «Русь», до сих пор не дали анализа формы интересующего нас этнонима, как он донесен до нас языковыми памятниками, порой весьма древними. Иными словами, бытование лексемы «Русь» в той или иной языковой традиции остается совершенно не изученным как лингвистический факт. Это относится и к самому древнерусскому слову *Роусь*. Так, в исторической литературе до самого последнего времени неоднократно высказывалось мнение о связи имени *Роусь* с названием правого притока Днепра р. Роси [2]. Но с точки зрения лингвистики настаивать на такой связи едва ли возможно. Древнейшие летописи дают для названного гидронима однозначное чтение [ръсь] с редуцированным гласным [ъ], который под ударением прояснился в [о] только около XII в. На это обстоятельство уже указывалось в литературе [3]. Соотнести два этих имени можно, только предположив в них рефлекс и.-е. аблаута *ou̯(au̯)/*u (т. е. [о] / «нуль», как в др.-русск. *боудити* и *бъдети*). Подобное предположение нуждалось бы в специальном обосновании. Современной лингвистикой происхождение и этимология гидронима *Рось* признаются неясными [4]. Вообще же древнерусское слово *Роусь* затруднительно рассматривать как исконно славянское. Действительно, и.-е. *ū > слав. *у (русск. ы) приблизительно уже до I—II вв. н. э; ū в слове *Роусь* мог развиться только из дифтонгов *

[1] Поиски новых путей продолжаются и до сих пор; см.: О. Н. Трубачев, Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в Северном Причерноморье, в кн.: «Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации», М., 1978, стр. 401—403.

[2] См., например: «История СССР с древнейших времен до наших дней», I, М., 1966, стр. 349—350.

[3] А. В. Соловьев, Византийское имя России, «Византийский временник», XII, М., 1957, стр. 135.

[4] О. Н. Трубачев, Названия рек правобережной Украины, М.,1968, стр. 237, 262.

*ou̯(au̯), в общеславянском перешедших в *ū. Но в позиции перед гласным и после u̯ праслав. *s не сохранялся, давая *x [5].

Известные нам попытки проследить варианты имени «Русь» по иностранным источникам носят беглый и исключительно описательный характер [6]. В связи с этим в настоящей работе мы хотим, не связывая себя заранее никакой этно-исторической теорией, подойти к вопросу о происхождении имени «Русь» как к вопросу лингвистическому по преимуществу. Наша цель — дать сравнительное лингвистическое рассмотрение всех аллографов топонима и этнонима «Русь» в немецких латиноязычных источниках IX—XI вв.

Немецкие источники взяты нами в качестве предмета для анализа неслучайно [только о латиноязычных источниках речь идет потому, что первое упоминание о Руси в литературе на немецком языке относится уже к рубежу XI и XII вв.— «Песнь об Анно» («Annolied)]. Они отличаются как чрезвычайной древностью (самые ранние упоминания Руси отмечены в памятниках первой половины IX в.), так и относительной многочисленностью упоминаний изучаемого имени в сравнении с прочими европейскими памятниками данного периода, которых всего четыре: это произведения Лиутпранда Кремонского (вторая половина X в.), так называемый «Dagome judex» (конец X в.), «Житие св. Ромуальда» Петра Дамиано (начало XI в.) и анналы г. Бари (середина XI в.). Источниками до конца XI в. мы ограничились с тем, чтобы исключить пока из рассмотрения появляющийся в XII в. термин *Ruteni* (впервые в Аугсбургских анналах и у Анонима Галла). Кроме того важно, что и в развитии самих верхненемецких диалектов период от начала немецкой письменности (VIII в.) и приблизительно до конца XI в. представляет собою относительное единство — так называемый древневерхненемецкий язык. Из числа анализируемых вариантов имени «Русь» исключаем и *Rhōs* Бертинских анналов (первая половина IX в.), поскольку он является транслитерацией греческого Ῥῶς, а также *Rugi*, который по не известным пока причинам прилагается к народу русь в Раффельштеттенском таможенном уставе (903—906 гг.), в продолжении хроники Регинона (вторая половина X в.) и в учредительной грамоте Магдебургского архиепископства (968 г.).

В первой части работы мы выявляем все варианты имени «Русь»; порядок рассмотрения источников — хронологический. Во второй части будет дан сравнительный анализ этих вариантов.

Памятник, условно именуемый «Баварским географом» (не позднее 70—80-х гг. IX в.; вероятно, до 821 г.), употребляет этноним «Русь» в форме *Ruzzi*. Рукопись IX в., скорее всего, автограф; датировку рукописи XI в. следует признать устаревшей [7].

Грамота короля Людовика Немецкого от 16 июня 863 г., подтверждающая земельные пожалования Карла Великого Алтайхскому монастырю

---

[5] См., например: J. J. Mikkola, Urslavische Grammatik, 1, Heidelberg, 1913, стр. 42, 56 и сл.; Ф. П. Филин, Образование языка восточных славян, М.— Л., 1962, стр. 103.

[6] А. В. Соловьев, указ. соч., стр.134—155; A. V. Soloviev, Der Begriff «Russland» im Mittelalter, «Wiener Archiv für Geschichte des Slawentums und Osteuropas», 2, Graz/Köln, 1956; B. O. Unbegaun, Le nom de Ruthènes slaves, «Annuaire de l'Institut de philologie et d'histoire orientales es slaves», X, Bruxelles, 1950.

[7] J. H. Bischoff, Die südostdeutschen Schreibschulen und Bibliotheken in der Karolingerzeit, 1 — Die bayrischen Diözesen, 2. Aufl., Wiesbaden, 1960, стр. 262; E. Herrmann, Slawisch-germanische Beziehungen im südostdeutschen Raum von der Spätantike bis zum Ungarnsturm, München, 1965, стр.213 и сл.; R. Nový, Die Anfänge des böhmischen Staates, 1 — Mitteleuropa im 9. Jh., Praha, 1968, стр. 140—141. Два последних автора дают и издания «Баварского географа», которыми мы и пользовались.

(Бавария), содержит никем до сих пор не отмеченное упоминание имени «Русь», для анализа которого нам придется сделать довольно пространный экскурс. Вот перевод этого документа в части, нас интересующей: «...к владениям упомянутого монастыря относилась местность под названием Скалькобах (Scalcobah) — а этот ручей протекает по многим местам: на запад вплоть до Дагодеосмарха (Dagodeosmarcha), а оттуда на восток до Русарамарха (Ruzaramarcha) и до места, называемого Цидаларибах (Cidalaribah), что в лесу у реки Эниса (совр. *Enns.— Н. А.*), который лежит между Данубием (т. е. Дунаем.— *Н. А.*) и [реками] Ибиса и Хурула (совр. *Ybbs* и *Url.— Н. А.*), [простираясь] на юг до самой вершины горы...» [8]. Топоним *Ruzaramarcha* учтен в собраниях Э. Ферстеманна [9] и Г. Вайгля [10]. Если во втором случае этот топоним никак не комментируется (из чего, согласно принципу издания, заключаем, что автор не располагал убедительной деривацией), то Э. Ферстеманн относит его к производным от личных имен с корнем *Roz-*, *Ruoz-* (< общегерм. **hrōþ-*, др.-в.-нем. *hrôd-* «слава»), хотя условность объединения всех имен собственных на *Roz-*, *Ruoz-*, *Ruz-* в одном гнезде отмечена самим составителем [11]. Однако ни у Э. Ферстеманна, ни где-либо еще древневерхненемецкое личное имя *Ru(o)zari* не зафиксировано. Да и трудно представить, как такое имя могло бы возникнуть: заимствованный из латыни еще в до-древневерхненемецкую эпоху суффикс *-ari* (назовем его *-ari*$_1$) служил для образования nomina agentium типа *fiscâri* «рыбак» (ср. лат. *-arius* с тем же значением: *monetarius* «чеканщик монет» и т. п.); омонимичный ему собственно германский суффикс *-ari*$_2$ образовывал имена жителей местности по имени местности: *Româri* «римлянин», *Tenimarkâri* «датчанин», откуда и современный нем. *-er* с тем же значением [12]. По соображениям географического и хронологического порядка приходится также признать, что *Ruz-* в *Ruzaramarcha* не может отражать генитив соответствующего личного имени в роли топонима [13], так как подобные образования типичны, вообще говоря, уже для высокого средневековья. Единичные их упоминания в IX в. встречаются только в западнонемецких землях (например, в Гессене) и в Швейцарии. Столь раннее развитие этой модели в указанном ареале вызвано тем, что она сменила формы на *-ing*, отмершие в этих районах еще в до-древневерхненемецкий период, тогда как в Баварии *-ing* остается продуктивным весьма долго и вытесняется только с экспансией образований на *-ari*$_2$ [14]. Итак, ясно, что первая часть анализируемого нами топонима *Ruzara-* не может быть производной от личного имени на *Ru(o)z-*.

С другой стороны, древневерхненемецкий язык не располагал соответствующим корнем, от которого при помощи *-ari*$_1$ могло бы образоваться nomen agentis: *Ruzaramarcha* не принадлежит к типу *Cidalaribah* нашего документа, где *Cidalari* = др.-в.-нем. *zîdâlari* «пасечник, бортник».

---

[8] «Monumenta Germaniae Historica» (далее MGH), «Die Urkunden Ludwigs des Deutschen», 109, Hannover, 1910.

[9] E. Förstemann, Altdeutsches Namenbuch, II — Ortsnamen. Nordhausen, 1858, стлб.1206. Новое издание этого справочника осталось нам, к сожалению, недоступным.

[10] H. Weigl, Historisches Ortsnamenbuch von Nieder-Österreich, V, Wien, 1973, стр. 237.

[11] E. Förstemann, Altdeutsches Namenbuch, I — Personennamen, Nordhausen, 1856, стр. 715.

[12] W. Braune, Althochdeutsche Grammatik, 13 Aufl., bearb. von H. Eggers, Tübingen, 1975, стр. 188—189; A. Bach, Deutsche Namenkunde, I, 1,2. Aufl., Heidelberg, 1953, стр. 157—158.

[13] В принципе это было бы возможно, так как *-ari*$_2$ присоединялся непосредственно к основе топонима, а не к какой-либо его падежной форме: *Sahsono-hûs-âri*, а не *Sahsono-hûson-âri* (A. Bach, указ. соч., II, 1, стр. 191).

[14] A. Bach, указ. соч., I, 1, стр.205; II, 2, стр. 401.

Остается единственная возможность: предположить, что *Ruzara*- образовано при помощи -*ari*$_2$ от корня *Ruz*-, не связанного с каким бы то ни было личным именем, но являющегося основой какого-то топонима. Такое предположение не только единственно возможно в данном конкретном случае, но и наиболее вероятно a priori. Дело в том, что вследствие чрезвычайной продуктивности -*ari*$_2$ в древневерхненемецком топонимика с этим суффиксом, от топонимов же происходящая, исключительно распространена. Так, например, местечко *Tann* получало по имени его обитателей еще и следующие названия: *Tannâra* (им. пад. мн. числа) «жители Танна», (*ze*) *Tannâron* (дат. пад. мн. числа) или чаще *Tannâro*/*Tannâra* (род. пад. мн. числа) с явным или подразумеваемым вторым компонентом *marcha*, т. е. буквально «марка жителей Танна». Так как связь между др.-в.-нем. -*ari*$_1$ и лат. -*arius* отчетливо осознавалась, древневерхненемецкие топонимы с -*ari*$_2$, попадая в латинский контекст, часто превращались в латинообразные с суффиксом -*arius*: так, например, из *Reodâro*(*marcha*) или (*ze*)*Reodâron* (< др.-в.-нем. *reod* «болотистая местность») получалось (с окончанием латинского аблатива мн. числа) *in Reodariis*. Тем самым латинский суффикс в составе древневерхненемецких топонимов на -*ari*$_2$ приобретал значение, которого ранее не имел: «житель той или иной местности». А. Бах характеризует это явление как типичное [15].

Но в таком случае, может быть, в отличие от *Ruzari*, источникам известен термин *Ruzarius*? К счастью, это действительно так. В уставе австрийского герцога Леопольда от 9 июля 1192 г. о *Ruzarii* говорится как о купцах, торгующих на Руси [16]. Сопоставить *Ruzarii* этого памятника с латинскими именами, обозначающими профессии (типа *monetarius*), и истолковать этот термин как чисто латинское новообразование с суффиксом -*arius* невозможно без натяжки. Лат. -*arius* нигде более в таком смысле не выступает, да и с др.-в.-нем. -*ari*$_1$ аналогичных производных от других этнонимов не существует: др.-в.-нем. *Beheimâri* значит всегда «чех», но никогда специально только «купец, торгующий в Чехии». Зато употребление имен с формантом -*ari*$_2$, обозначавших в строгом смысле обитателей какой-либо местности, не в их основном, первоначальном значении, а для указания на какие-то иные связи с данной местностью, характерные для носителя имени, было в средневековом немецком языке рядовым явлением [17]. Разумеется, только на этом основании было бы поспешным настаивать на признании термина *Ruzarius*, несмотря на его связь с этнонимом «Русь», одной из форм этого последнего в средневерхненемецком языке. Но обнаружив в древневерхненемецком термин *Ruzara* в роли названия жителей местности или этнонима, мы вынуждены настаивать на этом, поскольку обе формы тождественны фонетически и структурно, происходят из одного и того же региона (Австрийского Подунавья) и ни для того, ни для другого невозможно найти иного удовлетворительного объяснения.

Хронологическая разница между обоими упоминаниями не должна смущать нас, так как не только в IX в., но и в XII в. в юго-восточных немецких землях -*ari*$_2$ был продуктивен. Напомним только *Pescenaere* «печенеги» в «Песне о Нибелунгах» (XXII, 1340), созданной в конце XII в. в Австрии, или *Mêrânâre* в одной регенсбургской глоссе XII же в. в качестве перевода лат. *Gothi* (< *Mêrân*, как называли территорию Истрии, Хорватии и Далмации) [18]. Не служит препятствием также и существование в древне- и средневерхненемецком других вариантов этникона «Русь». Эти

[15] A. Bach, указ. соч. II, 1, стр. 108.
[16] Последняя известная нам публикация: «Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich», I, Wien, 1950, № 86.
[17] A. Bach, указ. соч., I, 1, стр. 253 и сл.
[18] О последнем примере см.: A. Bach, указ. соч., I, 1, стр.191.

варианты, как мы увидим ниже, сами возникли в результате осложнения корня *Ruz-* различными основообразующими формантами. Такое многообразие параллельных форм одного и того же этнонима или топонима в немецкой средневековой ономастике вовсе не является исключительным. Так, имя бургундов оформлялось как лат. *Burgundii* (предполагая древневерхненемецкую основу на *-ja*), *Burgundiones* (основа на *-jan*) и, наконец, др.-в.-нем. *Burguntâre* [19].

Итак, сопоставление *Ruzara* из диплома Людовика Немецкого и *Ruzarii* грамоты герцога Леопольда приводит нас к заключению, что др.-в.-нем. *Ruzari* (> лат. *Ruzarius*) есть не что иное, как один из вариантов этнонима «русский», аналогичный другим древневерхненемецким этнонимам такого типа: *Beheimâri*, *Tenimarkâri* и проч.

О локализации *Ruzaramarcha*, вопреки Э. Фёрстеманну, А. Баху и Г. Вайглю [20], можно сказать только, что это местечко находилось где-то между Дунаем и Иббсом с его притоком рекою Урль (Нижняя Австрия). Согласно Раффельштеттенскому таможенному уставу именно здесь проходила торная торговая дорога, по которой, как известно, ходили и русские купцы. Следует также отметить, что *Ruzaramarcha* отнюдь не представляет собою исключения. Топонимика Австрийского Подунавья в этом отношении не изучена. Наряду с единичными уже выявленными примерами [21] имеется целый ряд топонимов, видимо, связанных с именем «Русь», но пока никем не отмеченных. Приведем только один пример. В грамоте императора Оттона II (979 г; земельные пожалования монастырю св. Эммерама в Регенсбурге) неподалеку от реки Урль упоминается гора, «что по-славянски зовется *Rûznic*» [22]. При помощи суффикса *-ник* в славянских языках, наряду с прочими отыменными nomina agentium, могут образовываться также и таковые от этнонимов: например, Ипатьевской летописью зафиксирован древнерусский термин *гречники*, обозначавший купцов, торговавших в Византии [23]. Интересно, что именно в некоторые южнонемецкие говоры этот славянский суффикс был заимствован в качестве форманта, служащего для образования имен жителей местности от имени местности, т. е. по значению тождественного $-ari_2$ [24]. В южнонемецких диалектах горам охотно давали антропоморфные названия. В связи с этим можно предполагать, что термин *Rûznic* (= «русьник») в языке местных славян был аналогом *Ruzâri* и обозначал купца, торгующего на Руси.

Продолжим перечисление источников, содержащих упоминания имени «Русь». В письме миссийного епископа Бруно к германскому королю Генриху II (1008 г.) этноним «Русь» назван трижды. Утрехтский список XVII в., по которому памятник в середине прошлого века был издан А. Гильфердингом в России и В. Гизебрехтом в Германии [25], в одном случае дает чтение *Ruti*, а в двух остальных — *Ruzi*. А. Белёвский, издавший письмо Бруно по копии более древнего Кассельского списка XI—XII вв., являющегося оригиналом и для Утрехтской рукописи, исправил *Ruti* на

---

[19] A. Bach, указ. соч., I, 1, стр. 200, 201. Другие случаи употребления параллельных или даже контаминированных форм приведены там же, II, 1, стр. 103 и сл.

[20] E. Förstemann, Die deutschen Ortsnamen, Nordhausen, 1863, стр. 184; A. Bach, указ. соч., II, 1, стр. 83; H. Weigl, указ. соч., стр. 31, 237.

[21] Об имени реки *Ruzische Muhel* в Верхней Австрии см.: K. Schiffmann, Historisches Ortsnamenbuch des Landes Oberösterreich, II, München — Berlin, 1935, стр. 190.

[22] MGH Diplomata Ottonis II, № 204, Hannoverae, 1888.

[23] «Полное собрание русских летописей», 2, СПб., 1908, стлб. 526 и далее.

[24] A. Bach, указ. соч., I, 1, стр. 203.

[25] «Русская беседа», М., 1856, 1; W. Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, II, Braunschweig, 1868, стр. 603 и сл.

Ruzi [26]. Так как сам Кассельский список до сих пор не издан, вопрос об аутентичности чтения *Ruti* следует считать открытым.

В хронике мерзебургского епископа Титмара, написанной между 1012 и 1018 гг. [27], имя «Русь» встречается в трех различных написаниях: пять раз *Rusci* и по одному разу *Ruci* и *Ruszi*.

В анналах Кведлинбургского монастыря (начало XI в.) [28] дважды представлено *Rusci* и один раз *Ruci*.

Анналы монастыря в Хильдесхейме (середина XI в.) [29] дают следующие аллографы имени «Русь»: *Rusci* — дважды, *Rusciani* — один раз, *Ruizi* — один раз;

«Жизнеописание императора Конрада II» Випо, созданное в 40-х гг. XI в. [30], сохранилось в единственной рукописи XVI в., которая дает два варианта имени «Русь»: *Ruhhia* и *Russia*. Текстологи единодушны в том, что произойти они могли только из *Ruzzia* [31]: Это чтение, принятое всеми издателями, мы признаем принадлежащим самому Випо.

Из семнадцати случаев упоминания этникона «Русь» в хронике Адама Бременского (70-е гг. XI вв.) в шестнадцати мы сталкиваемся с вариантом *Ruzzi* и в одном случае — с *Ruzi* [32]: в этом отношении совпадают между собой все древнейшие списки [33].

В анналах Альтайхского монастыря (70-е гг. XI в.) один раз читаем *Rusci* и еще один раз — *Ruzi* [34].

Ламперт Херсфельдский в своих «Анналах» (около 1080 г.) три раза пишет *Rusci* и четырежды — *Ruzeni* [35].

Наконец, один раз в форме *Rusci* о Руси упоминает книга Бруно о саксонской войне (конец XI в.) [36].

Все эти 48 упоминаний естественным образом распадаются на две большие группы: формы с *c* (*Rusci*, *Ruci* и т. п.) и формы с *z* (*Ruzzi*, *Ruzi* и др.). В формах с *c* нет ничего для латинской графики необычного, тогда как орфография вариантов с *z* обращает на себя внимание. Буква *z* употреблялась в латыни, как правило, только в словах греческого происхождения на месте греч. ζ. Зато она является типичной для верхненемецкой графики, где использовалась для обозначения звуков, возникших в результате второго верхненемецкого передвижения согласных из глухого зубного смычного [t]. В зависимости от своего положения в слове др.-в.-нем. *z* звучал либо как аффриката [ts], которая до сих пор в немецком языке передается через *z*, либо как щелевой, близкий к современному нем. [s], наряду с которым в древневерхненемецком существовал и исконный западногерманский *s*, произносившийся, в отличие от *z*, несколько шепеляво, примерно как современный нем. [ʃ] [37]. Поэтому и возникла не-

[26] «Monumenta Poloniae Historica», I, ed. A. Belowski, Lwów, 1864.

[27] Сохранился автограф. Лучшее издание: «Die Chronik des Bischofs Thietmar und ihre Korveier Überarbeitung, ed. R. Holtzmann, Berlin, 1935.

[28] MGH Scriptores, III, ed. G. H. Pertz, Hannover, 1839.

[29] «Annales Hildesheimenses», ed. G. Waitz, Hannover, 1878.

[30] «Wiponis opera», ed. H. Bresslau, Hannover — Leipzig, 1915.

[31] Там же, стр. L и далее.

[32] «Adami Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum», ed. B. Schmeidler, Hannover — Leipzig, 1917.

[33] B. Schmeidler, Hamburg — Bremen und Nordost — Europa vom 9. bis 11. Jh., Leipzig, 1918, стр.9—107.

[34] MGH Scriptores, XX, ed.W.Giesebrecht, E. L. B. Oefele, Hannover, 1868.

[35] «Lamperti monachi Hersfeldensis opera», ed.O.Holder — Egger, Hannover — Leipzig, 1894.

[36] «Quellen zur Geschichte Kaiser Heinrich IV»., ed. F.-J. Schmale, Berlin, 1963.

[37] Основная литература о втором передвижении приведена в кн.: W. Braune, H. Eggers, указ. соч., стр. 82 и сл.; G. Lerchner, Zur II. Lautverschiebung im Rheinisch-Westmitteldeutschen, Halle, 1971, стр. 25 и сл. Вопрос о хронологии передвижения сложен. Большинство исследователей согласны с мнением Э. Шварца, что

обходимость ввести новую графему. Оба эти звука совпали в средневерхненемецком, начиная с XIII в. В составе верхненемецких или преломившихся через верхненемецкую языковую среду слов, как правило, имен собственных, *z* проникал и в немецкие латиноязычные памятники.

Напрашивается предположение, что и варианты на *Ruz(z)*- суть зафиксированные латинскими текстами слова живого древневерхненемецкого языка, что полагали вероятным еще Я. и В. Гримм [38]. В пользу такого предположения говорит и тот факт, что в средневерхненемецких памятниках XII—XIV вв. этникон «русский» писался, как правило, *Rûze*, *Riuze* (с умлаутом долгого *u*) или *Reuze* (с дифтонгизацией узкого долгого) [39]. Наше предположение превратится в уверенность, если окажется, что верхненемецкие памятники в оригинальных текстах употребляли исключительно форму с *z*.

Только варианты с *z* встречаем в «Баварском географе», грамоте Людовика Немецкого и у Випо: все три памятника бесспорно южнонемецкого происхождения. Верхненемецкое происхождение работавшего в Бремене Адама известно: оно было замечено еще одним из средневековых схолиастов его хроники (scholia 145). Из памятников, связанных с верхненемецким ареалом, формы с *z* и с *c* вперемежку употребляются, таким образом, только Алтайхскими анналами и «Анналами» Ламперта, происходившего, вероятно, из франконского Бамберга. Однако, согласно данным текстологии [40], общее обоим этим источникам сообщение о посольстве киевской великой княгини Ольги к королю Оттону I в 960 г., в котором фигурируют варианты с *c*, восходит к саксонскому источнику — реконструируемым так называемым «Большим хильдесхеймским анналам». Текст этого сообщения не только у Ламперта и в Альтайхских анналах, но и в саксонских анналах хильдесхеймского и кведлинбургского монастырей дан в одной и той же редакции; это убеждает нас, что общее для всех четырех памятников чтение *Rusci* из известия о посольстве Ольги также происходит из утраченных «Больших хильдесхеймских анналов».

Источники сообщений Ламперта о русских посольствах в Германию в 973 и 1043 гг., в которых употреблен вариант *Rusci*, неизвестны. Из хронологических соображений ясно, что они едва ли могут быть оригинальными известиями самого хрониста. Зато в бесспорно авторском упоминании Руси в связи с пребыванием в 70-х гг. XI в. при дворе Генриха IV изгнанного из Киева великого князя Изяслава Ярославича четырежды употреблена форма *Ruzeni*.

В древнесаксонском языке, который не знал второго передвижения согласных, *z* употреблялось только в значении аффрикаты. Учитывая это, можно с большой степенью вероятности предположить вторичность форм с *c* по отношению к формам с *z*. Др.-в.-нем. *Rûzi* должно было произноситься саксонцами как [rūt͡si], что в более привычном латинском оформлении (не будем забывать, что речь идет о латинских текстах) писалось *Ruci*. *Rusci* могло отражать др.-в.-нем. *Ruszi*: диграф *sz*, а в отдель-

---

передвижение глухих смычных в древнебаварском произошло около 600 г.: E. Schwarz, Die althochdeutsche Lautverschiebung im Altbairischen (mit besonderer Berücksichtigung der Salzburger Güterverzeichnisse), PBB, Halle, 50, 2, 1926, стр. 242 и сл.

[38] J. und W. Grimm, Deutsches Wörterbuch, VIII, Leipzig, 1893, стлб. 1539.

[39] M. Lexer, Mittelhochdeutsches Wörterbuch, II, Leipzig, 1876, стлб. 476, 560, 562.

[40] Мы опираемся на выводы О. Хольдер-Эггера: см. указанное выше (примеч. 35) его издание труда Ламперта, стр. XXIV—XXV. Эти выводы поддержаны и в последнем издании компендиума В. Ваттенбаха: W. Wattenbach, R. Holtzmann, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Die Zeit der Sachsen und Salier, I. Weimar, 1967, стр. 41 и сл.

ных древневерхненемецких глоссах даже *sc* (у Ноткера повсеместно *zs*) нередко применялся вместо *z* в тех случаях, когда этот последний обозначал спирант [41]; употребляемая один раз Титмаром форма *Ruszi*, наряду с частым *Rusci*, кажется, подтверждает это. Написания *Rusze*, *Reusze* распространены в средневерхненемецком. Можно также полагать, что *sc* вместо простого *c* возник в древнесаксонском из желания как-то подчеркнуть сибилянтный характер согласного в древнерусском оригинале. Вторичность форм с *c* подкрепляется и тем соображением, что древнейшие из форм на *Ruz-*: *Ruzzi* «Баварского географа» и *Ruzara* грамоты Людовика Немецкого, как минимум, на полтораста лет старше первых вариантов с *c*, если считать, что известие об Ольгином посольстве было записано хильдесхеймским книжником во второй половине X в., когда начинают вестись погодные заметки при местном кафедральном соборе.

Итак, из сказанного вытекает, что варианты *Ruzzi*, *Ruzi* — это оформленное латинской флексией слово древневерхненемецкого языка. Как это последнее могло возникнуть? Известно, что при заимствовании в верхненемецкие диалекты слов из славянских языков или при передаче этих слов древневерхненемецкой графикой для слав. *s* фонетически наиболее подходящим коррелятом был *z*. Об этом прямо свидетельствует интересный памятник X в.— изготовленная с миссионерскими целями в баварском монастыре Фрейзинген верхненемецкая транслитерация некоторых текстов славянского катехизиса [42]. Ввиду этого можно, видимо, предположить, что др.-в.-нем. *Rûz(z)i* было просто заимствованием из восточнославянского. О времени этого гипотетического заимствования можно было бы сказать следующее. Нами был отмечен вариант *Ruizi*, встречающийся один раз в Хильдесхеймских анналах. Диграф *ui* вместо *û* в термине *Rûzi* в текстах древневерхненемецкого периода больше не зафиксирован. Для средневерхненемецкого типична форма *Riuze*, в которой *iu* служил показателем умлаута [ū]. Формы с умлаутом существуют в средневерхненемецком параллельно с формами без умлаута. Несмотря на то, что умлаут от [ū] в памятниках X—XII вв. фиксировался на письме весьма непоследовательно (так что порой он даже никак не обозначен), предполагать в др.-в.-нем. и ср.-в.-нем. *Rûze* такой латентный умлаут, видимо, не следует. Для обозначения умлаута от [ū], наряду с каноническим iu, в древневерхненемецких текстах применялась также и графема *ui* [43]: можно поэтому полагать, что *Ruizi* Хильдесхеймских анналов соответствует *Riuze* средневерхненемецких памятников. Ср.-в.-нем. *Rûze*, *Riuze*, как и большинство этнонимов, изменялся по согласному (слабому) склонению. Наличие умлаута показывает, что основообразующим формантом здесь был *-jan*, весьма продуктивный в древневерхненемецком. При этом известно, что основообразующий *-j-*, особенно в южнонемецких диалектах, исчезает очень рано. Если для древнейших текстов VIII в. формы с *-j-* еще обычны (ср., например, др.-в.-нем. *erbeo*, позднее *erbo* = нем. Erbe, где *-e-* указывает на еще звучавший *-j-*), то уже в течение IX в. *-j-* исчез совершенно. Поскольку в древневерхненемецком умлаут далеко не всегда передавался на письме, то имеется немало слов, относительно которых только на основании данных древневерхненемецкого трудно решить, к какому именно типу — на *-an* или на *-jan* (соответственно, на *-a* или на *-ja*, на *-o* или на *-jo*) они принадлежали. В таких случаях (например, др.-в.-нем. *burgo* или *scutzo*) критерием могут служить средневерхненемецкие или даже новонемецкие формы (*Bürge*, *Schütze*), умлаут в которых, как

[41] W. Braune, H. Eggers, указ. соч, стр. 155.
[42] W. Braune, Die altslovenischen Freisinger Denkmäler in ihrem Verhältnis zur althochdeutschen Orthographie, PBB, 1, Halle, 1874, стр. 527 и сл.
[43] W. Braune, H. Eggers, указ. соч., стр. 42.

и в ср.-в.-нем. *Riuze*, ясно показывает, что некогда их основа оканчивалась на *-jan* [44]. Но из принадлежности в свое время основы *Rûz-* к типу на *-jan* со всей необходимостью вытекает, что предполагаемое заимствование имени «Русь» в один из диалектов древневерхненемецкого языка (вероятно, древнебаварский) не могло совершиться позже начала IX в., а скорее всего, позднее рубежа VIII—IX вв.

Тем самым реконструируемая хронология форм с умлаутом и хронология первых упоминаний Руси смыкаются на начале IX в., и мы в принципе, учитывая, что *z* в верхненемецкой графике был наиболее употребительным знаком при передаче *s* в славянских словах, имели бы возможность объяснить формы на *-Ruz-* (с умлаутом или без него), а исходя из них, и формы *Rusci*, *Ruci* как заимствование из языка восточных славян.

Однако такому объяснению радикально препятствуют отчетливо засвидетельствованные формы на *Ruzz-*. В аутентичности этих форм сомневаться не приходится ввиду достаточно надежной рукописной традиции тех источников, в которых они отмечены: напомним, что речь идет о «Баварском географе» и произведениях Вино и Адама Бременского — памятниках, никак не зависящих друг от друга. Итак, написание *Ruzzi* является фактом древневерхненемецкого языка. Однако обосновать наличие двойного согласного, предполагая заимствование имени «Русь» из восточнославянского, мы не в состоянии. В самом деле, в древнерусском языке, т. е. гипотетическом источнике заимствования, имеются только формы с простым согласным: *Роусь*, *роусин*, *роусьский*. Встречающийся иногда в литературе термин «руссы» придуман ученой историографией и источникам не известен. Простой согласный однозначно (если отвлечься от позднейших памятников) и с самого начала представлен и в византийских источниках: Ῥῶς, Ῥουσία, Ῥωσία [45]. То же самое можно сказать и относительно целого ряда латинских памятников ненемецкого происхождения: Лиутпранд (X в.) пишет *Rusii*, может быть, под влиянием греческой орфографии, чего уже нельзя утверждать о *Rusi* Анонима Галла (начало XII в.) и некоторых других польских и чешских памятников [46]. Написания *la Rousie*, *la Rosie* и др. характерны и для французского рыцарского эпоса. Простой согласный в этих источниках трудно объяснить иначе, как влиянием древнерусского оригинала — ведь по законам латинского произношения одиночный *s* в интервокальном положении должен был озвончаться. Видимо, из стремления избежать такого озвончения и возникли на романской почве формы с двойным *s*: *Russi(a)*. Их влияние на немецкую графику совершенно исключено хотя бы потому, что между ними и *Ruzzi* «Баварского географа» хронологический разрыв в два столетия.

Откуда же в древневерхненемецком могли появиться формы с *zz*? Считать, что эта графема в слове *Ruzzi* неоднократно употреблена «по ошибке», мы не можем, поскольку такая путаница в древневерхненемецком невероятна: двойные согласные отличались здесь от простых не только на письме, но и в произношении, так как между ними проходила граница слогораздела и они отделялись друг от друга экспираторной паузой. Обязательное упрощение геминат как раз и происходило в тех случаях, когда второй согласный не мог быть начальным следующего слога, т. е.

---

[44] J. Schatz, Altbairische Grammatik, Göttingen, 1907, стр. 64 и сл.; W. Braune H. Eggers, указ. соч, стр. 110 и сл., 206 и сл.

[45] А. В. Соловьев, указ. соч.

[46] См., например: «Чудеса св. Адальберта» (XIII—XIV вв), MGH Scriptores, IV, Hannover, 1841, стр. 615; письмо Оттокара Богемского папе Александру IV о татарах (XIII в.), MGH Scriptores, IX, Hannover, 1851, стр.184 и др.

в конце слова и перед согласным [47]. В положении между гласными *z* передает в древневерхненемецком два звука: геминированный спирант, возникший в процессе второго передвижения, или аффрикату, когда она возникала на месте передвинутого двойного смычного *tt*. Различить два этих произношения в каждом конкретном случае не всегда удается. Рассмотрим поэтому последовательно обе возможности.

Спирантное произношение *zz* в *Ruzzi* допустимо. Хотя корневой гласный был долгим, а после долгого порождаемые вторым передвижением геминаты имели тенденцию упрощаться, тенденция эта, особенно в южнонемецких диалектах, в течение древневерхненемецкого периода реализовалась не вполне. В результате в древневерхненемецком отмечены параллельные формы с двойным и простым согласным [48]: *heizan/heizzan* = = (*heißen*), *slâfan/slâffan* = (*schlafen*) и т. п. Уже для средневерхненемецкого такой параллелизм нехарактерен: с XII в. формы с удвоением окончательно исчезают. Итак, если предположить, что *zz* в варианте *Ruzzi* есть двойной щелевой, то становятся понятными и существование в древневерхненемецком форм с геминацией, и их факультативность, и отсутствие таковых в средневерхненемецком.

Вместе с тем, считая *zz* спирантом, мы обязаны будем признать, что в древневерхненемецком имели место варианты этнонима «Русь» не только с основообразующим формантом *-jan*, но и с суффиксами, не включавшими *-j-*. Действительно, гипотетическая праоснова **Rūtjan-*, предполагаемая древне- и средневерхненемецкими слабыми формами с умлаутом, при передвижении не могла дать геминату, возможную только в положении между гласными. Следовательно, в древневерхненемецком имя «Русь» изменялось и по типу на *-jan*, и по типу на *-an* или по какому-нибудь гласному склонению. Ср.-в.-нем. *Rûze* и *Rûz*, т. е. формы без умлаута как с сильной, так и со слабой основой, можно было бы рассматривать как известное тому подтверждение. Вот почему выше мы указали, что полагать в вариантах типа *Rûze* не обозначенный на письме умлаут необязательно.

Посмотрим теперь, к чему ведет нас предположение *zz* < *tt*. Геминированный смычный *tt* в нашем случае не мог быть исконным, поскольку из него ни при каких условиях не развивался простой спирант: **Rūtt-* не мог дать др.-в.-нем. *Rûz-*. Это значит, что придется допустить одновременное существование в до-древневерхненемецком двух форм: на **Rūt-* и на **Rūtt-*, вторая из которых могла быть результатом западногерманской геминации. Хронология ее спорна, хотя ясно, что она, во всяком случае, предшествовала второму передвижению согласных. Если признать реальное существование в прошлом «западногерманского языкового единства» (к чему современная лингвистика относится со все возрастающим скептицизмом), в эпоху которого и произошла геминация, то ее следует отнести к периоду до переселения англосаксов на Британские острова, т. е. приблизительно к III—V вв. н. э. Как и удвоение при передвижении, западногерманская геминация в древневерхненемецком после долгого гласного была факультативной и тоже порождала фонетические дублеты, различить которые порой мы можем благодаря их разной судьбе во время второго передвижения. Так, наряду с нем. *Schuß* имеется *Schütze* вследствие того, что основа последнего включала в свое время формант *-jan* (отсюда и умлаут), *-j-* которого мог иногда и после долгого гласного стать причиной западногерманской геминации: *tj* > *ttj*. Последнее после передвижения согласных давало аффрикату, а не простой спи-

[47] W. Braune, H. Eggers, указ. соч., стр. 91.
[48] Там же, стр. 96—97, 154.

рант, как в случае неудвоенного смычного: *tt* > *tz*, *t* > *z*. Тем самым, если *zz* < *tt*, мы приходим к следующим цепочкам форм:

$$* R\bar{u}tj- > \begin{cases} {}^{1}\ *R\bar{u}ttj- > R(i)\hat{u}zz- \text{ (аффриката)} \\ {}^{2}\ R(i)\hat{u}z- \text{ (спирант)} \end{cases}$$

Несмотря на то, что эта гипотеза, так же, как и первая, объясняет все формы, отраженные в источниках, она имеет сравнительно с первой и некоторые недостатки. Приходится дополнительно объяснять позднейшее, начиная со средневерхненемецкого периода, исчезновение форм с аффрикатой. С таковыми не приходится связывать изредка встречающийся в средневерхненемецком вариант *Rutz*, поскольку в нем никак не отражен умлаут, который должен был вызываться *-j-*, служившим причиной западногерманской геминации. Форма *Rutz* могла возникнуть под влиянием личного имени *Ruozo*, где *z* = [ts]. Формы *Ru(s)ci* служили бы аргументом в пользу существования вариантов с аффрикатой только в том случае, если бы не обнаруживали связи с нижненемецким ареалом. Разумеется, реконструируемые формы с аффрикатой действительно могли быстро — ранее, чем умлаут стал фиксироваться на письме,— быть вытеснены формами со спирантом, более близкими фонетически самоназванию руси, подобно тому, как это позже случилось с вариантом *Reuze*. Однако пока не обнаружится недвусмысленных следов существования в древневерхненемецком форм с полусмычным, представляется резонным предпочесть первую гипотезу. Это означало бы, что этноним (?) с основой **Rūt(j)-* должен был появиться в до-древневерхненемецком (как можно полагать, в южных диалектах) до окончания второго передвижения, но после завершения западногерманской геминации, т. е. приблизительно в V—VI вв. Следующие положения имеют силу независимо от того, какая из гипотез соответствует действительности.

1. Немецкая латиноязычная литература IX—XI вв. располагает целым рядом форм этнонима «Русь». Он распадается, в общем, на две главные группы: формы с *c* и формы с *z*. Последние следует признать отражением соответствующих древневерхненемецких форм. Варианты с *c*, появляющиеся не ранее второй половины X в. в саксонских памятниках, являются, судя по всему, производными от вариантов с *z*, засвидетельствованных источниками не позднее середины IX в., и, как можно полагать по наличию умлаута корневого гласного, существовавших в древневерхненемецком и на рубеже VIII—IX вв.

2. Формы с геминированным согласным *Ruzzi* не объяснимы как заимствование из славянских языков и заставляют предполагать, что они явились результатом второго верхненемецкого передвижения согласных. При этом гипотетической праформой должен был служить этноним (?) с основой **Rūt-*, осложненной тем или иным формантом: *-jan*, *-ari* и др. В этом случае полностью объясняются не только все орфографические особенности различных вариантов имени «Русь» (например, наличие в древневерхненемецком форм с простым и двойным согласным, факультативный умлаут корневого гласного и т. д.), но и их судьба в дальнейшем: исчезновение форм с геминатой в средневерхненемецком (с XII в.).

3. Исходя из хронологии передвижения, надо допустить, что этноним (?) **Rūt-* был известен южнонемецким диалектам еще в до-древневерхненемецкую эпоху, по крайней мере, уже около 600 г., т. е. задолго до появления в начале IX в. первых достоверных сообщений о народе русь.

4. Совпадение др.-в.-нем. *Rûz(z)-* и ср.-в.-нем. *Rûzen* с др.-русск. *Роусь* не означает, ввиду сказанного, что древневерхненемецкий термин

должен был непременно быть заимствован из древнерусского. Не исключено, что оба этникона развились самостоятельно, может быть, из общего прототипа, про который сказать пока мы ничего не можем.

На вопрос, зафиксирована ли где-либо в источниках применительно к Руси реконструируемая нами форма на *Rut-*, пока нет определенного ответа. Ограничимся лишь некоторыми сугубо предположительными указаниями. Общеизвестно, что до сих пор не найдено сколько-нибудь удовлетворительного объяснения термину *Ruteni*. Попытки рассматривать его только как основанную на весьма приблизительном созвучии ученую реминисценцию в связи с упоминаемым у Цезаря и других античных авторов именем одного галльского племени не представляются убедительными. *Ruti* встречается один раз у Бруно Кверфуртского, хотя это чтение и сомнительно (см. выше). Далее, в жалованной грамоте кельнского архиепископа городу Медебаху (1165 г.) читаем о купцах из «*Rutia vel Datia*». Считать, что это равно «*Rucia vel Dacia*», можно, но необязательно, в обоснование чего приведем весьма древний текст («Aviti versus Martini episcopi Dumiensis in basilica», VI в.), в котором при перечислении народов *Dacus* стоит рядом с *Datus* (= *Danus*) и не равен ему. Похожую форму *Ruthia* употребляет в XII в. живший в Саксонии Бартоломей Английский. Термин *Rutheia* использован для обозначения Руси в одном итальянском источнике начала XIII в. (Richard de St. Germano).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1980

ГРИНБАУМ Н. С.

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК. ПОЗДНЕЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (I—V вв. н. э.)

Конец I в. до н. э. знаменует время важных перемен в эллинистическом мире. Завершается процесс покорения Римом стран Ближнего Востока. Вслед за Македонией (148 г. до н. э.), Пергамом (133 г.), Сирией (64 г.) римлянам подчиняется в 31 г. до н. э. и Египет, где до этого в течение трех столетий правила династия Птолемеев [1]. Римская администрация подвергает население захваченных стран хищнической эксплуатации. Обостряются экономические, социальные и политические противоречия рабовладельческого общества. Кризис третьего века наносит тяжелый удар римскому государству. В IV в. его центр перемещается в Константинополь. Римская империя сменяется византийской. «Вместе с возвышением Константинополя и падением Рима заканчивается древность» [2].

В отличие от западных провинций, где римские завоевания сопровождались закреплением латинского языка в качестве господствующего и оттеснением, а затем и истреблением местных языков, римлянам пришлось в эллинистических странах Востока признать ведущую роль греческого языка и примириться с ней. Ни в материковой Греции, ни в Азии греческий язык не уступил свои позиции латинскому. Дело не только в том, что сами римляне считали греков своими учителями и преклонялись перед величием их культуры [3]. Основная причина заключалась в закрепленной многовековой историей исключительной прочности положения греческого языка во всем бассейне восточного Средиземноморья. К началу новой эры греческий еще более закрепляется в Малой Азии и Сирии, на Кавказском побережье Черного моря и в горных областях Западного Ирана. В сферу эллинистической культуры вовлечены греко-бактрийское царство, мелкие государства иберийских и армянских правителей [4]. Римская империя становится в этих условиях двуязычной, в западной ее части закрепляется латинский, в восточной господствует греческий язык.

Римская администрация восточных провинций быстро приспосабливается к новой ситуации. Официальные документы составляются и распространяются на двух языках или переводятся с латинского на греческий. Создаются специальные канцелярии, где трудятся обученные греческому языку переводчики [5]. Для римских чиновников и купцов греческий становится удобным средством общения с населением многих стран Востока.

Изучение греческого языка римлянами составляет существенный элемент их образования. Молодые представители высших кругов римского

---

[1] См.: «История древней Греции», М., 1972, стр. 368—372.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч, 20, стр. 507.

[3] Ср. признание Горация («Послания»): «Греция, взятая в плен, победителей диких пленила, в Лаций суровый внеся искусства» (Квинт Гораций Флакк. Оды, эподы, сатиры, послания, М., 1970, стр. 369.

[4] «История греческой литературы», III, М., 1960, стр. 13.

[5] Ср.: A. Debrunner, A. Scherer, Geschichte der griechischen Sprache, II, Berlin, 1969, стр. 83.

общества завершают свое обучение поездками в Грецию и на ее острова [6]. В Рим съезжаются греческие философы, писатели и педагоги. Афины, став в эпоху империи рядовым эллинистическим городом, теряют свой престиж и прежнее значение интеллектуального центра греческого мира [7].

Развитие койне в позднеэллинистический период характеризуется рядом особенностей: а) нарастает процесс внутриязыковых изменений, признаки которых обозначились в более раннее время. Перфект уступает место аористу. Если в I в. до н. э. на каждые три формы аориста попадаются в папирусах десять перфектных, то в V в. н. э. на три аористные встречается лишь одна форма перфекта [8]. Выходят из употребления плюсквамперфект и футурум II. Их место занимают соответствующие описательные формы. Оптатив находится в I—II вв. н. э. на пути к исчезновению. Если еще у Ксенофонта на сто страниц текста встречаются 330, а у Платона — 250 форм оптатива, то у Страбона их насчитывается 76, у Полибия — 37, а у Диодора Сицилийского — всего 13 [9]. Усиливается роль инфинитива с артиклем после предлога или наречия. В придаточном предложении цели союз ἵνα все более вытесняет ὅπως. Их соотношение составляет у Гомера 9 : 145, в папирусах II в. до н. э. — 8 : 10, а в VII в. н. э. уже — 14 : 1; б) происходит дальнейшее накопление различий между устной речью и письменным языком. В разговорном койне появляются некоторые произносительные изменения. Ει η произносятся все чаще как [i], οι υ — как [ü] (позднее и как [i]), αι ε — как [e]. Теряется приписная йота у долгих дифтонгов ᾱι ωι. Стираются различия между краткими и долгими гласными. Музыкальное ударение сменяется динамическим [10]. Усиливаются нормализационные тенденции. Вместо прежнего парадигматического ряда: οἶδα «я знаю», οἶσθα, ἴδμεν (ἴσμεν) появляется новый: οἶδα, οἶδας, οἴδαμεν и т. д., тип δείκνυμι уступает место более привычному δεικνύω. Упрощается система именного склонения. Сокращается число слов, склоняющихся с отклонением от нормы. Усиливается роль предлогов в речи [11].

Однако несмотря на происходящие в разговорной сфере изменения, грамматика греческого языка сохраняет свои основные черты, не подвергаясь коренной перестройке. Одна из причин такой стойкости состоит в том, что конечная часть греческих слов не претерпела серьезных и глубоких нарушений, что способствовало относительной стабильности глагольной и именной структур языка [12]; в) койне испытывает на себе, главным образом в области лексики, определенное влияние контактирующих с греческим языков. Отдельные слова переходят в него из македонского, фригийского, персидского, семитических и других. Более существенным является влияние латинского языка. Греческий заимствует из него некоторые технические термины, названия не известных грекам предметов, группу глаголов. В ряде случаев латинские слова просто транскрибируются. Таковы термины военного дела: κουστωδία «стража», λεγιών «легион», κεντουρίων «центурион»; административного обихода: καῖσαρ «цезарь», κῆνσος «ценз», κολωνία «колония»; предметов торговли: λέντιον «полотно»,

[6] Ср.: K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa, 1964, стр. 246.

[7] Ср.; A. Meillet, Aperçu d'une histoire de la langue grecque, Paris, 1965, стр. 312.

[8] См.: B. G. Mandilaras, The verb in the Greek non-literary papyri, Athens, 1973, стр., 271—287.

[9] См.: A. Meillet, указ. соч. стр. 290—291.

[10] См.: A. Debrunner, A. Scherer, указ. соч., стр. 97.

[11] См.: A. Meillet, указ. соч., стр. 297—303.

[12] Там же, стр. 304.

σημικίνθιον «поясок»; мер и весов: μόδιος «модий», ἀσσάριον «монета» [13]. Тем же путем заимствуются и глаголы: ἀκουμπίζω «ложусь», δηφενδεύω «защищаюсь» и другие. Иногда латинские слова и обороты переводятся на греческий: ἑκατόναρχος «сотник, центурион», σπεῖρα «шар; отряд», σεβαστός «чтимый; август»; συμβούλιον λαμβάνειν (= лат. *consilium capere*) «принять решение», ἐργασίαν διδόναι (= *operam dare*) «приложить усилие», τὸ ἱκανὸν διδόναι (= *satis facere*) «удовлетворить» и т. д. В греческом появляются имена с латинскими суффиксами *-ālis*, *-āris*, *-ātus*, *-ūra*, некоторые суффиксы прилагательных, как: *-arius* (λεγιωνάριος «касающийся легиона»), *-īnus* (Ἀλεξανδρεῖνος «александрийский») и другие [14]. В переводных документах появляются иногда и латинские фразеологизмы: γεγραμμένῳ παρῆσαν (= *scribendo adfuerunt*) «при подписании присутствовали», ἐμοῖς αἰσίοις οἰωνοῖς (= *meis auspiciis*) «при благоприятствующих мне предзнаменованиях» и т. д.

Заслуживает, однако, внимания то обстоятельство, что греческий язык даже из латинского почерпнул весьма незначительное количество слов. А. Мейе отмечает, что ни один язык не заимствовал в историческое время меньше, чем греческий [15]. Нельзя при этом забывать, что в язык высших слоев общества проникло относительно немного чужеземных слов и значительно больше в устную речь простых людей, особенно смешанного населения грекоязычных стран.

Происходящие в койне преобразования, прежде всего в развитии разговорного языка, не могли не отражаться и на его литературной разновидности. Со временем это приводит к конфликту между теми сторонниками литературного койне, которые как должное воспринимали появляющиеся новшества, и теми, кто видел в них признаки «порчи» древнего «чистого» литературного языка. Представители второго направления получили наименование «аттицистов», так как ставили своей целью восстановить пошатнувшиеся нормы аттической прозы V—IV вв. до н. э. Созданное ими направление стало называться «аттицизмом» [16]. Последний достиг своей вершины во II в. н. э. и представлял собой одно из проявлений более широкого идейного течения, призывавшего вернуться к «классике», к лучшим образцам прошлого в области философии, искусства, риторики и литературы. По своей социальной сути это было реакционное течение, направленное на искусственное сдерживание выдвигаемых жизнью тенденций, и оно нашло широкую поддержку и ярых защитников в аристократических кругах греческого и римского общества. Уже во II в. до н. э. в Александрии, как сообщает Аристофан Византийский, зародился призыв «Назад к древним!». В Риме Цицерон направляет весь свой авторитет на возрождение аттицизирующего ораторского искусства, а двор императора Адриана (II в. н. э.) становится центром аттицистическо-лексикографических разысканий того времени [17].

И. М. Тронский указывает, что период архаистических тенденций, проявившихся во всех областях идеологии, в том числе и в литературе, был попыткой античного общества, разъедаемого противоречиями уже пережившей себя рабовладельческой системы, найти в возвращении к прошлому выход из наметившегося во II в. н. э. тяжелого кризиса [18].

---

[13] F. Blass, A. Debrunner, A Greek grammar of the New Testament, Chicago—London, 1975, стр. 4.

[14] Ср.: И. М. Тронский, Очерки из истории латинского языка, М.—Л., 1953, стр. 254.

[15] См.: A. Meillet, указ. соч., стр. 320.

[16] Этому явлению посвящено капитальное исследование: W. Schmid, Der Atticismus in seinen Hauptvertretern, I—IV, Stuttgart, 1887—1897.

[17] См.: A. Debrunner, A. Scherer, указ. соч., стр. 93—94.

[18] См.: И. М. Тронский, указ. соч., стр. 256.

Аттицисты периода второй софистики всемерно форсируют ориентацию на язык древних памятников, на тексты классических авторов, и школьные «канонические» издания. Они призывают к восстановлению в письме и речи ττ вместо σσ, ρρ вместо ρσ, предлога ἐς вместо εἰς, ξύν вместо σύν, глагольных форм аориста ἔδοσαν ἔθεσαν вместо ἔδωκαν ἔθηκαν, медиального перфекта и плюсквамперфекта τετάχαται ἐτετάχατο вместо описательных τεταγμένοι εἰσιν (ἦσαν), второго аттического склонения, двойственного числа и оптатива [19]. Издаются специальные словари, в которых отмечается, как положено и как не положено говорить и писать. В одном из них (лексикон Мойриса, II в. н. э.) указывается, например: ἄρρενα — ἄρσενα (188.22), ἦσθα — ἦς (197.34), ἴσασιν — οἴδασι (200.6), σμικρόν — μικρόν (209.33), т. е. первая форма является правильной — аттической, второй следует избегать как обиходной, разговорной [20].

Среди главных представителей литературного койне I в. до н. э. — I в. н. э. называют обычно Страбона (60 г. до н. э.— 25 г. н. э.). Автор «Географии» относится к писателям, стремящимся сохранить языковые аттицистические нормы. На это указывает наличие отклоняющихся глагольных и именных форм, использование двойственного числа, оптатива, второго аттического склонения. Тем не менее, в языке Страбона можно обнаружить и ряд явлений, связанных с койне: вместо аттического супплетивного аориста ἐρρήθην появляется пассивная форма ἐλέχθην от глагола λέγω «говорю»; классический инфинитив ὀφθῆναι от глагола ὁράω «вижу» заменяется нормализованным ὁραθῆναι; появляются многочисленные краткие формы компаратива: πλείω, πλείους, μείζω и т. д. [21]. Более близки к простонародному языку диатрибы философа Эпиктета (ок. 60—140 гг. н. э.) из фригийского города Гиераполис, известные нам по записям его ученика Флавия Арриана [22]. Важным документом, испытавшим влияние разговорного койне, является и Новый завет (I—II вв. н. э.). В то время как евангелистический текст Матфея и еще больше Марка отражает устную речь простых людей, у евангелиста Луки заметно желание приблизиться к литературной норме [23]. Во II в. н. э. резко выступает против аттицистов автор сатирических произведений Лукиан. Однако в конце II — начале III века Климент Александрийский примыкает к аттицистическому течению, восстанавливая в своих сочинениях двойственное число и оптатив [24]. В дальнейшем христианство по мере становления официальной религии проявляет все больше заботы о литературной обработке языка священных писаний.

Мнения современных исследователей относительно оценки аттицизма не одинаковы. Одни видят в нем стилистическое явление в языке художественной литературы, другие готовы квалифицировать его как отдельный язык [25]. Высказывается и суждение, что аттицизм был губительным для дальнейшей судьбы греческого языка, подорвал его последующее развитие [26].

---

[19] См.: A. Debrunner, A. Scherer, указ. соч., стр. 96.
[20] Там же.
[21] См.: F. Ştef, Particularităţi morfologice şi regimul prepoziţiilor la Strabon, «Studii clasice», XII, 1970, стр. 69—78.
[22] См.: A. Debrunner, A. Scherer, указ. соч., стр. 19.
[23] См.: F. Blass, A. Debrunner, указ. соч., стр. 2.
[24] См.: A. Meillet, указ. соч., стр. 332.
[25] Ср.: J. Frösén, Prolegomena to a study of the Greek language in the first centuries A. D., Helsinki, 1974, стр. 101. 179.
[26] Ср.: M. Marinescu-Himu, F. Vant-Ştef, Limba κοινή fază importantă în evoluţia limbii greceşti, «Analele Universităţii Bucureşti», XXIII, 1961, стр. 575.

Крайность этих высказываний очевидна. И при аттицизме и после него греческий язык продолжал свободно развиваться. Никакие усилия аттицистов не были в состоянии ни приостановить, ни существенно изменить его движение. Это относилось, главным образом, к разговорной и частично к литературной разновидности койне. В то же время возникновение аттицизма имело серьезные последствия для языка позднеэллинистической прозы. Аттицизм привел к усилению разрыва между двумя подразделениями художественной литературы: одним, ориентированным на классическую аттическую прозу и искусственно ее культивировавшим, другим, учитывавшим тенденции развития разговорного языка и не отгораживавшимся от него.

Пренебрежительное отношение аттицистов к койне в целом и к созданной на нем литературе в частности, имело своим отрицательным последствием гибель многих литературных произведений эллинистического периода. Не допускаемые в школьные программы, они — в отличие от сочинений классических авторов — не переписывались и не распространялись. Лишь благодаря папирусам удалось получить представление о ряде эллинистических писателей, действовавших на территории Египта [27].

Итак, есть основание говорить о некоторых особенностях развития койне и греческого литературного языка в позднеэллинистический период.

Во-первых, койне окончательно объединяет в одну лингвистическую общность все страны грекоязычного Востока, вытесняя с IV в. местные древние диалекты греческого языка [28]. Во-вторых, в койне происходят определенные внутренние преобразования, в которых более четко проявляются общие тенденции развития языка на всем ареале его распространения в отличие от прежнего периода, когда они были не столь ощутимыми и более или менее ограниченными территориально. В-третьих, соприкосновение койне с другими языками, особенно с латинским, приводит к заимствованию им в этот период некоторого числа иноязычных слов, оборотов и словообразовательных элементов.

Литературный язык, в свою очередь, претерпевает ряд изменений. Устная речь продолжает оказывать все более усиливающееся влияние на его развитие, что вызывает ответную реакцию аттицистов. Становится более резкой грань между языком художественной прозы, представленной писателями-аттицистами, и литературной прозой авторов, придерживающихся койне. Происходит выравнивание диалектной базы языка художественной литературы в связи с искусственным восстановлением позиции аттического и вытеснением остальных диалектов.

Позднеэллинистический период развития греческого литературного языка продолжает усиливать и закреплять основные тенденции раннеэллинистического периода. Они проявляются в стабилизации лингвистического единства койне [29], в сохранении греческим языком восточного ареала Римской империи своей самостоятельности, в нарастании внутренних, в том числе и нормализационных процессов в структуре языка и обогащении его лексики как за счет собственных ресурсов, так и путем иноязычных заимствований.

Несмотря на свою значимость и масштабность, эти изменения не приводят к нарушению целостности греческого языка или ломке его струк-

---

[27] Ср.: И. М. Тронский, История античной литературы, Л., 1957, стр. 241.

[28] Ср.: И. М. Тронский, Вопросы языкового развития в античном обществе, Л., 1973, стр. 168.

[29] Э. Риш обращает внимание на наличие в этот период и противодействующих единству тенденций; ср.: E. Risch, Il problema dell'unita linguistica greca, в кн.: «Le „Protolingue". Atti del Convegno internazionale di linguisti», Milano, 1965, стр. 101.

туры. Остается в основном стабильным и сложившееся в ранний период соотношение между литературным языком и койне, хотя происходит некоторое перераспределение их внутренних сфер влияния и частичное смещение диалектной базы в области художественной литературы. Вместе с тем, вследствие пуристической языковой политики правящих слоев рабовладельческого общества, их все большего отчуждения от народных масс, право на «литературность» получает лишь культивируемый образованный кругами язык, сохраняющий традиции классической аттической прозы. И наоборот, язык — устный и письменный, не подчиняющийся ее канонам, объявляется не литературным, не заслуживающим внимания и тем более специального изучения. Победа аттицизма, как отмечал И. М. Троцкий, запечатлелась на всей дальнейшей истории греческого языка. «Дуализм письменной аттической и живой речи... прошел через всю позднейшую античность, через средневековую письменность феодальной Византии, даже через новогреческую литературу XIX в. и, сохранившись до наших дней, продолжает служить тяжелой помехой для демократизации народного образования в современной Греции» [30].

Однако очевидно, что попытка апологетов аттицизма свести понятие греческого литературного языка эллинистической эпохи в лучшем случае к языку выдержанной в архаистическом стиле художественной литературы, ошибочна и несостоятельна. Греческий литературный язык, как ранне-, так и позднеэллинистический, охватывал не только область художественной литературы, в которой обязывало соблюдение принципов аттицизма, но и обширную область деловой прозы, написанной на койне и запечатленной в тысячах надписей и десятках тысяч папирусов, отражавших все сферы деятельности эллинистического общества. Вместе с тем, нельзя оставлять за пределами литературного языка публичные выступления и устную речь образованной и грамотной частей греческого и не-греческого населения эллинистических стран, для которых он был основным средством общения.

Есть основание, таким образом, предполагать, что греческий литературный язык вступает в византийский период своей истории [31] в двух разновидностях: письменной и устной. В первой из них обнаружилось значительное расхождение между языком аттицистической художественной прозы и языком деловой прозы, написанной на койне. Эта последняя тяготеет все более к базирующейся тоже на койне устной речи грамотных слоев общества. Размежевание письменного, с одной стороны, и устного языка, с другой стороны, становится еще более глубоким и серьезным. Литературный язык позднеэллинистического периода является второй ступенью развития греческого литературного языка эпохи эллинизма в широком плане. Он не представляет собой по отношению к раннеэллинистическому периоду качественно нового этапа и сохраняет без существенных изменений диалектную базу койне. В то же время позднеэллинистический период имеет исключительно большое значение для дальнейшей судьбы языковых отношений в греческом мире на многие столетия вперед.

---

[30] И. М. Троцкий, *История античной литературы*, стр. 241.

[31] М. Лежен определяет его начало 394 годом, т. е. окончательным разделением Римской империи; см.: M. Lejeune, Phonétique historique du mycénien et du grec ancien, Paris, 1972, стр. 9.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1980

УШАКОВ В. Д.

О НЕКОТОРЫХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ФИГУРАХ В ТРУДАХ АБДАЛЬКАХИРА ДЖУРДЖАНИ

Изучение вопросов стиля, особенностей «поэтического языка, художественной речи» [1] является одной из важных задач языкознания [2]. В рамках лингвистической стилистики особое место занимает изучение тропов, которое имеет длительную историю, восходящую к Аристотелю. Одним из ярких этапов этой истории является период расцвета арабской классической филологии (IX—XVI вв.). И если греко-римская традиция изучения тропов [3] известна в европейском языкознании достаточно широко, то теория тропов, созданная арабскими средневековыми учеными, с лингвистической точки зрения изучена и проанализирована пока еще слабо [4]. Целью настоящей статьи является ознакомление читателя с некоторыми основными понятиями и терминами арабской классической науки о красноречии (*аль-балāġа*), содержащимися в трудах одного из ведущих представителей арабоязычных ученых аббасидского периода — Абдалькахира Джурджани (ум. в 1078 г.). В статье также будет дан анализ этих понятий и терминов, определено их место и значение в истории развития науки о фигурах речи.

В разной степени вопросы о тропах затрагивались всеми арабскими учеными, писавшими о стиле. Как указывал И. Ю. Крачковский, фигуры и тропы, метафоры и метонимии, а также сравнения занимали видное место в арабской «поэтической семасиологии» [5]. Одной из наиболее ранних работ по этому вопросу можно считать труд Абу Убайды ибн аль-Мусанны (ум. 824 г.) «Маджаз в Коране» [6]. О тропах также писали Джахиз, Ибн аль-Муʿтазз, Аскари, Саалиби, Ибн Рашик (IX—XI вв.) и др. Однако в этот период, как пишет И. Ю. Крачковский, «терминология была еще колеблющейся и только пролагала свои пути» [7]. Лишь после появления таких сочинений Джурджани [8], как «Тайны красноречия в науке

[1] В. В. Виноградов, Развитие учения о художественной речи в советскую эпоху, в его кн. «О теории художественной речи», М., 1971, стр. 3.

[2] См.: В. В. Виноградов, Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика, М., 1963, стр. 165.

[3] См.: «Античные теории языка и стиля», под общ. ред. О. М. Фрейденберг, М.—Л., 1936, стр. 174—189, 215—231, 269—280.

[4] Вопросам тропов в трудах арабских средневековых ученых уделено внимание в литературоведческих работах акад. И. Ю. Крачковского, а позднее — в работах Б. Я. Шидфар и др.

[5] См.: И. Ю. Крачковский, Арабская поэзия, «Избр. соч.», II, М.—Л., 1956, стр. 253.

[6] См.: J. Wansbrough, Majāz al-Qur'ān, Periphrastic exegesis, «Bulletin of the School of Oriental and African Studies», University of London, XXXIII, 2, 1970, стр. 247—266.

[7] И. Ю. Крачковский, Ибн ал-Муʿтазз, «Избр. соч.», VI, М.—Л., 1960, стр. 92.

[8] Краткие биографические данные об этом ученом и список его трудов см в кн.: ʿAbdalqāhir Al-Ǧurǧānī, Die Geheimnisse der Wortkunst (Asrār al-Balāġa), aus dem arabischen übersetzt von H. Ritter, «Bibliotheca Islamica», Wiesbaden, 1959, стр. соответственно: 5*—11* и 12*—17*.

о ясности речи» и «Книга о признаках недосягаемого в науке о смыслах» [9], можно говорить о создании терминологической системы тропов, о том, что стилистика, как пишет Мухаммад Рашид Рида в предисловии к «Тайнам красноречия...», стала «наукой с отточенными правилами и с четкими разделами» (Asrār, Z) [10]. Выдающийся вклад Джурджани в науку о стиле отмечали такие арабские и западноевропейские ученые, как Баркуки [11], А. М. Мараги [12], Хашими [13], Г. Риттер [14], Камаль Абу Диб [15], Йоган Фюк [16], С. А. Бонебаккер [17], Дж. Вансбрух [18], М. Вайсвайлер [19], Т. Саббаг [20] и др.

Одним из отправных моментов в теории тропов Джурджани является использование им таких вспомогательных, условных понятий, как «создатель лексики», или создатель языка как набора лексических средств (*вāдиʿ 'аль-луġа*), и «создание» (нормирование, установление) лексики — (*вадʿ*) (см.: Dalā'il, 53; Asrār. 22, 303, 304, 355 и др.) [21]. Выдвигается положение о том, что слова и словесные обороты как бы предназначены кем-то изначально для тех значений, которые за ними закреплены нормой (букв. «по установлению»). Причем несущественно, кто является этим автором нормы. Саккаки (1160—1228) писал в этой связи: «Создателем может быть Аллах, всемогущий и великий, или кто-нибудь другой» [22]. В положении создателя оказывается, например, человек, дающий кому-либо имя (Asrār, 304).

Слова и словесные обороты [23] могут «употребляться так, как это установлено создателем... [Например, слово] *лев* употребляется для обозначения льва» (Asrār, 303, 304). Такое употребление слова или словесного оборота в соответствии с нормой называется хакика (*хакīка* букв. «надлежащее») (Asrār, 303). Случаи же, когда «слова и словесные обороты употребляются не так, как это установлено им изначально, в самом общем виде

---

[9] ʿAbdalqāhir, 'Al-Jurjānī, 'Asrār al-balāġa fī ʿilmi l-bayān, 5-е изд., Al-Qāhira, 1953 и ʿAbdalqāhir 'Al-Jurjānī, Kitāb dalā'īl al-'iʿjāz fī ʿilmi l-maʿānī, 4-е изд., Al-Qāhira, 1948. Обе работы подготовил к изданию и написал к ним предисловия М. Р. Рида (далее ссылки на эти труды даются в тексте).

[10] Подробнее см. предисловия М. Р. Рида к Asrār и Dalā'il.

[11] См. его предисловие к кн.: Al-Qazwīnī al-Ḫaṭīb, At-Talḫīṣ fī l-kalām fī ʿulūm al-maʿānī wa l-bayān wa l-badīʿ, Al-Qāhira, 1904, стр. 3—6.

[12] A. M. Al-Marāġī, Ta'rīḫ ʿulūm al-balāġa wa t-taʿrīf biri jālihā, Al-Qāhira, стр. 20, 100, 101.

[13] A. Al-Hāšimī, Jawāhir al-balāġa fī l-maʿānī wa l-bayān wa l-badīʿ, Al-Qāhira, 1954, стр. 47.

[14] ʿAbdalqāhir Al-Curcānī, Die Geheimnisse der Wortkunst (Asrār al-Balāġa), aus dem arabischen übersetzt von H. Ritter, стр. 1*.

[15] K. Abu Deeb, Al-Jurjānī's classification of istiʿāra with special reference to Aristotle's classification of metaphor, «Journal of Arabic Literature», II, Leiden, (E. J. Brill), 1971.

[16] J. Fück [рец. на кн.:] Abdal Qāhir Al-Ǧurǧānī: Asrār al-Balāġa, The Mysteries of Eloquence, ed. by H. Ritter (Istanbul, 1954), ZDMG, 108 (33), Wiesbaden, 1958, стр. 403, 404.

[17] Qudāma Ibn Čaʿfar, The kitāb naqd al-šiʿr, ed. by S. A. Bonebakker, Leiden (E. J. Brill), 1956, стр. 46.

[18] J. Wansbrough, указ. соч., стр. 255, 266.

[19] M. Weisweiler, ʿAbdalqāhir al-Curcanī's Werk über die Unnachahmlichkeit des Korans und seine Syntaxisch-Stylistischen Lehren, «Oriens», 11, Leiden (E J. Brill), 1958, стр. 77, 79.

[20] T. Sabbagh, La métaphore dans le Coran, Paris, 1943, стр. 24.

[21] Ср. в античной стилистике понятия соответственно о «законодателе» и «норме»; см.: Т. А. Амирова, Б. А. Ольховиков, Ю. В. Рождественский, Очерки по истории лингвистики, М., 1975, стр. 43, 45, 52.

[22] As-Sakkākī, Kitāb miftāḥi l-ʿulūm, Al-Qāhira, 1900, стр. 191.

[23] Как слово, так и словесный оборот обозначаются в арабской филологии единым термином *лафз*.

сводимы к двум явлениям: киная (*кинāйа* букв. „намек." — *У. В.*) и маджаз (*маджāз* букв. «допущение, допустимое».— *У. В.*)» (Dalā'il, 52) [24]

Маджаз — это троп, который основан на переносе (*накль*), но не совпадает с ним полностью, а представляет собой такое использование слова или словосочетания в переносном значении, при котором сохраняется связь с исходным значением. Как пишет Джурджани, «маджаз представляет собой отклонение слова или словесного оборота от того [значения], которое ему вменяется изначально» (Asrār, 342). Однако этим не исчерпывается определение маджаза. «Для того, чтобы слово или словесный оборот, который переносится от своего исходного [значения], назвать маджазом, необходимо, чтобы данное исходное при этом переносе не терялось из виду, [как бы] наблюдалось» (Asrār, 343). Джурджани разъясняет далее: «Наблюдение [исходного] означает, что имя становится маджазом в силу той или иной причины, которая связывает между собой исходное и маджаз, как, например, в случае, когда [слово] *al-yad* „рука" употребляется для [обозначения] *an-ni'ma* „благодеяние"...., которое исходит от руки» (там же).

Перенос значения, при котором утрачена связь с исходным (например, мертвая, стершаяся метафора и т. п.), Джурджани не считает маджазом. Напротив, он подчеркивает необходимость опоры маджаза на хакику. «Если ты говоришь: *я видел льва*, имея в виду „человека, подобного льву", то тебе не придет в голову сомневаться в том, что второе нуждается в опоре на первое» (Asrār, 304). Одновременное «наблюдение» маджаза и его исходного — это, в терминологии современных ученых, явление «живой семантической двуплановости», характерной, в частности, для метафоры [25]. «Наблюдение» (*мулāхаза*) — это то, что отличает маджаз от такого переноса, при котором нет связи с исходным или она утрачена, а также от омонимии. Так например, когда имя собственное образуется от имени нарицательного, следует говорить о наличии переноса, но не маджаза. Так же и в случае омонимии: *an-nahār* а) «день» и б) «птенец дрофы» (Asrār, 343, 344).

Представляет интерес указание Джурджани на то, что хакика и маджаз — понятия универсальные, применимые ко всем «словам и словесным оборотам, имеющим значение, независимо от того, принадлежат ли они арабскому или персидскому языку, созданы ли они в далеком прошлом или совсем недавно» (Asrār, 303).

Джурджани особо подчеркивает, что маджаз имеет место не только тогда, когда происходит «перенос слова от его значения», но и тогда, когда совершается «перенос слова от одного статуса к другому статусу, который для этого слова не является хакикой» (Asrār, 362). Таким образом, маджаз у Джурджани — явление межуровневое. И в зависимости от того, совершается ли «допущение» в лексическом значении слов или словесных оборотов, в процедуре ли отнесения членов предложения друг к другу, или же в изменении падежного статуса слова, Джурджани делит маджаз соответственно на: а) маджаз лексический (*лугавий* от *луга* «язык» как совокупность, набор лексических средств); например, употребление слова *al-yad* «рука» в значении *an-ni'ma* «благодеяние» (Asrār, 355); б) маджаз 'аклий ('*аклий* от '*акль* «разум») — связанный с умственной (resp. речевой) деятельностью говорящего, с актом построения высказывания. Маджаз

[24] Эти и другие термины не могут быть переведены терминами, восходящими к греко-римской традиции, ввиду несовпадения систем тропов в античной и арабской стилистике.

[25] См.: Н. Д. Арутюнова, Синтаксические функции метафоры, ИАН СЛЯ, 1978, 3, стр. 255, 257; В. Н. Телия, Вторичная номинация и ее виды, в кн.: «Языковая номинация (виды наименований)», М., 1977, стр. 202.

в этом случае заключается в необычном, «нелогичном» распределении участников ситуации высказывания в предложении, в своеобразии оформления субъектно-объектных отношений. Так, действие может быть отнесено к тому, что на самом деле не действует или не может действовать и т. п. При этом «слово не изменяется по форме и сохраняет собственное значение..., например: *и не получила прибыли их торговля* вместо *они не получили прибыли в своей торговле*» (Dalā'il, 227). Имеется в виду, что получать прибыль может человек, а не торговля; в) маджаз опущения (*хазф*) и добавления (*зийāда*) — случаи, когда опущение или добавление какого-либо слова в предложении ведет к изменению падежного статуса другого слова (Asrār, 362—368; примеры см. ниже).

Лексический маджаз распространяется на содержательную сторону высказывания, т. е. на то, о чем утверждается в предложении (*мусбат*) (Asrār, 320). Например: *я видел льва*, т. е. человека, подобного льву (Asrār, 304). Это — такой маджаз, при котором, «употребляя слово, желают передать не его значение, а значение того, что с ним смежно [26], или того, что ему подобно» (Dalā'il, 227). Лексический маджаз делится на: а) *истиʿару* (*истиʿāра* букв. «одалживание, взятие взаймы» [27]), в основе которой лежит отношение подобия, например, *море* в значении «щедрый человек» и т. п. (Asrār, 24) и б) маджаз мурсаль (букв. «отсылаемое допущение») [28], в основе которого лежат все иные виды связей и отношений, такие, как отношение части и целого: *al-ʿain* «глаз» в значении *ar-rabī'a* «соглядатай» (Asrār, 344); причины и следствия: *al-ġaiṣ* «туча» в значении *an-nabt* «растительность», *as-samā'* «небо» в значении *al-maṭar* «дождь»; смежности: *ar-rāwiya* «верблюд» в значении *al-mazāda* «поклажа») (там же); места и размещенного в нем: *al-majlis* «место сбора» в значении *al-qawm* «собравшиеся люди» (Asrār, 350) и др.

Истиʿара — это «разновидность сравнения» (Asrār, 15). Она заключается в том, что «ты хочешь сравнить одну вещь с другой, но не прибегаешь к прямому и явному сравнению, а берешь имя того, с чем осуществляется сравнение (*мушаббах бихи*), одалживаешь его сравниваемому (*мушаббах*) и употребляешь первое вместо второго. Ты хочешь сказать: *Я видел человека, он как лев по своей храбрости и силе*, но ты говоришь только: *я видел льва*» (Dalā'il, 53).

Поскольку «сказанное о маджазе относится и к истиʿаре» (Dalā'il, 356), Джурджани выражал свое настойчивое несогласие с теми учеными, которые отождествляли истиʿару и накль (перенос) (Dalā'il, 333—336) [29]. Он подчеркивал, что «истиʿара — это утверждение (*al-'iddiʿā'*) [30] за чем-либо значения имени, а не перенос имени от чего-либо» (Dalā'il, 335). Например, о человеке утверждается, что он не человек, а на самом деле лев. Джурджани указывает, что перенос имени от чего-либо к чему-либо сам по себе не создает выразительности, как, например, в случае, когда чело-

[26] Под смежностью здесь понимаются самые разнообразные связи и ассоциации.

[27] Интересно, что Цицерон тоже писал об «одалживании на стороне» в случае метафоры; см.: «Античные теории языка и стиля», стр. 216.

[28] Современный ученый Хашими объясняет определение «отсылаемое» тем, что, в отличие от истиʿары, основанной только на подобии, «маджаз мурсаль не ограничен каким-либо одним особым отношением, а отсылается ко многим видам отношений» (A. A l-H ā š i m ī, указ. соч., стр. 292).

[29] Абу Диб видит в различении истиʿары и накля преимущество концепции Джурджани перед концепцией Аристотеля, отождествлявшего метафору и перенос (см.: K. A b u D e e b, указ. соч., стр. 49, 50, 68, 75). В этом отношении нельзя не согласиться с Н. Д. Арутюновой, которая считает, что «выражение „перенос значения" в применении к метафоре недостаточно» (Н. Д. А р у т ю н о в а, Функциональные типы языковой метафоры, ИАН СЛЯ, 1978, 4, стр. 343).

[30] *'iddiʿā'* — отглагольное имя от *'iddaʿā* «притязать, претендовать (*на что-либо*), утверждать (*что-либо*)».

веку дают имя Асад, перенесенное от *'asad* «лев» (Dalā'il, 332; Asrār, 344). При исти'аре главное — «одалживание значения, которое совершается прежде, чем одалживается звуковая оболочка (*лафз*). Сначала человека включают в разряд „львов" (т. е. утверждают за ним такие качества льва, как храбрость и т. п.— *У. В.*), а затем о нем говорят, что он — лев... Именно поэтому исти'ара выразительнее, чем хакика, а если бы дело не обстояло так, то это был бы всего-навсего накль (перенос)» (Dalā'il, 332). При исти'аре задача не в том, чтобы назвать человека «львом», а том, чтобы приписать ему свойства льва, убедить собеседника в том, что этот человек — лев. При простом же переносе (например, при нарекании именем собственным, при назывании предмета именем, которое уже занято за чем-либо другим) переносится имя, звуковая оболочка, а не в значение. Перенос осуществляется из-за потребности в имени, а не значении, при исти'аре же, наоборот,—важно заимствование значения. В отличие от переноса, при исти'аре «имя не удаляется от того, для чего оно предназначено исконно, а, напротив, закрепляется за ним» (Dalā'il, 336). Так, слово *лев*, одолженное человеку, не только не удаляется от своего исконного значения, а наоборот, говорящий старается убедить собеседника в том, что это значение нисколько не изменилось от того, что оно одолжено человеку. При простом же переносе исконное значение отодвигается на второй план, а то и просто забывается по окончании акта номинации, ср. русск. *перо* (птицы) и *перо* (для письма).

Джурджани дал подробную классификацию исти'ары. Оценивая эту классификацию, К. Абу Диб подчеркивал, что она представляет «огромный интерес не только в историческом аспекте, но и отличается поразительным сходством с некоторыми классификациями двадцатого века, выработанными современными европейскими учеными, а также отсутствием в ней некоторых недостатков, присущих этим классификациям» [31]. Во-первых, Джурджани делит исти'ару на 1) «бесполезную» и 2) «полезную» (Asrār, 22). Первый вид имеет место тогда, когда два слова или больше, обозначающие нечто одинаковое, но принадлежащее разным «владельцам», употребляются одно вместо другого. Например: *aš-šafa* «губа (человека)» и *al-jaḥfala* «губа (лошади)» и т. п. (Asrār, 23, 24). И хотя при взаимных заменах в употреблении происходит как бы одалживание и имеет место перенос, Джурджани вообще не склонен считать этот вид исти'арой, но делает это, чтобы «не вступать лишний раз в спор» (Asrār, 352) [32].

Полезная исти'ара сначала «делится на два вида: первый, при котором название (*'исм*) переносится от исходного означаемого (*мусамман 'аслий*) и становится названием для чего-либо иного в порядке одалживания и преувеличения в сравнении..., например, *и взглянула на нас газель*, т. е. женщина... и второй, при котором имя забирается у своего исходного [значения] и ставится в положение, когда не обнаруживается такое обозначаемое, о котором можно было бы сказать: вот что подразумевается под этим именем..., например, в словах Лебида

Много очень холодных зорь я встречал,
Когда северный ветер брал в руки бразды их

поэт наделил *северный ветер* „рукой". Известно, что здесь не указывается на нечто такое, что можно обозначить [словом] *рука*, как это имеет место тогда, когда [словом] *лев*... обозначается человек, а [словом] *газели*— женщины» (Asrār, 34). Если вообще нельзя отождествлять исти'ару и накль (перенос), то в случае второго вида тем более «невозможно даже представить себе, что предполагается наличие переноса» (Dalā'il,

[31] K. Abu Deeb, указ. соч., стр. 48.

[32] Возможно, что Джурджани, выделяя этот вид исти'ары, следует Джахизу; см.: И. Ю. Крачковский, Ибн ал-Му'тазз, стр. 146.

334). «Бесспорно, что рука (в словосочетании *рука северного ветра.— У. В.*) — истиʿара. Однако нельзя утверждать, что слово рука перенесено от чего-либо к чему-либо и что с рукой что-либо сравнивается. Поэт захотел показать, что ветер ведет себя с ранними зорями подобно человеку, который взял в руку какую-либо вещь и делает с ней, что ему вздумается. И лишь сравнив действие ветра с действием человека при помощи руки, поэт одолжил ветру руку» (Dalā'il, 334). И в данном случае Джурджани особо подчеркивает, что «ветру одолжено не слово рука..., а значение этой части тела» (Dalā'il, 334, 335). При этом подвиде истиʿары как бы происходит «присвоение объектам „чужих" признаков» [33]. Джурджани указывает на то, что персонификация явлений природы, смерти и т. п. и наделение их частями тела — распространенный прием в арабской поэзии (Dalā'il, 334, 335) [34]. Следует отметить, что словосочетания типа *рука ветра*, *бразды зорь*, приобретя устойчивость, могут пополнить фразеологический фонд языка, например: *zimāmu l-ḥukm* «бразды правления» и т. п. [35].

Затем Джурджани проводит классификацию истиʿары в соответствии со степенью мотивированности сравнения, лежащего в ее основе, — начиная от более мотивированного сравнения в направлении менее мотивированного (Asrār, 41).

«Первый вид истиʿары,— пишет он,— такой, при котором одалживаемое слово и то, чему оно одалживается, в исходном значении принадлежат к одной и той же категории (*аль-джинс*). Например, когда хотят подчеркнуть быстроту бега, одалживают полет тому, что не имеет крыльев (полет и бег принадлежат к одной и той же категории движения)» (там же). «Второй вид подобен первому, но не совпадает с ним. Сходство в этом случае берется от такого свойства, которое имеется в исходном значении и „того, чему одалживают" (*мустаʿār лаху*), и „того, у чего одалживают" (*мустаʿār минху*). Например, *я видел солнце*, т. е. человека, чье лицо сияет от радости как солнце... Однако это общее свойство присуще двум разным категориям, например, категории человека и категории солнца» (Asrār, 46, 47). «Третий вид — подлинная, чистая истиʿара, когда сходство извлекается из постигаемых разумом образов. Например, свет одалживается ясной речи или убедительному аргументу..., которые не принадлежат к одной и той же категории и не обладают каким-либо одним и тем же известным свойством, таким, например, как храбрость, которая есть и у человека, и у льва. Общность же в этом случае заключается в том, что хороший аргумент действует на душу человека, подобно тому, как свет на органы его чувств» (Asrār, 49). Это подобие не связано ни с «категорией, ни с природным свойством, ни с инстинктом, ни с формой, ни с образом, ни с наружностью, а постигается разумом» (Asrār, 50). Данный вид, в свою очередь, делится на подвиды: а) «сходство берется от того, что наблюдается и постигается органами чувств (resp. от конкретного.— *У. В.*) и распространяется на смыслы, связанные с разумом (resp. абстрактные.— *У. В.*)... Например, одалживание света для ясного высказывания и аргумента ....б) сходство берется от постигаемого чувствами и распространяется на нечто такое же [конкретное], однако сходство между тем абстрактное (букв. «связанное с разумом».— *У. В.*)» (там же). Например, «высказывание Пророка: „Берегитесь зеле-

[33] Н. Д. Арутюнова, Функциональные типы языковой метафоры, стр. 335; см. также: В. Н. Телия, указ. соч., стр. 182.

[34] См. также: Б. Я. Шидфар, Образная система арабской классической литературы (VI—XII вв.), М., 1974, стр. 156; K. Abu Deeb, указ. соч., стр. 73.

[35] Об этом способе фразообразования подробнее см.: В. Н. Телия, указ. соч., стр. 182.

ни, выросшей на навозе". Здесь сравнивается женщина с растением. И то, и другое — конкретные тела (*аль-джисм*). Но сравниваются не цвет, вкус, запах, форма или облик и т. п., а проводится абстрактное сравнение красивой женщины дурного происхождения с растением, выросшим на навозе. И то, и другое хорошо по внешнему виду, но дурно по содержанию» (Asrār, 51, 52); в) «сходство берется от абстрактного и распространяется на абстрактное» (Asrār, 50). «Наиболее общий случай этого подвида — сравнение, связанное с наличием, отсутствием или мерой какого-либо качества» (Asrār, 57). Например, сравнение «невежества со смертью в том смысле, что польза и смысл жизни — в знаниях и в переживаниях, а если человек лишен их, то он подобен лишенному жизни» (там же). Интересно, что среди примеров на этот подвид у Джурджани есть такие языковые единицы, которые в современном языкознании относятся к разряду фразеологических. Например: «некто *живой сердцем*, т. е. понятливый, наблюдательный, способный различать правду и ложь...» (Asrār, 58).

Джурджани подчеркивал, что в основу сравнения при истиʿаре берется такой признак, который рассматривается как «наиболее характерное свойство» (Asrār, 336, 352, 360), например, храбрость, присущая льву, и т. п. Как показывает К. Абу Диб, в этом отношении Джурджани предвосхитил современный подход к классификации метафоры на основе the dominant trait [36].

Маджаз мурсаль — троп, в основе которого, как было показано выше, лежат все иные виды связей и ассоциаций, кроме отношения подобия. Причем «связи между тем, к чему осуществляется перенос (*манкӯль ʾилайхи*) и тем, от чего совершается перенос (*манкӯль ʿанху*), различаются по силе, слабости, очевидности и т. п.» (Asrār, 345), т. е. могут быть в разной степени мотивированы/не мотивированы. Джурджани особо подчеркивает, что употребление какого-либо слова в качестве маджаз мурсаль не свободно, оно возможно далеко не во всех речевых ситуациях. Так, слово «*al-yad* „рука" может быть употреблено в значении *an-niʿma* „благодеяние" только тогда, когда есть указание на источник благодеяния и на его адресат... Так, нельзя сказать *распространилась в городе рука* в значении „распространились благие дела"..., но можно сказать *его руки многочисленны для меня* в значении „он сделал для меня много благих дел"» (Asrār, 305). Следует заметить, что подобного рода ограничения в зависимости от лексико-грамматического окружения, «несвобода» употребления вообще характерны для метафор и метонимий [37], в чем заключается их отличие от омонимов. Тем не менее в словарях, приводящих метафорические или метонимические значения, обычно нелегко бывает почерпнуть информацию о характере ограничений, накладываемых на употребление слова в фигуральном значении. Например, в словарях русского языка обычно не даются сведения о том, в каких лексико-грамматических окружениях можно употребить слово *рука* в значении «человек, способный оказать протекцию», а в каких — нет (так, нельзя сказать: **эта/моя рука помогла мне*; **сколько у Петра рук в этом учреждении?* и т. п.).

Джурджани особо указывает на те случаи, когда слово *рука* обозначает «мощь, могущество» в соединении с каким-либо другим словом, т. е. в составе устойчивого словосочетания. Например: *ṭawīl al-yad* «могучий, очень сильный» (букв. «длинный рукой») [38]. Подчеркивая устойчивость

[36] См.: K. A b u D e e b, указ. соч., стр. 52, 53, 60, 74.

[37] См.: В. Н. Т е л и я, указ. соч., стр. 152.

[38] В современном языке, по свидетельству И. Аниса, это словосочетание означает «нечистый на руку»; см.: I. A n ī s, Dalālatu l-ʾalfāẓ, Al-Qāhira, 1958, стр. 122.

этого словосочетания, Джурджани пишет: «если бы ты употребил здесь вместо *al-yad* „рука“ [слово] *al-qudra* „могущество”, то совершил бы невозможное, подобно тому, как ты бы вышел за рамки разумного, если бы в выражении, принадлежащем Пророку... *самая длинная из вас рукой*, т. е. щедрая, великодушная, добрая, попытался бы употребить вместо [сло́ва] *рука* [слова́] *щедрость*, *великодушие* или *доброта*. Дело в том, что подобие извлекается из *длины* и *руки*, взятых в сочетании одно с другим» (Asrār, 308). Джурджани далее приводит еще примеры на явление маджаза в составе словосочетания: *taqaddama bayna yadayhi* «предстать перед кем-либо» (букв. «подойти между его рук») (Asrār, 308). (Интересно, что эта фразеологическая единица, взятая Джурджани из Корана, широко употребляется в современном языке.) Приведенные примеры свидетельствуют о связи процессов создания тропов с фразообразованием. Поэтому представит несомненный интерес анализ современного фразеологического материала в свете его отношения к различного рода тропам.

Маджаз ʿаклий связан не с содержанием высказывания, не с утверждаемым, а с процедурой утверждения (*ʾисбāт*), с процессом соединения (Asrār, 355) единиц языка. Он заключается в отнесении действия или свойства такому члену предложения, которому это действие или свойство не присуще в действительности. Например, *твой день постящийся* вместо *ты постишься весь день* (Dalāʾ il, 227). Поскольку «нечто утверждается за чем-либо, [маджаз ʿаклий] может иметь место только в предложении, которое есть соединение того, о чем идет речь (ḫадīс), и того, что об этом сообщается (муḫаддас ʿанху), предикативной (муснад) и субъектной (муснад ʾилайхи) частей» (Asrār, 322). Данный маджаз, в отличие от лексического (маджаза ʾидентификации), можно рассматривать как маджаз предикации [39].

Маджаз ʿаклий и маджаз лугавий могут быть употреблены независимо один от другого, а могут и совмещаться в одном высказывании. Например: а) маджаз только в утверждении (ʿаклий): *седина дней разлуки*; слово *седина* употреблено в исходном значении, а маджаз заключается в отнесении *седины* к *дням*, которые не могут иметь седины (Asrār, 320); б) маджаз только в утверждаемом (лугавий): *оживить* в значении «обратить в праведную веру» в кораническом высказывании «или тот, кто был мертвым (т. е. немусульманином.— *У. В.*), то мы оживили его» (Asrār, 320, 321); в) маджаз и в утверждении и в утверждаемом: *меня оживило лицезрение тебя*, т. е. я обрадовался тому, что вижу тебя; сначала *радость от лицезрения* передается через жизнь (маджаз лугавий), а затем лицезрение ставится в положение субъекта (*фāʿилатун*) по отношению к *жизни* (маджаз ʿаклий) (Asrār, 321).

Как и Абу Убайда ибн аль-Мусанна [40], Джурджани выделял маджаз опущения. Например, вместо того, чтобы сказать *и спроси жителей деревни*, говорят *и спроси деревню* [41]. При этом слово *деревня* оказывается в винительном падеже (маджаз), тогда как исходно оно должно было бы стоять в родительном (Asrār, 362). Джурджани подчеркивает, что маджаз заключается не в опущении компонента словосочетания, а именно в изменении падежного статуса слова. Так, в предложении *Зейд отправляю-*

[39] Перераспределение субъектно-объектных отношений в акте предикации в направлении от исходного, прямо выраженного к вторичному, идиоматичному, было и остается распространенным художественным приемом, которому в лингвостилистике, как нам кажется, не уделяется достаточно внимания. Например: *он не молил* (*своими губами*) *о подаянии* (исходное) → *его губы не молили о подаянии* (вторичное) и т. п.

[40] См.: J. Wansbrough, указ. соч., стр. 248, 265, 266.

[41] Этот и другой пример (*дорога* в значении «люди дороги, путники») представляют собой и лексический маджаз как результат переноса от места к размещенному в нем, но Джурджани рассматривает здесь только маджаз статуса слова.

щийся и Амр опущено именное сказуемое (к подлежащему *Амр*), но поскольку это «не ведет к изменению статуса оставшихся слов, здесь нет маджаза» (Asrār, 362).

Аналогичным образом и маджаз добавления имеет место только тогда, когда добавление какого-либо компонента приводит к изменению статуса того или иного слова. Например, в предложении «*laisa kamiṯlihi šai'un* (букв. «отсутствует что-либо сходное подобию его».— *У. В.*) родительный падеж слова *al-miṯlu* „подобие" — маджаз, потому что исходное — это винительный падеж» (Asrār, 363).

Следует обратить внимание на то, что родительный падеж здесь вызван частицей подобия *ка*, которая избыточна. Если бы не было этой частицы, то был бы винительный падеж.

Значительное внимание Джурджани уделял сравнениям [42], которые он делил на «очевидные и не нуждающиеся в толковании... например, *щеки как розы* (Asrār, 70, 71) и на «такие, в которых сходство обнаруживается в результате некоторых размышлений... например, *аргумент как солнце по своей очевидности*» (Asrār, 71, 72). Оба эти вида сравнения называются *ташбих* (resp. мотивированные сравнения). И, наконец, Джурджани выделял *тамсиль* — сравнения, «постигаемые разумом, извлекаемые из совокупности обстоятельств» (Asrār, 80), «...нуждающиеся в толковании... [например], *а они как литое кольцо, у которого неизвестно, где начало, а где конец* [т. е. они равны по своим достоинствам]» (Asrār, 74). Особо Джурджани отмечает такой «тамсиль, который является маджазом, поскольку он употребляется как истиʿара [т. е. без частицы сравнения], например, высказывание о колеблющемся человеке: *я вижу, что ты выдвигаешь одну ногу вперед, а другую отставляешь назад*» (Dalā'il, 54).

Следующей стилистической фигурой является киная. Она заключается в том, что «говорящий, желая передать какое-либо значение, выражает его не с помощью слова или словосочетания, которое предназначено для этого смысла в языке, а прибегает к другому значению, которое сопровождает первое, а затем указывает с помощью этого второго на первое. Например, говорят *у него длинная перевязь для меча*, желая сказать «высокий ростом», и говорят *много золы под котелком*, имея в виду «щедрое гостеприимство»... Ведь если рост — высокий, то и перевязь для меча — длинная, если гостеприимство — щедрое, то и золы под котелком много» (Dalā'il, 52).

Нельзя сказать, что у Джурджани содержится достаточно подробный анализ этого тропа. Однако четкое определение, которое Джурджани дал кинае, послужило той основой, которая позволила другим ученым и, в частности, Тафтазани (1321—1389) подробнее описать этот троп. Так, Тафтазани обратил внимание на то, что в случае кинаи, в отличие от маджаза, «могут одновременно подразумеваться как прямой смысл высказывания, так и то свойство, на которое содержится намек» [43]. Второе отличие кинаи [44] от маджаза Тафтазани видел в том, что при кинае проис-

---

[42] О сравнениях в арабской филологии см.: В. Д. Ушаков, Компаративные единицы в арабской классической филологии, «Сборник статей по языкознанию», М., 1979, 12 (16).

[43] S. At-Taftazānī, Muḫtaṣar al-maʿānī, Qizṭāšī, 1889, стр. 278 (литограф. изд.).

[44] Частным случаем кинаи является эвфемизм. См. у Саалиби (ум. 1037): «намек на то, упоминание чего непристойно, с помощью того, что благозвучно... [например] *покрывать* в значении „совершать половой акт"» (Aṯ-Ṯaʿālibī, Fiqh al-luġa wa sirru l-ʿarabiyya, Al-Qāhira, 1952, стр. 592—593). Киная может служить источником таких эвфемистических фразеологизмов, как араб. *переместиться по соседству к господу своему*, т. е. умереть (там же, стр. 594).

ходит переход от внешнего, случайного признака субъекта к его существенному, отличительному, характерному свойству (букв. от «сопровождающего» к «сопровождаемому»), например, «от длины перевязи для меча к длине роста. А при маджазе имеет место переход от сопровождаемого к сопровождающему, как например, от тучи к растению и от льва к храбрости... При кинае упоминается нечто сопровождающее, следующее за чем-либо, а подразумевается сопровождаемое, а при маджазе — наоборот»[45].

В заключение следует отметить, что Джурджани удалось разработать стройную систему стилистических понятий и терминов[46], создать оригинальную теорию тропов, оказавшую заметное влияние на взгляды более поздних арабских ученых, таких, как Саккаки, Тафтазани и др.

Важную роль в концепции Джурджани играет различение тропов и собственно переноса. В процессе образования тропов главную роль играет перенос значения, а не формы, в случае же собственно переноса существенно перенесение словесной формы к новому значению, понятию и т. п.

Представляет интерес внимание Джурджани к такому свойству наиболее важной стилистической фигуры — маджаза, как семантическая двуплановость, и его указание на факты лексико-грамматических ограничений, которые имеют место в процессе употребления этого тропа и т. п. Заслуживает внимания подход Джурджани к маджазу как к явлению межуровневому[47] и связанное с этим различение маджаза утверждения (предикации) и утверждаемого (идентификации). У Джурджани маджаз исследуется на лексико-семантическом уровне, на уровне предикации (актуального синтаксиса) и на морфологическом уровне. Как было показано выше, маджаз этих уровней может совмещаться. Маджаз лексико-семантического уровня (лексический) включает в себя исти'ару — троп метафорического характера — и маджаз мурсаль — троп метонимического характера. Однако эти фигуры не совпадают ни с метафорой, ни с метонимией, так как они ограничены только словами и словесными оборотами, обладающими семантической двуплановостью.

Большое значение имеет классификация исти'ары, разработанная Джурджани. Оригинальна его трактовка этого тропа как результата такого акта, при котором главную роль играет приписывание чему-либо какого-нибудь смысла, а не перенос словесной оболочки.

Весьма существенно и то, что Джурджани разграничивает маджаз и кинаю. Последний троп представляет собой фигуру метонимического характера, которому может быть свойственна двузначность — совмещение в означаемом как случайного признака субъекта, так и его характерного свойства.

Труды Джурджани по вопросам стиля представляют бесспорный интерес для понимания процессов создания тропов, слово- и фразообразования. Они имеют не только познавательное, историческое значение, но могут явиться благоприятной основой для решения целого ряда проблем, стоящих перед современной семасиологией и лингвостилистикой.

---

[45] At-Taftazānī, указ. соч., стр. 377—378.

[46] На наш взгляд, было бы интересно исследовать соотношение античной греко-римской и арабской классической систем тропов.

[47] Такой подход к маджазу можно сравнить с взглядом некоторых современных лингвистов на явления идиоматичности или фразеологичности как на свойства языка, наблюдаемые на разных уровнях; см. об этом: Н. А. Янко-Триницкая, Фразеологичность языковых единиц разных уровней языка, ИАН СЛЯ, 1969, 5, стр. 429, 436; В. Д. Ушаков, Идиоматичность как свойство языка на разных уровнях (на материале арабского и других языков), «Народы Азии и Африки», 1970, 3.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1980

ПОРОХОВА О. Г.

О ЛЕКСИКЕ С НЕПОЛНОГЛАСИЕМ РУССКОГО ДИАЛЕКТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В русских народных говорах употребляется немало слов в неполногласной огласовке. Установление этого факта, интересного для русистики с различных точек зрения [1], влечет за собой необходимость определить, что из этой лексики заимствовано в говоры из русского письменного или непосредственно из церковнославянского языка, с которым говоры, как известно, имели многовековой контакт через церковное богослужение и старинную письменность, очень популярную в дореволюционной деревне, и что образовалось в самих устных формах русского языка, в том числе в диалектах. Вопрос этот чрезвычайно важен не только для исследования состава современной диалектной лексики, где даже само наличие лексики старославянского происхождения оставалось до недавнего времени почти неизвестным. Его решение представляет большой интерес и для изучения истории русского языка, старославянские включения в устные формы которого до сих пор еще не привлекали внимания исследователей. Здесь следует сделать еще очень многое.

Выделение из лексики с неполногласием, известной в говорах, слов, образованных на основе старославянских морфем в самих диалектах,— дело особенно сложное. Семантические и морфемные средства старославянского и русского языков в кругу образований с неполногласием и восточнославянской полногласной перегласовкой достаточно близки. Поэтому установить критерии выделения слов, образованных со старославянскими неполногласными корнями непосредственно в самом русском языке, очень трудно даже для языка письменного. В. В. Виноградов считал проблему их выделения одной из самых сложных и неразработанных в истории русской лексики [2]. В отношении к говорам, как и устным формам русского языка в целом, эта задача особенно усложняется, поскольку история употребляющейся здесь лексики не может быть прослежена по памятникам письменности. К тому же в разработке вопросов образования диалектных слов на основе старославянских корневых морфем нет исследовательского опыта. Ф. П. Филин пишет: «Предстоит огромная работа по выявлению неполногласных слов, доставшихся нам непосредственно из старославянского (древнеболгарского) источника..., из церковнославянского языка и из русской народно-разговорной речи» [3]. В предлагаемой статье делается первая попытка рассмотреть соответствующий материал.

---

[1] См. рассмотрение круга проблем, связанных с этой лексикой: О. Г. Порохова, Полногласие и неполногласие в русском литературном языке и говорах. АДД, М., 1978.

[2] В. В. Виноградов, Основные вопросы и задачи изучения истории русского языка до XVIII в., ВЯ, 1969, 6, стр. 10.

[3] Ф. П. Филин, Исконное и заимствованное в современном русском литературном языке, в кн.: «Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации», М., 1978, стр. 416.

Выделение в говорах слов с неполногласием собственно диалектного происхождения должно производиться, видимо, комплексно, с двух точек зрения. С одной стороны, среди диалектной лексики с неполногласием нужно выявить слова с приметами, характерными для устных форм русского языка в целом. С другой — слова с неполногласием, имеющие специфически диалектные особенности, а также черты, присущие в говорах непосредственно самой лексике с неполногласием. Анализ слов этих двух групп пока может быть сделан лишь в самом общем виде. Первая выделяется нами на основе некоторых фонематических, семантических и морфемных особенностей устной русской речи. Вторая — с учетом специфически диалектных семантических, морфемных и лексических признаков [4]. Кроме того, имеется в виду характер употребления слова в древнерусских памятниках, а также широта его территориального распространения и частота фиксации в говорах. Устный характер происхождения слова, известного в диалектах, может быть подтвержден отсутствием или жанровой ограниченностью употребления его в древнерусской письменности. Возникновение слова в самих диалектах подтверждается тем, что оно встречается в записях лишь отдельных собирателей и территориальной ограниченностью его распространения.

Обратимся к рассмотрению слов с особенностями, характерными для лексики устных форм русского языка в целом. Среди них, безусловно, есть и лексика собственно диалектного происхождения.

Одна из фонематических примет беглой устной речи — существенная фонетическая редукция слова. Трансформациям этого рода очень способствует отсутствие письменной фиксации речи. Рассмотрим случаи редукции корневой морфемы слова, при которой происходит образование самостоятельной лексической единицы.

В говорах зафиксированы слова с утратой конечного согласного в корне *нрав-*: *зандра́ться* «понравиться» (*Не зандралось в том доме* — Вельск. Арх., 1957), в корне *храбр-*: *хра́бач* «удалой человек» (прозвище) (Черепов. Новг., 1910). Слово с выпадением целого слога в корне *влад-*: *невлашно́й* «потерявший силу, способность двигаться» (Ветл. Костром., 1910), ср. *невладышно́й* в том же значении (Покр. Влад., 1905—1921). Можно думать, что среди лексики с изменениями такого характера есть слова, образованные непосредственно в самих диалектах. Обратим внимание на то, что указанные выше лексемы зафиксированы отдельными собирателями на ограниченной территории. Немаловажно также, что в древнерусских памятниках они неизвестны.

Фонематические преобразования и упрощения в беглой устной речи могут быть обусловлены живыми фонетическими процессами, общими для всех сфер русского языка, однако в литературном языке остающимися обычно на уровне речи. Например, упрощение групп согласных в бесписьменных формах языка может привести к образованию самостоятельных морфов корня, встречающихся в лексемах, в которых отсутствует фонетическая позиция, вызвавшая упрощение. Ср. в диалектах слова с морфом

[4] В работе использованы материалы трех диалектных картотек: КОС — картотека «Словаря русских народных говоров» (Институт языкознания ЛО АН СССР, Словарный сектор); ПОС — картотека «Псковского областного словаря» (Ленинградский университет); ДОС — картотека «Словаря современного русского народного говора» под ред. И. А. Оссовецкого, М., 1958 (Ин-т русского языка АН СССР); ДРС — картотека «Словаря русского языка XI—XVII вв.» Ин-та русского языка АН СССР; И. И. Срезневский, Материалы для Словаря древнерусского языка, I—III, СПб., 1893—1903. Материалы из КОС даются без ссылки на нее, а только с географическими пометами и годом первой фиксации слова в этой картотеке. Сокращения географических помет соответствуют «Словарю русских народных говоров» (см. вып. I, составил Ф. П. Филин, М.—Л., 1965).

корня *слад-сласт-*: *сласти́ха* «льстец, подлипало» (Пск., Осташк. Твер., 1855), с упрощением группы согласных *сла́с/т/ник* «лакомка» (Нижегор., 1852) и слова с преобразованием *сласт-* в *слас-* не перед согласным: *сла́советь* «съесть лакомое», *сла́сить* «выпросить лестью» (оба записаны в Пск., Осташк. Твер. одним собирателем в 1855 г.). Полногласный вариант с таким преобразованием сохранился в тульском диалекте в словах *солоси́ть* (< *солостить*) «многословно бесстыдно льстить». Отсюда фамилия *Соло́син* (от *соло́са* «тот, кто солосит», с иным удар. *солоса́*). В литературном языке сохранение звучания морфа *сласт-* достигается нормативно обусловленным соединением его только с суффиксами, начинающимися на гласный звук, например, *сластить* [5].

Употребление слов с морфом *слас-* лишь в устных сферах русского языка подтверждается тем, что в древнерусских памятниках они не отмечены. Можно также думать о возможности их образования в самих диалектах, так как зафиксированы они только одним собирателем диалектной лексики.

Семантические признаки, характерные для устных сфер русской речи, рассмотрим на примере слов, обладающих экспрессивностью такого характера, который обычно несвойственен образованиям с неполногласием в нормативном литературном языке, это слова-прозвища, характеристики и бранные слова: *блажь* «вздорный и безалаберный человек» (Яросл. 1853. Самар., Костром.), *враго́вка* «бран. чертовка» (Колым. Якут., 1901), *вражо́н* «неугомонный ребенок» (Новг., Даль), *вражо́к* «бранное слово» (Волог., 1902. Новг.), *сладкомо́рдый* «разборчивый в еде» (Моск., Яросл., 1858), *сладёха* «любитель/ница/сладкого» (ДОС), *сластёха* в том же значении (Пск., Осташк. Твер., 1855), *слащёна* в том же значении (Том., 1964), *слас/т/ноёга* в том же значении (Моск., 1963), *сластоёжница* в том же значении (ДОС), *сластёна* «легкомысленная женщина» (Пск., Твер., Якуб. [6]), *сластёна* «человек с чувственными наклонностями» (Кадуйск. Волог., 1960), *странь* «ни к чему не годный человек» (Перм., 1852), *странь* «дурак» (Перм., Вят., Арх., Даль), *странь* «развратный человек» (Вят., 1848. Киров., Перм., Волог.) и мн. др.

Подобные слова, как правило, не встречаются в древнерусских памятниках. Наличие лексемы *блажь* «вздорный человек» в комедии XVIII в.[7] только подтверждает его устное происхождение.

Морфемные особенности слова, указывающие на его образование в устных сферах русского языка, рассматриваются на примерах лексем, включающих аффиксы, которые определены как аффиксальные средства русского просторечия уже для XVIII в. [8]. В современном литературном языке эти аффиксы встречаются также в словах разговорных и просторечных (обычно экспрессивных) или они непродуктивны. Органичность использования этих морфемных средств в диалектах подчеркивается наличием здесь полногласных образований с теми же аффиксами, иногда дублетов к рассматриваемым неполногласным.

Слова с суффиксами, обозначающими лицо по качеству, признаку: *-ай*: *сладкоба́й* «льстивый и сладкоречивый человек» (Волог., 1902) (см. литерат. *негодяй*), ср. диалектное полногласное *молода́й* «молодой здоровый человек» (Осташ. Твер., Пск., 1855); *-ень*: *мла́день* «младенец» (Перм.,

---

[5] См. об этом подробнее: О. Г. Порохова, О лексике с неполногласием и полногласием в русских говорах, ч. III., сб. «Диалектная лексика. 1974», Л., 1976, стр. 66—67.

[6] Л. П. Якубинский, История древнерусского языка, М., 1953, стр. 117.

[7] Картотека «Словаря русского языка XVIII в.» Ин-та русского языка АН СССР, г. Ленинград.

[8] Г. П. Князькова, Русское просторечие второй половины XVIII в. Л., 1974.

1852. Урал., Арх., Олон., Волог.) (см. литерат. *баловень*, *сидень*), ср. *мóлодень* в том же значении (Волог., 1844. Влад.); *-ыш*: *млáдыш* «младший сын или брат» (Осташк. Твер., 1855), *млáдыш* «младенец» (Осташк. Твер., 1855) (см. литерат. *оборвыш*, *выкормыш*); *-ица*: *сластóежница* «любительница сладкого» (ДОС), *сластнúца* в том же значении (Нижегор., 1852), *влáстница* «своевольница» (Орл., 1902) (см. литерат. *пьяница*), ср. *посторóнница* «посторонняя женщина» (Волог., 1937) и под., *-ена*: *сластёна* «человек с чувственными наклонностями» (Кадуйск. Волог., 1960), *слащёна* «любитель/ница/сладкого» (Том., 1964).

Глагол с *из-* + *ся* в значении «приобрести привычку или свойство в результате частого и длительного действия»: *исстранúться* «стать неряшливым, ленивым» (Вят., 1892) (см. литерат. *изолгаться*, *изнервничаться*). Показанные в этом разделе диалектные слова в древнерусских памятниках не встречаются.

Наличие у диалектных лексем с неполногласием фонематических, семантических и морфемных признаков, характерных для устных форм русского языка, свидетельствует о русском устном происхождении многих образований подобного рода. Среди них, безусловно, есть и собственно диалектная лексика, которая, видимо, не ограничивается той, о которой как о диалектной говорилось выше.

Рассмотрим диалектные слова с неполногласием, тематически связанные с деревенской жизнью. Такая лексика может быть заимствована в русский язык из церковнославянских памятников. Подобные заимствования во многих случаях стали стилистическим резервом книжных сфер русской письменности. Проникнув в диалекты, они начали использоваться здесь как обиходно-бытовые обозначения наряду с соответствующей полногласной лексикой, иногда образуя с ней дублеты. Однако некоторые из слов этой группы, особенно с конкретизированной семантикой, возможно, образовались в самих русских диалектах или получили здесь отличающиеся от литературных значения.

Слова, обозначающие деревенские постройки: *загрáда* «неутепленный сарай для скота» (ПОС), *огрáда* «двор» (Перм., Вост. Сиб., 1852. Тобол., Приангар., Байкал., Енис., Краснояр., Тюмен., Том., Вят.), *огрáда* «часть двора, расположенная около улицы» (Вят., 1894. Каин. Том., Челяб., ПОС), *огрáдка* «огороженный двор около избы» (Енис. Енис., 1902, Том., Кемера.). Ср. полногласные формы *загорóда*, *загорóдка* (Тул.).

Слова, обозначающие предметы деревенского быта: *главлéвище* «ручка граблей» (Волог., 1902), *отрéбыш* «пакля» (ПОС), *отрéби* «отходы от чесания льна» (Новосиб., 1966), *прибрéжник* «род рыболовной сети» (Олон., 1885—1898), *сластёна* «гриб» (Мещов. Калуж., 1916), *сластёха* «желтая сыроежка» (Пск., Архив АН), *слáща* «рожь, давшая ростки, использующаяся для приготовления солода» (Волог. Волог., 1902) и под. Другие слова, связанные с деревенской жизнью: *брáшенье* «вспаханное поле» (Олон., 1885—1898), *завладáнье* «грибное или ягодное место, принадлежащее тому, кто его нашел первым» (Петров. Сарат., 1960—1961), *крáля* «женщина с некрестьянскими манерами» (Петрозав. Олон., 1885—1898. Брян., Волог.), *прáздница* «группа деревень, празднующая определенный престольный праздник» (Пск., Осташк. Твер., 1855), *прáзднищина* в том же значении (Пск., Осташк., Твер., 1855), *прáздницкое* «село, где празднуют престольный праздник» (Новг. Новг., 1877), *привратник* «сторож у ворот поскотины» (Сиб., 1958), *стрáнний* «не из этой деревни» (Калуж., Тамб., Орл., Даль; ДОС). Все они не известны нам в древнерусских памятниках. Обратим внимание на конкретизированные *главлéвище* «ручка граблей», *сластёха* «желтая сыроежка», *завладáнье* «грибное или ягодное место» и др., которые встретились лишь в отдельных диалектных

записях, что еще раз подтверждает возможность их образования в самих русских говорах.

Для выделения в лексике с неполногласием, записанной в говорах, слов, образованных в диалектах, рассмотрим некоторые из специфически диалектных семантических, морфемных и лексических ее особенностей. Надо заметить, однако, при этом, что специфика диалектной лексики в отличие от лексики других сфер русской устной речи изучена недостаточно.

Для диалектной семантики характерны иные, чем в литературном языке, признаки денотата, связанные с различием набора привычных ассоциаций и круга представлений у носителей диалектов и литературного языка, поскольку в основу номинации обычно выбираются признаки, не типичные для денотата, а бросающиеся в глаза в данном коллективе, что было замечено В. И. Лениным [9].

В говорах значения слов характеризуются бо́льшими, чем в литературном языке, ассоциациями с внешними признаками денотата, т. е. признаками, воспринимаемыми органами чувств — зрением, слухом и т. д. В литературном языке более часты ассоциации с психическим состоянием человека. В диалектных производных значениях прозрачна связь с вещественными производящими, использующимися метонимически или метафорически. В диалектной семантике много ассоциаций по эмоциональной смежности, т. е. переносов наименования на такой предмет действительности, который вызывает сходные с первым эмоции, часто без учета их денотативной и логической соотнесенности. Разного рода ассоциации по смежности (прежде всего перенос ассоциаций на вещь, пространственно сосуществующую с денотатом) характерны для диалектного развития значений. Иногда в основу переноса берутся признаки денотата, не выраженные в производящем значении или вообще принадлежащие не ему. Все эти виды значений имеются и в литературном языке, но здесь их значительно меньше.

Видимо, есть основания считать возникшим в диалектах значение слова *тре́звый* «подвижный, выносливый» (ДОС) (в противоположность *пьяному* — «неподвижному и слабому»), которое отличается от литературных переносных значений лексем этого гнезда тем, что имеет в виду внешние, а не внутренние качества человека, находящегося не в состоянии опьянения. Ср. литерат. *трезвый* «здравый, рассудительный» (*трезвый взгляд на вещи*) и *отрезвлять* «возвращать к здравому пониманию происходящего». Диалектное значение слова *трезвый* отмечено лишь в одной деревне.

Опосредствованными, ассоциирующими перенос с наиболее конкретной частью содержания производящего, являются производные от «сладкий» значения диалектных лексем с корнем *слад-* (записаны в Пск., Осташк. Твер. в 1855 г.), *сласть* «удовольствие», *сласти́ха* «льстец, подлипало» (тот, кто доставляет кому-либо какое-либо удовольствие с корыстной целью) и *сла́сить* «выпросить лестью». Соответствующее развитие исходной семантики «сладкий» в этих же говорах отмечается в образовании с полногласием *подсола́живать* «льстить», зафиксированном тем же собирателем в том же году. Это подтверждает диалектное происхождение указанных неполногласных слов, из которых *сла́сить* имеет и фонематическую особенность устных сфер русского языка.

Приведем примеры переносных значений, основанных на признаках, принадлежащих не денотату, а смежному явлению действительности. *При-*

[9] В. И. Ленин, Философские тетради, Полн. собр. соч., 29, стр. 74. Здесь, в работе 1914 г., В. И. Ленин особо подчеркивает соответствующее высказывание Фейербаха.

гласи́тельный «гостеприимный» (Крив., Колп. Том., 1964), *пригласи́тельный* «вежливый» (Краснояр., 1961) (когда кого-либо приглашают к себе, то бывают гостеприимными и вежливыми), *запра́здновать* «начать бездельничать, проводить время праздно» — по смежности со значением «праздник» (*Ты опять запраздновал* — Вытегор. Олон., 1902; *Вот уж несколько дней, как он запраздновал* — Углич. Яросл.). Значения этих слов, образованных от общенародных *приглашать* и *праздновать*, также есть основания считать принадлежащими самим диалектам.

Значения, возникшие по смежности эмоционального восприятия предметов действительности, имеются во многих образованиях с неполногласием, зафиксированных в диалектах. См. в гнезде с корнем *враг-* слово *враг* «зверь, хищник» (ПОС) и *враг* «плохой человек» (ПОС), сюда же *вражáться* «совершать дурные оскорбительные поступки, сопровождая их угрозами» (Смол., 1914). Ср. полногласное *ворогова́ть* «делать зло, вредить» (Даль—без указ. места). См. значения такого рода в словах с другими корнями в неполногласной форме: *вре́дный* «болезненный» (*У меня тело очень вредное* — Покр. Влад., 1910. Волог., ПОС) (по смежности с вредом, причиняемым болезнью), *вре́да* «тяжелые условия» (ПОС) (то, что причиняет вред?), *перебра́нка* «неудовольствие» (Пск., Осташк. Твер., 1855) (чувство, сходное с тем, которое бывает при ссоре, ругани?), *запре́ка* «досада» (Олон., Архив РГО — в песне) и в *запреку́* «обидно, неприятно» (Белозер. Кирил. Новг., 1896. Север., Арх., Олон.) (по ассоциации с неприятным ощущением, которое бывает при упреках?); *страмоти́ща* «о чем-либо, вызывающем неприятные ощущения, отвращение» (ПОС, также Тул.) [10], с которым семантически связаны *страмно́й* и *страмотно́й* «неприятный, вызывающий отвращение» (ДОС). Значение этой семантической линии в гнезде корня *срам-* конкретизировано в сл. *срам* «грязь, сор» (Елан. Свердл., 1941—1942) и *срам* «сор, попадающий в сеть» (р. Обь, 1968).

Смешение действия коммуникативных органов человека лежит в основе семантики слова *гла́ситься* «слышаться» (Брян. Орл., 1904, Щигр. Курск.), где значение «говорить» (от *голос*) смешано со «слышать». Дальнейшее развитие, основанное на смешении того же рода: *гла́си́ться* «казаться, представляться, мерещиться» (Орл., Даль, Курск.).

Несомненно, что многие из названных слов образовались в самих диалектах. В древнерусских памятниках в таких значениях они нам неизвестны. Интересны отличия их значений от тех, в которых они в памятниках фиксируются. Например, *трезвый* (в диалектах — «подвижный и выносливый») зафиксировано у Срезневского в значении «крепкий (об уме)»; *засрамить* (в диалектах «*загрязнить*») (в Библ. Генн. 1499—ДРС) употреблено в значении «устыдить».

Семантические признаки этих слов в памятниках сходны с теми, которые характерны для современного литературного языка, а не для диалектов: они далеки от вещественно-конкретных представлений. Это еще раз подчеркивает диалектную специфику семантики лексем, зафиксированных в говорах.

---

[10] Протетическое *т* в корне *срам-* в этом слове — также одна из примет устных сфер русского языка. См. еще подобного рода фонематические приметы, характерные для устных сфер русского языка, встретившиеся в словах с неполногласием, записанных в диалектах: протетическое *д* в корне *нрав-*: *ндра́вничать* «капризничать» (Холмог. Арх., 1907), *зандра́вить* «полюбить» (Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963), замена *х* на *к* в корне *хлад-*: *проклажда́ть* «охлаждать» (Холмог. Арх., 1907), *проклажда́ться* «жить в достатке, роскоши» (Молож. Яросл., 1849), *прокла́дство* «медлительность, неповоротливость» (Волог., 1902) и т. д. Фонематические изменения подобного рода не делают заключающие их слова самостоятельными лексическими единицами. В статье они специально не рассматриваются.

При выделении лексики с неполногласием, возникшей в диалектах, основанном на специфически диалектных морфемных признаках, будут рассмотрены слова с аффиксами трех групп: 1) теми, которые известны и в современном литературном языке, но в других словообразовательных моделях; 2) аффиксами, отличающимися от литературного языка по значениям; 3) аффиксами, отсутствующими в литературном языке.

В первой группе отметим существительные, образованные от глагольных основ с суффиксом *-ье* со значением места, предназначенного для какого-либо действия: *завладáнье* «грибное или ягодное место, принадлежащее тому, кто его нашел первым» (Петров, Сарат., 1960—1967). В литературном языке этот суффикс встречается в отдельных словах, образованных от основ прилагательных и существительных (*зимовье* и под.) [11]. Сюда же относится существительное общего рода с суффиксом *—х(а)* в бесприставочном слове, обозначающем лицо, производящее действие [12], *бранúха* «человек, любящий браниться» (Волог., 1842. Новг.). В литературном языке существительные с суффиксом *-х(а)* образуются только от префиксальных глаголов с несколькими корнями. Они соотносятся с диалектными словами тем, что связаны с просторечием и разговорными сферами (*выпивоха*, *растеряха*).

Сюда же принадлежат суффиксы *-ущ*, *-м-* и *-н*. В говорах они имеются в экспрессивно-оценочных прилагательных, характеризующих свойство, качество предмета, без значения времени, вида, залога и зависимых слов, иногда образованных от непереходных глаголов [13]. См. прилагательное с суффиксом *-ущ*, обозначающее высокую степень признака, свойства, *сладýщий*, *сладущóй* «очень сладкий» (ДОС), прилагательные с суффиксом *-м-* в значении качества: *сладúмый* «сладковатый» (Даль — без указ. места; ДОС), *слатúмый* «сладковатый» (Урал., Слов. Карт. ИРЯЗ), *сластúмый* «сладковатый» (Волог., 1847, Казан., Яросл., Пск.). Им соответствуют диалектн. глаголы *сладúть* «иметь сладкий вкус» — ДОС, *сластúть* в том же значении — Сиб., 1968. Качественные прилагательные с суффиксом *-н-*: *влáданый* «бывший в употреблении, подержанный» (Дон., 1901), *понрáвный* «почтительный» (Пск., Осташк. Твер., 1855), которое сравним с *понрáвить* «угодить» (Бирск. Уфим., 1849. Амур.), *слáженый* «сладкий» (Смол., Якуб.), *врежёный* «больной, испорченный сглазом» (Тобол., 1854).

Диалектные слова второй группы рассмотрим на примере существительных с суффиксом *-ня* в экспрессивном слове-характеристике лица, образованном от прилагательного [14] *вражий—вражня* «нечистая сила», (Вят., 1915) и суффиксом *-ина* от основы существительного со значением одной части чего-либо [15]; *огрáдина* «деталь забора, ограды» (Вилегод. Арх., 1958). См. также *загрáдина* «естественная преграда» (ПОС).

Из слов с аффиксами, отсутствующими в литературном языке, укажем наречие с приставкой *во-* в значении неполноты качества [16] *вóсладко* «не очень сладко» (Свердл., 1960).

---

[11] И. П. Глотова, К вопросу о диалектном использовании суффиксов *-je* и *-jo*, сб. «Вопросы русского языкознания», Саратов, 1961, стр. 55.

[12] О. И. Блинова, Заметки о морфологическом варьировании в говорах, «Уч. зап. [Томского гос. ун-та]», 1965, 57, стр. 19.

[13] Г. Я. Симина, Отглагольные имена прилагательные в севернорусских говорах, сб. «Псковские говоры», III, Псков, 1973.

[14] О. И. Блинова, указ. соч., стр. 19.

[15] Г. В. Луканина, Словообразовательные типы имен существительных Талицкого говора и их характеристика в сопоставлении со словообразовательными типами литературного языка. АКД, Горно-Алтайск, 1972, стр. 15.

[16] Л. В. Сахарный, Наречия и прилагательные с префиксом *во-* в говорах Свердловской области, «Уч. зап. [Уральского гос. ун-та]». 36, Свердловск, 1960.

Все рассмотренные аффиксы характерны для современной диалектной лексики, в том числе с полногласием. К некоторым из приведенных выше слов можно указать диалектные дублетные образования с полногласием: *огорбдина* «тонкое бревно» (Усол. Перм., 1852. Перм.), *зáгородина* «жердь, планка изгороди» (Пск., Осташк. Твер. 1855).

Уже само наличие неполногласных слов в лексике со специфически диалектными морфемными признаками свидетельствует об органическом внедрении неполногласия в русские говоры. Вместе с тем, поскольку история современных диалектных морфемных и словообразовательных средств часто неизвестна, трудно говорить точно о том, в какой из функциональных сфер русского языка возникла каждая из рассмотренных здесь лексем. Имеются лишь отдельные исторические свидетельства о происхождении некоторых из интересующих нас аффиксов. Например, суффикс *-ье* в значении места, предназначенного для какого-либо действия, не был найден в древнерусских памятниках, что дает основание говорить о его позднем вычленении из общего значения места и позднедиалектном происхождении [17]. Есть также некоторые основания думать о диалектном происхождении приставки *во-* в значении неполноты качества. По свидетельству Л. В. Сахарного, она встречается (в форме *у-*) только в «Изборнике Святослава 1073 года» [18]. Однако источник, фиксирующий лексемы с приставкой *у-*, связан с южнорусской территорией, а приставка *во-* употребляется в словах современных северных и сибирских говоров. Вместе с тем, естественно, что каков бы ни был генезис всех рассмотренных аффиксов, включающие их диалектные образования могут иметь и собственно диалектное происхождение.

Для анализа лексических диалектных особенностей, интересных с точки зрения выявления диалектных образований с неполногласием, приведем некоторые слова с неполногласием, являющиеся лексико-семантическими дублетами к полногласным, и группы семантически идентичных однокоренных лексем в неполногласной огласовке, различающихся аффиксами.

Есть достаточно оснований предполагать, что некоторые неполногласные лексико-семантические дублеты к полногласным появились в диалектах в результате действия процесса аналогии, характерного для лексики с неполногласием и полногласием, особенность которой в русском языке состоит в регулярной парности двух таких форм у одного корня.

Диалектные лексемы с неполногласием, образованные по аналогии с полногласными, имеют существенные отличия от слов, возникших в результате действия такой аналогии в древнерусских памятниках, на которые ученые обратили внимание уже в XIX в. Возникновение аналогических процессов в письменности объяснялось потребностью пополнить недостающие парные образования с неполногласием и полногласием в сочинениях разной жанрово-стилистической отнесенности. Причины появления подобных образований в диалектах, естественно, другие. В отличие от литературного языка полногласные и неполногласные формы в диалектах всегда сохраняют семантическую соотнесенность. В связи с этим дублирующиеся неполногласные и полногласные формы здесь вливаются в общую систему очень характерной для диалектов вариантности, не ограниченной какими-либо нормативными условиями [19]. Результатом

[17] И. П. Глотова, указ. соч., стр. 56—57.

[18] Л. В. Сахарный, указ. соч., стр. 157—158.

[19] См. некоторые сведения об этом: О. Г. Порохова, О лексике с неполногласием и полногласием в русских говорах, IV, сб. «Диалектная лексика. 1974», Л., 1976; ее же, О лексике с неполногласием и полногласием в русских говорах, ч. I — Варьирование, сб. «Диалектная лексика 1969», Л., 1970.

такого варьирования является, видимо, образование некоторых неполногласных слов-дублетов к полногласным. Они появляются прежде всего, конечно, с теми корнями, которые в русском языке (в том числе диалектах) известны в двух формах. Дублетов подобного рода в говорах много. Иногда оба слова пары являются диалектными и зафиксированы в одном говоре одновременно. Например, *безгла́сить — безголо́сить* «молчать» (Исет. Перм., 1923), *гра́дки — городки́* «кружева с особым узором» (Пск. Пск., 1902—1904), *сре́дник — сере́дник* «якорь» (Арх., 1885), *ухрани́ться — ухорони́ться* «уберечься» (Ленингр., Моторжина) и под. По известным нам данным, все приведенные слова с неполногласием отсутствуют в древнерусской письменности. Наличие дублетных пар в системе одного говора служит исходным моментом для появления междиалектных неполногласных параллелей к полногласным. Возможно, именно междиалектная вариантность дала пару *отре́бок* (Яросл., 1918—1924) и *отере́бок* (Уржум. Вят., 1882) оба в значении «плохо одетый человек; неряха». Их значение, в отличие от литерат. *отребье* «отбросы общества», характеризует человека по его внешним качествам. Такой семантический признак, свойственный диалектной лексике, подтверждает вероятность появления неполногласного *отре́бок*, отсутствующего в древнерусской письменности, как образования по аналогии, парного к соответствующему полногласному *отере́бок*. Активность диалектного варьирования по аналогии у неполногласных и полногласных форм даже в наше время доказывается появлением безусловно русских и безусловно диалектных — полногласных дублетов к литературным неполногласным словам. Новым образованием в диалектах является полногласное слово *горожда́нский* — дублет к литературному *гражданский* в сочетании *горожда́нская война* (Сев. Прииссыккулье Киргиз. ССР, 1953—1957).

Варьирование неполногласных и полногласных форм в диалектах в некоторых случаях может приводить к появлению единичных образований с теми корнями в неполногласной огласовке, которые отсутствуют в русском языке или очень малопродуктивны здесь с древности. Они являются лексико-семантическими дублетами к соответствующим парным образованиям с полногласной — лексически богатой формой. Такими словами в говорах можно считать *кра́ва* «корова» (Волог., 1822) и *вере́льник* «ящик для веретен» (Вельск. Арх., 1964). Ср. соответствующие им дублеты с полногласием: общерусское *корова* и диалектное *вере́льник* (Ново-Лялин. Свердл., 1964). Подтверждением появления их в результате процесса аналогии является то, что лексемы с корнями в неполногласной форме *крав-* и *врет-* в древнерусской письменности известны преимущественно в памятниках, далеких от диалектной речи и очень древних [20] (среди них слово *вретельник* нам вообще не встретилось). Соответствующие им полногласные корни имеют в диалектах высокую продуктивность.

Есть основание также выделить в говорах случаи образования по аналогии неполногласных лексически не дублированных слов, являющихся в соответствующем диалектном лексико-семантическом гнезде единичными лексическими параллелями к словам с полногласием того же корня и той же семантической линии в литературном языке: *млажь* «молодые побеги ивы» (Южн., 1898); ср. литерат. *молодь*.

Наличие в диалектах групп семантически идентичных однокоренных лексем в неполногласной огласовке, различающихся аффиксами, также дает возможность выявить образованные здесь слова с неполногласием.

[20] См. об этом подробнее: О. Г. Порохова, *К вопросу о генетической связи* слов с неполногласием, известных в современных русских диалектах с церковнославянским языком, сб. «Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии. Тезисы конференции», I, М., 1975.

Присутствие в диалектах трех и более названий для одного предмета действительности, имеющих один и тот же корень в неполногласной огласовке, является результатом характерного для них морфологического варьирования однозначных лексем. Среди таких слов, несомненно, есть и собственно диалектные образования, что особенно очевидно для тех слов, которые употребляются на ограниченной территории и имеют специфически диалектные семантические или морфологические признаки. Рассмотрим лишь некоторые из таких групп.

Шесть слов с корнем *вре́д-* можно указать в диалектах для выражения значения «порча, ущерб, вред»: *вре́да́* (Пск., Смол., 1904—1918), *вреди́тельность* (Иркут., 1896), *повре́да* (Арх., 1852. Пск.; ПОС), с изменением начального *в* в *б* (ср. литерат. полногласное *бередить*) *бред* (Костром. Костром., 1900), *бреда́* (Вят., 1858. Буйск. Костром.), *побре́да* (Вят., 1858). Такое же количество слов в гнезде *млад-* в значении «детская болезнь родимчик»: *млад* (Мцен. Орл., 1902), *младенка* (ударение?) (Енис., 1906—1907), *младе́нец* и *младе́нчик* (ДОС), *младе́нческая* Николаев. Самар., 1853. Сарат., Астрах., Ворон., Орл., Калуж., Тул., Брян., Смол., Енис., Иркут., Амур.), *младе́нчецко* (Ачин. Енис., 1897). Пять слов с корнем *древ-* для значения «деревянный»: *древенно́й* (Пудож. Олон. 1885—1898), *древеси́нный* (ПОС), *древеся́нный* (Пск., 1901), *древной* [(ударение?) Тотем., Волог. Якуб.], *древянный* [(ударение?) — Олон., Якуб.]. См. также пять слов с корнем *слад-* для значения «любительница сладкого»: *сласту́нья*, *сладе́ха*, *сласту́шка*, *сластое́жница* (все четыре в ДОС), *сластни́ца* (Нижегор., 1852) и для значения «любитель(ница) сладкого» (общего рода): *слаще́на* (Том., 1964), *сладе́ха* (ДОС), *сласте́ха* (Обоян. Курск., 1858), *слас(т)ное́га* (Моск., 1968), *слас(т)ное́жка* (Южн. Урал., 1968). Четыре слова с корнем *врем-* для значения «ненастная погода»: *безвре́менница*, *безвремя́нница*, *безвре́менье*, *безвремя́нье* (все записаны в Пск., Осташк. Твер., 1855). Три слова с корнем *мрак-* для значения «пасмурная погода»: *по́мрака* и *по́мрачь* (Пск., Осташк. Твер., 1855), *па́мрак* (Опоч. Пск., 1852. Тул.). Число таких групп можно было *увеличить*.

Среди приведенной есть лексика, которая зафиксирована в древнерусских памятниках разных жанров и старославянской письменности довосточнославянского периода (*древенной*, *древной*, *древянный* и др.). Однако здесь есть и такие слова, которые, видимо, были образованы в самих диалектах. Некоторые из них имеют единичные фиксации в территориально близких говорах (*древесинный*, *древесянный*, *памрак*, *памрака* и *помрачь*). Лексемы *сластунья*, *сладеха*, *сластушка* и *сластоежница* зафиксированы в одной деревне одновременно, к тому же имеют характерные для диалектов семантические, а *сладеха* и морфемные признаки. Возможно, что именно эти слова образованы в самих диалектах.

В статье было рассмотрено около восьмидесяти слов с неполногласием, об устном русском и собственно диалектном происхождении которых можно говорить с достаточным основанием. Некоторые из них повторяются в статье, поскольку имеют несколько признаков, по которым их можно причислить к словам русского устного происхождения. Большинство рассмотренных слов включают те корни с неполногласием, которые, по имеющимся в нашем распоряжении материалам, в русских говорах наиболее продуктивны (*слад-*, *млад-*, *врем-*, *влад-*, *вред-*). Именно эти корни продуктивны также в языке древнерусской письменности и в современном литературном языке, т. е. они принадлежат к наиболее освоенным в русском языке корневым морфемам с неполногласием.

Все сказанное дает основание говорить, что диалектные слова с корнями в неполногласной огласовке могут иметь русское устное, в том числе диалектное, происхождение.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1980

КОВТУН Л. С.

АЗБУКОВНИКИ, ИЛИ АЛФАВИТЫ ИНОСТРАННЫХ РЕЧЕЙ КОНЦА XVI—XVII ВВ.

(об историзме в критике источника)

Выдающееся значение старорусских рукописных словарей, названных в эпоху их бытования азбуковниками, многократно отмечено и лингвистами и литературоведами. Но уделяют им внимание не одни филологи: ценные сведения находят в них и историки других специальностей. Уже два столетия, как в науке упоминается об этих сводах учености допетровской поры, т. к. они по-своему отразили перемены и в языке, и в общественном сознании за длительный период (с XI в. по XVII в. включительно).

В особый словарный тип азбуковники сложились в конце XVI в., в XVII в. получили большое распространение (в архивах числится свыше ста списков этого времени), в XVIII в. их продолжали еще довольно активно копировать и перерабатывать.

Изучение любого направления, типа или жанра требует обращения к этапу более раннему, без чего нельзя объяснить причин его возникновения и развития. О типе, к которому принадлежат азбуковники, этого сказать мало. Раскрытие источников этих сводов и приемов описания слов уводит в далекое прошлое, т. к. в их составе объединены все древние словари, какие удалось разыскать книжникам XVI и XVII вв. [1]. В текстах азбуковников как бы воплощена вся история лексикографии старшей поры.

В азбуковники вместе с тем обильно включали глоссы, интерполяции и всякого рода толкования из переводных сочинений (и древнейших и более поздних), собранные уже в период создания того или иного свода. В предисловиях к ним говорится, что в книгах «речи нам словяном неудобь разумны обретаются», т. к. одни из них «положены сирски, ова же еврейски, и римски, еллински, и египетски, сербски и скифски и иных язык многих». Между тем немало из этих, оставшихся без перевода, слов, объяснено истолкователями текстов. Оставалось разыскать возможно большее число их и свести воедино, что и сделали составители сводов: «их же от многих святых книг, еще же и от философа Максима Грека Святыя горы инока, толкованы изобретше, елико возмогохом, зде та по алфавиту положихом» [2].

В азбуковниках находим, наконец, и материалы по анализу семантики слов, возникшие в результате деятельности справщиков и переводчиков XVI—XVII вв., которые и были создателями наиболее ранних из этих обширных собраний лексики [3].

---

[1] См.: Л. С. Ковтун, Русская лексикография эпохи средневековья, М.—Л., 1963, стр. 141—145, 188—192, 198—209, 260—268, 311—314, 375—383.

[2] Азбуковник, ГПБ Погод. 1143 (ранняя разновидность, конец XVI в.), список не позднее 1605 г.

[3] Л. С. Ковтун, Лексикография в Московской Руси XVI— начала XVII в., Л., 1975, стр. 206—258.

Основной чертой азбуковников является, таким образом, их сводный характер (при ориентации на переводы и экзегезу) и вызванная этим многоплановость.

В европейских странах того же периода составление многоязычных словарей, сходных с азбуковниками, было повсеместным. В исследовании М. П. Алексеева названы английские, немецкие, французские, итальянские и т. д. словари, задачей которых было извлечение из книг «трудных» слов (иноязычные лексемы, архаизмы, новообразования), причем и эти лексиконы составлялись с привлечением более ранних рукописных глоссариев [4]. В жанровом отношении все они близки и между собой и к русским азбуковникам, но путь сложения словарей каждого из языков своеобразен; у азбуковников он тесно связан с историей русской книжности и с ходом развития русского литературного языка. В наборе толкуемых в них понятий и объяснений их проявилось заметное влияние на русскую византийской культуры, а также видны многократные и последовательные воздействия иных культур, восточных и западных. На составе азбуковников сказался характер взаимоотношений русского языка со старославянским и иными славянскими языками. Так, близкие культурные и языковые связи Московской и Юго-Западной Руси на рубеже XVI—XVII вв. проявились и в живейших контактах в области лексикографии. Азбуковники в значительной мере вовлекли в свой состав материалы славенороссских лексиконов Лаврентия Зизания и Памвы Берынды.

Из сказанного видна сложность и многоаспектность азбуковников. Присутствие в этом разделе книжности исторических, идеологических и языковых напластований делает состав анализируемых сводов лексики до крайности разнородным. Это весьма характерное для них свойство усугубляется еще и наличием разных подходов к слову и приемов их описания, вызванное объединением в них более ранних словарей разного периода (XI—XIII вв.; XIV в.; XV в.; XVI в.) и нескольких лексикографических типов (ономастиконы, словари символики, славяно-русские словари, словари-разговорники) [5]. Эволюцию этих типов к концу XVI в. нельзя понять вне азбуковников, так же как и специфику многоязычных азбучных словарей XVI—XVII вв.— вне истории более ранних направлений лексикографии.

Вся масса русских азбуковников не может быть изучена одновременно. Предстоит систематическое и поэтапное разыскание, которое и выявит в результате сначала основные, а затем и производные от них памятники, созданные в этом словарном типе. А пока этого нет, фрагментарность наших знаний об азбуковниках будет приниматься за неполноценность самих словарей, а отсюда недалеко и до вывода об ущербности, незрелости и т. д. отраженного в языке и запечатленного в словарях миропонимания «наших предков» [6].

Текстологический анализ азбуковников, связанный с группировкой их списков, сразу же наталкивается на вопрос о месте и роли этих словарей в составе рукописной книги. Азбучные своды лексики конца XVI—XVII вв. обычно окружены то большим, то меньшим числом статей, среди которых нередко попадаются и другие словарные тексты. Книга А. Карпова, посвященная описанию девяти азбуковников библиотеки Соловецкого монастыря, вышедшая сто лет назад, сохраняет и теперь свою ценность, т. к. в ней со знанием дела описаны рукописные сборники, имею-

---

[4] М. П. Алексеев, Словари иностранных языков в русском азбуковнике XVII века, Л., 1968, стр. 49—60.

[5] См.: Л. С. Ковтун, Русская лексикография эпохи средневековья.

[6] И. Сахаров, Сказания русского народа, II, кн. V, СПб., 1849, стр. XI—XIII. Вслед за ним — Н. Баталин, А. Карпов, С. К. Булич и др.

щие в своем составе обширные азбучные своды. Назвав предшествующие им и следующие за ними статьи «приложениями к азбуковникам», А. Карпов между тем уделяет им в описании едва ли не основное внимание [7]. Формулу «азбуковник с приложениями» нередко встречаем и в описаниях рукописей [8], но в ней есть известная доля антиисторизма, т. к. она наводит на мысль, что азбуковники какой-то период существовали вне сборников и лишь затем к ним стали присоединять те или иные отрывки из древнерусских сочинений. Процесс шел иначе. Древние словари (не азбучные), связанные в своей истории с какими-либо книгами (Лествица, Апостол, Псалтырь, Хронограф и т. д.), при отвлечении от текстов попадали в сборники, а материалы их получали более общее значение. В сборниках компиляции таких словарей местами получали тематическую группировку статей [9]. При активном пополнении толкованиями из многих источников (особенно в конце XVI в.) статьи их стали размещать в азбучном порядке. Тем временем и сами сборники претерпели заметную эволюцию. Многие из них становятся все более определенными по своей тематике. Кроме словарного свода, в них находим статьи, посвященные грамматике, вопросам правописания, акцентуации и т. д. Однако на протяжении всего XVII в. наряду с «грамматическими» сборниками словарные своды входят и в такие, которые именуют «энциклопедическими», имея под этим в виду некое средоточие знаний о реалиях, явлениях, событиях и лицах. Известно, что для русской средневековой книжности подобные сборники были весьма характерны [10].

Объективируя в своем значении понятие, слово обращено к реальной действительности, но столь же значима в лексеме и ее языковая форма. Своды лексики поэтому были уместны в сборниках обоих упомянутых видов. В тех случаях, когда в их составе оказывался обширный азбучный словарь, их называли азбуковниками. Из заглавия «Книга, глаголемая Азбуковник (или Алфавит, Буквы и т. п.)» следовало, что данный раздел в рукописи надо считать основным. В тех же сборниках находим обычно немало и иных словарных материалов (перечни на разных языках чисел, месяцев, чинов и пр.) и, что важнее всего, толкования понятий и описания реалий. Источником их была переводная литература, но объясняется не только иноязычная лексика. Тем самым шло накопление опыта и словарей одноязычных. Ср., например, выписки «Из книги Ивана Дамаскина о четырех временех», касающиеся явлений природы: молния, снег, град, туча, роса, мгла, море, источник и т. д. в одном из азбуковников XVII в.: «Снег есть исполу померзшияся вода, облаки на землю сходящия; туча есть напрасна вода, из облака проливаема; дождь есть рос собрание; роса есть некая внезапная капля; пара есть множество воспарений на земли; озеро есть вода многа сладка собираема; море есть слана и горька; трус есть движение духа напрасна под землею ходяща и сию колебатися понуждающия» и т. д. (ГПБ Сол. 16/16, лл. 89об., 90).

Уже упоминалось, что азбучные своды конца XVI, XVII вв. были столь разнородны по составу, задачам, направленности их материалов, что не укладываются в рамки наших обычных представлений. Попытки

---

[7] См.: А. Карпов, Азбуковники или алфавиты иностранных речей по спискам Соловецкой библиотеки, Казань, 1878.

[8] См.: А. В. Пруссак, Описание азбуковников, хранящихся в рукописном отделении имп. Публичной библиотеки, Пгр., 1915. То же и в описаниях многих других собраний.

[9] См.: Л. С. Ковтун, Лексикография в Московской Руси XVI — начала XVII в., стр. 210—220.

[10] А. С. Орлов, Древняя русская литература XI—XVII вв., М.—Л., 1945, стр. 46.

охарактеризовать их в терминах, принятых для лексикографии нового времени, уводят от самой сути этих трудов, оказываются либо односторонними, либо схематичными.

Азбуковник в основном словарь двуязычный, но совсем не в нашем понимании, т. к. в нем толкуются слова не одного языка, а многих. Это и не словарь иностранных слов, в нашем смысле, потому что в нем даются не только термины, приводятся и имена собственные. Отметим и наличие материалов, ведущих к одноязычной лексикографии.

Особенно важно определить отношение азбуковников к словарям энциклопедическим. Именно в этом ракурсе увидел их А. Карпов, а вслед за ним и многие другие. Словари эти, по его мнению, представляли собой «своего рода энциклопедию, куда вносились вместе с объяснениями тех или других слов разного рода сведения, выбор которых обусловливался возбуждаемым ими интересом» [11]. Как видим, здесь отмечено своеобразие названных трудов. Его и следует подчеркнуть, не допуская тем самым применение к ним мерок нового времени. Напрасно было бы искать в азбуковниках полноты каких-то слоев лексики или, исходя из их материалов, заключать о составе терминов какой-то области знаний, как это делается при обращении к нынешним энциклопедиям. В эпоху бытования азбуковников и состояние и систематизация познаний были другими. Совсем иными были и функции этих словарей. Их главная цель — перевести или прокомментировать иностранные лексемы, объяснить и другие слова и термины, способствуя тем самым пониманию текстов избранного круга чтений. Азбуковники возникли на базе переводческой культуры, и все в них выдает практические интересы их создателей.

Приведем как пример статью на слово *история* в одном из ранних азбуковников [12]. Из нее ясно стремление установить различие значений двух греческих слов ἱστορία, ἡ и Χρονογράφος, ὁ и тем самым добиться верности их перевода: «история — книга, содержащая в себе, иже в древних времянех бывших деании исповедание, подобно хронографу, кроме летнаго числа времени». Затем, исходя из его этимологии, разъясняется последнее из слов: «хронограф бо наричется, понеже не токмо деяния бывшая в древних родех поведует, но и числа лет тех времен в себе объявляет, еже в кое от Адама лето бысть вещь та и та». После чего снова сказано о первой лексеме: «история ж не тако, но точию в древних родех бывшая поведает, лет же, еже в кое число лета сего, не содержит». И, наконец, вывод, из которого ясно, что перед нами критика переводов: «Тем же разумно от сего всем да будет, яко ино есть летописець и ино история, аще и нарицают нецыи или пишут историю летописцем, но неведением» (ГПБ О.XVI.1, л. 52 об. и сл.). Завершает статью мысль о том, что различие в семантике и в характере употребления слов может быть и оттеночным, но и его необходимо уловить и обозначить: «аще и мало их посреднее, но убо есть» [13]. И далее: «яко ж се, еже ино закон ино заповедь, или паки ино дух, ино душа, и паки ино дела и ино деяния, яко же о сем в писании обретается» (там же, л. 54).

Словарный памятник, к которому относится список, откуда взята упомянутая статья, имеет и другие копии, членимые на две редакции. Списки одной из них (при значительных изменениях, какие словарный свод претерпел к концу XVII в.) почти буквально повторяют толкование разбира-

---

[11] А. Карпов, указ. соч., стр. 24.

[12] Азбуковник, ГПБ О.XVI.1, конца XVI в., список первой половины XVII в.

[13] Слово *посредьнии* в значении «промежуточный» отмечено в Богословии Иоанна екзарха болгарского (И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, СПб., 1895, II, стлб. 1256).

емого слова [14]. В другой оно преобразовано: «история — повестьнаа книга, еже есть летописец» [15]. Полемичность описания, присущая более ранней редакции текста, снята. Наблюдается сближение с тем истолкованием, какое дано слову *история* в азбуковниках других текстологических групп, а именно — «летописец». Однако здесь учитываются и тенденции, которые семантика слова *история* получила в своем развитии. В отличие от *хронографа* это не только повременная запись событий, но и «повестьная книга».

Если в ранних вариантах толкований все внимание было направлено на язык оригинала, то позднее наблюдаем и иную ориентацию, все более заметный упор на степень и характер освоения иноязычного слова в русских книгах.

Слово *летописец* — калька с греческого. Способ, каким был дан перевод слову *хронограф*, явствует из выделенной и приводимой в азбуковниках в качестве отдельной статьи его первой части: «хроно — лето или год» (ГПБ Погод. 1145, л. 165)[16]. Выступая в качестве толкования слова *история*, лексема *летописец* не передавала его состава. Помимо этого, полисемантическое греческое слово [17] было освоено русским языком лишь частично, в одном из его производных значений: «рассказ о прошлых событиях, историческое повествование». В ходе развития слово *история* стало и в русском языке многозначным, но все филиации его смысловой структуры соотносимы именно с этой исходной основой. Среди них и такие, как «наука, изучающая ход развития человеческого общества» или «наука, изучающая последовательные изменения какой-либо области природы и культуры», занимающие в ней ведущее место, распространенные и в научном языке и в общей речи, но и такие, как «повествование, рассказ», «происшествие, приключение», характерные лишь для обиходного языка [18].

Слово *история* в азбуковниках — в том виде, который характерен для грецизмов допетровского времени [19], сохраняет в русской передаче особенности византийского произношения [20]. Оно представлено как разновид-

---

[14] Азбуковник, ГПБ Погод. 1655, конца XVII в. и др. Частные замены (типа *хронограф — граноограф*) не меняют дела. Так объяснение слова «история» в одном из списков (ГБЛ Унд. 979) А. Карпов считает уникальным (указ. соч., стр. 198), но, как оказалось, оно ничем не отличается (кроме замены: *заповедь — исповедь*) от других списков той же текстологической группы.

[15] Азбуковник, ГПБ Погод. 1143 (не позднее 1605 г.) и др. списки.

[16] В толкуемом слове — усечение конечной сигмы: χρονογράφος — *летописец* (от χρόνος — «время» и γράφω — «пишу»). Слова *лето* и *год* выступают здесь в своем древнем значении — «время», отмеченном в самых ранних памятниках как церковных, так и светских (в Остромировом евангелии, в Повести временных лет, в Хронике Георгия Амартола и др.). Ср.: И. И. Срезневский, Материалы..., I, стлб. 537, II, стлб. 77.

[17] Греч. ἱστορία, ἡ имеет ряд значений: «расспрашивание, расспросы»; «исследование, изыскание»; «сведения, данные, полученные от других»; «знание, наука»; «рассказ о прошлых событиях, историческое повествование, история» (И. Х. Дворецкий, Древнегреческо-русский словарь, I, М., 1958, стр. 839).

[18] В современных словарях описываются семь его значений; ср.: «Словарь современного русского литературного языка», 5, М.—Л., 1956, стлб. 552, 553.

[19] Документировано в Словаре Срезневского текстами Златоструя и Козьмы Индикоплова («Материалы...», I, стлб. 1151). В цитатах слово *история* в значении «сведения, данные (полученные от других)», «рассказ о прошлых событиях». Ср. и лексические соответствия, приведенные в «Синониме славено-росской» (вторая пол. XVII в.): *исторія, сказаніе, повѣсть* («Пам'ятки української мови XVI—XVII ст.», Київ, 1964, стр. 120). По Фасмеру, вошло в язык при Петре I через польск. *historyk* из лат. *historicus* (М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, II, М., 1967, стр. 143).

[20] Более поздние варианты *гистория* и *гиштория*, возникшие под воздействием латинского и польского языков [о них см.: Е. Э. Биржакова, Л. А. Войнова, Л. Л. Кутина, Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII

ность книги [21], что ясно и из соотнесения его со словом *хронограф*, также освоенном русским языком, но имеющим ограничения в своем употреблении. Теперь это научный термин со значением «памятник древней письменности, содержащий обзор всеобщей истории и хронику отдельной страны». В древнерусский язык названный грецизм попал в середине XV в. и с тех пор не менял своего значения. Его усвоение и бытование в языке относится к XV—XVII вв., когда обозначенная им компилятивная энциклопедия по всеобщей истории стала одной из самых распространенных книг.

К терминам той же темы, что *история* и *хронограф*, должны быть причислены и толкуемые в азбуковниках иноязычные *историк* и *хроника* (*кроника*), а также и данные им в этих словарях славяно-русские соответствия: *летописец* и *повестник*.

Слово *хроника* встречается здесь в польском варианте — *кроника* [22]. В ранних азбуковниках оно определено словом *держава* (ГПБ О.XVI.1, л. 67, Погод. 1143, л. 37), что нетрудно принять за ошибку. Дело, однако, обстоит иначе. Перед нами — краткое раскрытие назначения книги. В более развернутом виде его находим в азбуковниках конца XVII в. Ср. в одном из них, из собрания Соловецкого монастыря: «кроники — книги, поведающыя о державах разных царств и о людех, и о правех, и о промыслох, и о птицах, и о зверех, и о прочих вещех» (ГПБ Сол. 18/18, л. 261). Аналогичное сокращение находим на полях азбуковников, где оно выступает как указание на литературный источник — «Царство греческое», «Царство русское» — и означает, что данная статья почерпнута из названного раздела Хроники [23].

Слово *держава* в упомянутом описательном толковании выступает в значении «правление, управление» [24]. Иные значения этого слова раскрыты в статьях из того же Соловецкого азбуковника, дающих к нему синонимы: «держава, мощь, сила, вельможность» и «могутьство, держава, царство» (ГПБ Сол. 18/18, лл. 160, 302об.). В них сказалось, как видим, воздействие юго-западных источников. Ср. и языковые пометы при слове *кроника*, называемом то «литовским», то «польским» (ГПБ Погод. 1143, Сол. 18/18).

Слово *летописец* с самых ранних памятников обозначает не только составителя летописи, но и самую эту книгу [25]. Слова *летопись* в древних текстах не отмечено. Кроме *летописец*, еще лишь *летописание* с цитатами

века (языковые контакты и заимствования), Л., 1972, стр. 187, 190, 218, 365], также встречаются в азбуковниках.

[21] Такого преломления значения позднейшими лексикографами пока не описано, однако факт его наличия в языке вряд ли оспорим.

[22] Греч. χρονικὰ (βιβλία), лат. *chronica*. Слово —в русском языке с допетровского времени, вошло непосредственно и через польск.: *chronika*, *kronika*, нем. *Chronik*, f. (Е. Э. Биржакова и др., Очерки по исторической лексикологии..., стр. 179, 402).

[23] В Азбуковнике (ГПБ Погод. 1143) помету «црс. греч.» имеют и разбираемые статьи: «история — повестнаа книга, еже есть летописец», «кроника — держава». Как в ранних, так и в более поздних азбуковниках подобные пометы находим при целом ряде статей. Ср. в ГПБ О.XVI.1 и Погод. 1143: *аксак*, та(тарское) — црс. рус.; *асигкрит* — црс. греч.; *аргуриппен* — из црств. еллин.; *африкииская* — црс. рим.; *акрополь* — црс. еллин.; *ареанда* — црс. греч.; в *лахерне* — прс. греч.; *византия* — цар. греч.; *галлия* — цар. рим.; *готфы* — црс. рим. и т. д. Все эти и многие другие статьи, таким образом, соотнесены в азбуковниках с текстом хроник. Среди них есть и славянские глоссы, например: «близняте — двоеньки» и др.

[24] В Словаре Срезневского *держава* — в значениях: «поддержка, основание»; «власть, сила»; «правление, управление»; «владение, государство»; «подвластные, народ» («Материалы...», I, стлб. 773).

[25] Ср. у Срезневского цитаты на значение «хроника, летопись»: «Летописец вкратце от Августа даже и до Константина» (Изборник 1073), «Вопсал есмь в летописец кромолу их» (Ипатьевская летопись) и др. («Материалы...», II, стлб. 78).

из Повести временных лет и Переяславской летописи [26]. В наших текстах слово *летописец* — в числе основных определений таких заимствований, как *хронограф*, *история*, *историк* и т. д. Поэтому можно допустить, что не только *история*, но и *историк* могло служить наименованием книги. В азбуковниках оно соотнесено со словом *повестник*, которое, как сказано в толковании, «подобно летописцу и прилично книг паралипоменон» (ГПБ О.XVI.1, л. 52об.). А это последнее уже никак не связывается с с лицом [27].

Слова, о которых шла речь, образуют тематическую группу. Привлекая списки разных азбуковников, можно сделать ее полнее по составу и обширнее по объему извлекаемых сведений. Ср., например, добавочные материалы из того же Соловецкого азбуковника. При имени *Бароней* сообщается, что в Риме был «в лето семитысячное» [28] учитель, который составил книгу римляном латынским языком». Это книга, «поведающая о державах разных царств, о всяких вещех». Она включает «многи книги, яко библия, или яко же кроники». В заключение сказано: «ею же держат римляне и непрестанно в ней утверждаются» (ГПБ Сол. 18/18, л. 89 и сл.). Ср. и такие статьи: «козмография — книжка нового латинскаго языка на руский преложена, содержит же в себе повести подобны кроникам, толкует же ся козмография мирописание» (там же, л. 261); «криница — книга, исповедающая бывшая деания в первых временох» (там же, л. 256) [29].

Задача соотнесения слов по темам и значениям была не чужда и самим составителям азбуковников. Среди многообразных серий отсылок, соединяющих различные части азбучных словарных сводов, есть и отсылки, данные с названной целью. Так, например, от слова *криница* даны отсылки к статьям: «естирия — держава»; «естиарския — державственыя, сиречь поведающыя книги о бывших державах царств» (ГПБ Сол. 18/18, л. 187). От них — к статье: «анестерия — держава» (там же, л. 57 об.), а также к статьям: «история» и «кроники» (там же, лл. 235, 261) и т. д. и т. п. Такое соотнесение слов, понятно, представляет для лексикологии немалую ценность.

Кроме исторических книг и книг Писания, А. Карпов по тому же азбуковнику приводит статьи, посвященные таким наименованиям: Андреатис (книга Иоанна Златоустаго), Анфологион (цветословие, имя книги трефолой избранный), Бисерия Златоустаго (Маргарит), Гранограф (границ землемерных книга) [30], Диоптра (зерцало книга), Ексапла (книга, глаголемая шестогубец, ю же Ориген пренаписаше), Златоструй (книга Златоустаго), Ихнилат (книжка есть баснословная), Катехизис Лютера, Климакс (книга Лествица или Лествичник), Кормчая (книга правил святых седми собор вселенских), Коран (бесерменскаго сквернаго закона книга), Кукумапаралагаи (Дамаскинова книга философская), Лимонарь (цветник духовный, еже есть патерик синайский), Логика, Маргарит, Метафраст (книга торжественных святых слов, содержащая жития), Отурхус (книга врачевская, лечебник), Пандекта (преподобный Никон от всех книг принимая по малу и состави книгу, и нарече ея Пандекта, сиречь всеприятна), Паренесис (нарицается книга Ефрема Сирина, понеже она содержит в себе слова учительна и молебна, яко же паремия), Синаксарь (собрание

---

[26] Там же.

[27] «Паралипоменон» (παραλειπομένων) — название двух исторических библейских книг, идущих вслед за книгами Царств (в дополнение к ним).

[28] Цифра даты — в буквенном выражении.

[29] *Криница* — «источник ключевой воды»; так называли Хронику Георгия Амартола.

[30] Этот азбуковник делает разницу между словами *гранограф* и *хронограф*, видя в первой части слова *грано-* корень «грань, предел».

вещей поведательных; грецы же святцы Синаксарем нарицают), Фионфисаврисма (божественное сокровище — книга, глаголемая небеса, Иоанна Дамаскина), Тактикон (книга никонских правил), Требник (имя книзе молитв иерейских), Цыфирь (книга численица счетная). Вслед за этим идут еще и отреченные, мафематийские книги: Арфиматикиа (Арифматикия) (еже есть планиты), Мусикия, Геометрия, Астрономия (Мармения). Упомянуты и всякого рода выписки о книгах, приводимые в статьях азбуковников (ГПБ Сол. 18/18) [31].

Подойдя к этим материалам только как к источнику реальных сведений о старорусской книжности, А. Карпов делает заключение: «библиографическая часть алфавитов очень бедна» (заглавия лишь некоторых памятников «преимущественно византийского происхождения») [32]. Таким образом, автор вовсе отстраняется от мысли, что данный разряд слов, как и любой другой в составе словаря, подобает прежде всего рассмотреть в языковедческом аспекте. Он и ценен в первую очередь для познания движения лексического фонда [33], в нашем случае — процессов усвоения названий избранного класса реалий (иноязычные названия книг; их калькирование; дублеты наименований; различные типы заголовков, среди них особенно характерные для средневековья символические обозначения и др.). Существенны (и не только для историка лексикографии) признаки, по которым в азбуковниках даются определения разным разрядам слов. Для книжных заголовков — это раскрытие иноязычных наименований (переводы и этимологии), указание на иные названия того же сочинения, имя написавшего сочинение автора, иногда и некоторые данные о нем, наконец, краткие сведения о составе и о содержании книги. Находя эти объяснения слишком краткими, А. Карпов полагает, что они могли дать «только самое поверхностное знакомство с тем или другим памятником» [34]. Причина, по его мнению, кроется, по-видимому, в большом распространении между книжными людьми самих этих памятников. Однако она — в другом. И само ограничение памятников (факт, по-своему, существенный и менее всего случайный), и характер определений их названий вытекают из целей азбуковников (они рассчитаны на круг чтения своего читателя). Важно понять и метод, которым были получены эти толкования: они выбирались из заголовков тех же самых книг и их разделов, нередко снабженных комментариями. Тип их, однако, чаще всего не был энциклопедическим. Краткость приводимых сведений вытекала из того, что вся книга, следующая за этим заглавием, была раскрытием ее содержания. Чтобы убедиться в сказанном, достаточно ознакомиться с заголовками хотя бы самих азбуковников. Ср. общее название одной из рукописных книг, имеющих в своем составе азбучный словарный свод: «Книга, глаголемая лексис, сиречь недоведомыя речи. Превод Максима Грека от иноверных на русский язык. Право». Перед словарем еще один заголовок: «Книга, глаголемая алфавит, содержащия в себе толкование иностранных речей, иже обретаются во святых книгах, не преложены на русский язык, начало имуще сице». Первой статьей дано объяснение греческого слова, ставшего для этих трудов устойчивым наименованием: «Алфавит, азбуковник или аз веди» [35]. В другой рукописи толкование оказалось в заголовке ее вступительной части: «Предисловие книги, глаголемая алфавит, сиречь

---

[31] А. Карпов, указ. соч., стр. 195 и сл.

[32] А. Карпов, указ. соч., стр. 193.

[33] Из этого не следует, что подобные материалы не могут быть использованы и в иных аспектах. Напротив, анализ их способствует решению разнообразных историко-культурных задач, и они нередко привлекаются с этой целью.

[34] А. Карпов, указ. соч., стр. 193 и сл.

[35] Азбуковник, ГПБ Погод. 1145, сер. XVII в., лл. 13, 24.

азбуковник» [36]. В третьей названием словаря служит его первая статья, написанная крупно и киноварью: «Алфавит, азбуковник или аз веди» [37] и т. д. и т. п.

Варианты переводов названий книг и их разделов, а также сжатых формулировок, дающих представление об их составе и содержании, находим в любом достаточно обширном собрании. Несколько выписок из описания одной из таких коллекций: Книга, глаголемая Ирмолой, сиречь известное и прежде бывшее (XVII в.); Книга, глаголемая Шестодневник, Иоанна ексарха прилог, благослови отче (XVI в.); Климакс, сиречь Лествица божьствьнааго въсхода (XII в.); Книгы, глаголемыя Кормчаи (кормчая), рекше правило закону, греческым языком номос (XVI в.); Книгы, глаголемыя греческым языком Номоканон, правило закону (XVI в.); Книга, глаголемая Космография, сиречь всего света описание (XVII в.); Книга, глаголема Прилог (пролог), в ней ж списана суть страданиа святых мученик и жития святых преподобных отець (XVI в.); Книга, глаголема Стихараль (стихирарь), творение преподобнаго и богоноснаго отца нашего Иоанна Дамаскина (XVI в.); Книга василиологион, си есть сочисление или описание всех царей, иже бяху во всем мире от всех народов доблественнеишии и именитеишии от начала мира даже и доныне (XVII в.) [38]; Хронограф, словенски же сказуется Летописец. В той же рукописи находим: Предисловие книзе, глаголемеи Хронограф, сиречь летописца изложение о вере [39]. Такие раскрытия наименований присутствуют, однако, далеко не во всех рукописных книгах. Статьи азбуковников помогали понять их заголовки. Кроме того, они содействовали и общему усвоению значений слов (причем не только иноязычных: *алфавит*, *номоканон*, *хронограф* и т. д., но и их славянских соответствий: *азбуковник*, *кормчая*, *летописец* и др.), пониманию их в данном специальном применении.

Материалы азбуковников принято делить на лексикографические и литературные [40]. Вряд ли, однако, это оправданно, так как любая словарная статья есть факт лексикографии. Сказанное не зависит от ее характера, то есть объема и типа, от того, даны ли статьи в виде переводов и этимологий иноязычных слов или же в виде пространных выписок сведений о названном словом предмете чужого быта.

Что касается литературной части в виде свода знаний из разных областей (философии, библиографии, истории, мифологии, символики, географии, этнографии, минералогии, ботаники, зоологии, орнитологии, ихтиологии) [41], то представление о ней не отвечает реальности. В словниках азбуковников, действительно, найдем наименования самых разнообразных понятий, а также стран, городов и народов, растений, животных и минералов, хотя и не только эти материалы (ср., например, разговорные слова и обороты, записанные с голоса при общении с иностранцами, обиходная лексика на бытовые темы: еда, сон, торговля и т. д.). Но и те статьи, которые посвящены истолкованию понятий и описанию реалий, вовсе не всегда энциклопедичны. Некоторые из них, как мы могли убедиться при анализе слов *история*, *хронограф*, *хроника* и др., вернее назвать филологическими [42]. В других же проявляется энциклопедизм, но такой, для

---

[36] Азбуковник, ГПБ 0.XVI.7, сер.XVII в., л. 1.

[37] Азбуковник, ГПБ Погод. 1660, л. 23, конец XVII в.

[38] «Степенная книга с добавлением исторических статей XVII в.»

[39] А. Х. Востоков, Описание рукописей Румянцевского музея, СПб., 1842, стр. 235, 244, 253, 279, 297, 395, 454, 637, 652, 734.

[40] Такое разделение впервые выдвинуто И. Сахаровым (указ. соч., стр. XI, XII и XV, XVI).

[41] А. Карпов, указ. соч., стр. 170.

[42] А. Карпов рассматривает слово *история* в разделе исторических терминов, что и естественно. Между тем в азбуковниках это слово — наименование книги и лишь

которого чаще всего характерно слияние реальных знаний с символикой и мифологией. Особенно типичны в этом отношении статьи по теме естественной истории. В азбуковниках представлен, как верно отметил А. Карпов [43], свод физиологических сведений, рассеянных в памятниках нашей древней литературы: в Шестодневе Иоанна екзарха болгарского, в Палее, в Златой матице, в Топографии Козьмы Индикоплова, в Александрии. Они извлекались из сочинений Епифания Кипрского, из Поэмы Георгия Писиды, из слов Максима Грека, из Хронографов и Космографий. Это памятники с XII по начало XVII в., которые опирались на восточные сказания и европейскую традицию, на переводы, впитавшие и античные мифы, и мистику раннехристианских авторов, и символику византийской патристики. Для статей азбуковников, посвященных описанию фантастических животных и растений, волшебных свойств камней и т. д., характерна их литературность.

В заключение заметим, что при подходе к азбуковникам как к собраниям материалов, годных для наведения справок, исследователи обычно идут не от словарного памятника к его статьям, а от слова (или слов) к случайно попавшемуся списку словарного свода. Ответ, если и будет найден, то неизбежно окажется приблизительным, пока не получит текстологического обоснования. Его надлежит обосновать и в отношении привлеченного списка (место данной копии среди других списков того же памятника), и в отношении самого словаря (место его среди других азбуковников и иных лексикографических трудов), и со стороны литературного источника, из которого в словарь попала анализируемая статья (его хронология и литературное развитие).

Для исторической лексикологии статьи азбуковников — неоценимый фонд разнообразных сведений о слове [44]. О полном равнодушии к языковым данным, заключающимся в азбуковниках, говорит М. П. Алексеев, показывая и всю необоснованность скепсиса в отношении этих данных [45]. Задача состоит в систематическом и все более широком введении материалов азбуковников в научный обиход.

опосредованно — того предмета, которому она посвящена. Термины «хронограф» и «история», имеющие соотносительные определения значений, оказались, таким образом, в разных разделах (история и библиография).

[43] Исследователь неслучайно отступил в этом случае от своей классификации по отдельным наукам (минералогия, ботаника, зоология и т. д.), рассмотрев сведения о природе в одном общем разделе «физиология».

[44] Обоснование этого положения см. в книге: Л. С. Ковтун, Древние словари как источник русской исторической лексикологии, Л., 1977.

[45] М. П. Алексеев, указ. соч., стр. 14—35.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1980

КУЗНЕЦОВА Р. Д.

К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В ИСТОРИИ СЛОЖНОПОДЧИНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Становление того или иного структурно-семантического типа сложноподчиненного предложения и образование соответствующих средств соединения его частей — разные, но взаимосвязанные стороны одного и того же процесса. Поэтому вопросы формирования системы средств связи частей сложноподчиненного предложения — союзов, соотносительных слов и относительных местоимений — являются важным аспектом исторического синтаксиса. К наиболее сложным среди них принадлежит вопрос об истории соотносительных слов и их роли в процессе формирования союзов. В лингвистической литературе наметились два подхода к его решению.

С одной стороны, начиная с Буслаева [1], в русской грамматической традиции разрабатывается положение о том, что роль соотносительных слов в период формирования подчинительных конструкций была значительной. Поэтому история соотносительных слов связывается с уменьшением их числа от древнего состояния к современному. Вместе с тем исследователи на основе изучения синтаксиса отдельных памятников и наблюдений над историей становления различных типов сложноподчиненных предложений высказывают мысль о том, что древнему предложению было известно и отсутствие соотносительных слов. В связи с этим в ряде работ отмечается, что историю соотносительной связи нельзя рассматривать только как процесс прямолинейного затухания и отмирания этой связи для всех типов сложноподчиненных предложений [2]. Некоторые исследователи считают, что в процессе становления сложноподчиненного предложения соотносительные слова приобретают новое значение — они уточняют синтаксическую функцию придаточной части [3].

Такой подход к истории соотносительных слов определил и решение вопроса о путях образования союзов: формирование союзов на основе относительных местоимений связывается с постепенной утратой соотносительных слов и нарушением связи с относительными словами. Так, Ф. И. Буслаев связал формирование союза *что* с обязательным употреблением соотносительных слов и утратой грамматической связи между местоимениями *что* и *то*: «Переход местоимения *что* в союз доселе явствует в языке из прямого отношения этого речения к указательному *то*...» [4]. Естественно, что такое утверждение предполагает обязательное наличие *то* в прошлом: «...во всех случаях надобно подразумевать указательную

---

[1] Ф. И. Буслаев, Историческая грамматика русского языка, М., 1959, стр. 524—527.

[2] См.: Э. И. Коротаева, Союзное подчинение в русском литературном языке XVII века, М.— Л., 1965, стр. 35; В. В. Назаретский, К истории сложноподчиненного предложения в древнерусском языке, I, Енисейск, 1960, стр. 30.

[3] А. Н. Стеценко, Сложноподчиненное предложение в русском языке XIV—XVI вв., Томск, 1960, стр. 262.

[4] Ф. И. Буслаев, указ. соч., стр. 525.

частицу *то*, где бы ни стоял союз *что*; напр., „говорит, *что* придет" (т. е. говорит *то*, что)...» [5].

Другое направление в понимании истории соотносительных слов связано с работами В. Н. Мигирина, сопоставившего распространенность в в древнерусском языке соотносительных слов по разным типам сложноподчиненных предложений с современным их употреблением. В результате было установлено, что в древнерусских предложениях по сравнению с современными соотносительные слова употреблялись реже [6]. Изучение истории отдельных типов предложений в разные периоды их развития подтвердило этот вывод [7]. Так, В. И. Кодухов отмечает, что соотносительные слова отсутствовали в одном из древнейших типов сложноподчиненных предложений — в предложениях с изъяснительными отношениями и представляют в них явление новое, по-разному проникавшее в разные модели [8].

Как показывают материалы исследований по истории сложноподчиненного предложения, в понятие «соотносительные слова» вкладывается разное содержание: соотносительными определяются различные частицы, начинающие главную часть в постпозиции, а также указательные местоимения в составе главной части, независимо от ее положения по отношению к придаточной. Да и сами термины: «соотносительные слова», «соотносительные союзы», «указательные местоимения», «соотносительная местоименная связь» употребляются непоследовательно и неоднозначно, а иногда и как синонимы. Ср.: Ф. И. Буслаев называет *то* в конструкциях *Что ужин, то расправа* указательной частицей и союзом [9]; Б. В. Лавров определяет в условных конструкциях *то*, *так*, *тогда* как соотносительные союзы и как указательные местоимения [10]; В. В. Назаретский соотносительной местоименной связью считает соответствие указательного местоимения в главной части и союза или союзного слова в придаточной [11]. Вместе с тем еще Ф. И. Буслаев высказал мысль о разном характере указательных слов в сложноподчиненном предложении и о необходимости дифференцировать наличествующие (или подразумеваемые) указательные слова по их структурно-семантической роли (местоимения, союзы, частицы) [12], хотя эта мысль не была им реализована при анализе конкретного материала [13].

Известно, что соотносительные слова в составе главной части являются «предвестниками и посредниками» придаточной части в главной [14] и наряду с союзами и относительными местоимениями участвуют в соединении

---

[5] Там же, стр. 526.

[6] В. Н. Мигирин, Эволюция придаточного и разные виды трансформации главного и придаточного предложений в русском языке. АДД, Симферополь, 1955, стр. 26.

[7] См. об этом: Я. А. Спринчак, Очерк русского исторического синтаксиса (Сложное предложение), Киев, 1964, стр. 137; В. Л. Георгиева, История синтаксических явлений русского языка, М., 1963, стр. 121.

[8] В. И. Кодухов, Объектные отношения и сложноподчиненное предложение, «Уч. зап. [ЛГПИ им. Герцена]», 281, Л., 1969, стр. 277.

[9] Ф. И. Буслаев, указ. соч., стр. 526.

[10] Б. В. Лавров, Условные и уступительные предложения в древнерусском языке, М., 1941, стр. 35.

[11] В. В. Назаретский, указ. соч., стр. 14.

[12] Ф. И. Буслаев, указ. соч., стр. 526.

[13] См. об этом: Л. Н. Манаенкова, Местоименно-соотносительные (указательные) слова и их роль в структуре сложноподчиненного предложения, «Уч. зап. [МГПИ им. Ленина]», 328, М., 1970, стр. 175.

[14] См. об этом: В. А. Белошапкова, Сложное предложение в современном русском языке, М., 1967, стр. 82—84; Л. Ю. Максимов, Теоретические основы описания сложноподчиненных предложений, «Уч. зап. [МГПИ им. Ленина]», 296, М., 1968, стр. 32.

предикативных единиц, обеспечивая структурное единство сложноподчиненного предложения. Естественно, что при таком понимании соотносительных слов частицы должны быть исключены из их состава, так как по своей грамматической природе они не могут предсказывать или представлять придаточную часть в структуре главной. Поэтому к собственно соотносительным словам причисляются лишь указательные местоименные слова со значением отдаленного указания, которые в своей основе имеют корень *т* (*т*-слова). В структуре предложения они приобретают свойства, отличающие их от других разрядов местоимений. Так, в составе предложений местоименно-относительного типа устанавливается семантическое соответствие между относительными и соотносительными местоимениями, основанное на отношениях тождества (предложения строятся по схеме *т/к* и *к/т*). Возможность отождествления их семантического наполнения заложена в самом значении этих слов. По замечанию А. М. Пешковского, «...корни слов *тот*, *этот*, *этакий*, *такой*, *так*, *там*, *тут* обозначают, что он (говорящий.— *К. Р.*) отождествляет то, о чем он сейчас думает, с тем, о чем думал раньше или о чем предполагает думать впоследствии...» [15].

В предложениях местоименно-союзного типа между соотносительным словом и союзом устанавливается тесная связь, *т*-слова в результате переразложения переходят в придаточную часть и, сливаясь с союзом, образуют новую лексическую единицу (типа *потому что*, *оттого что*, *так что*, *так как*, *для того чтобы* и др.). Будучи элементами сложного предложения, *т*-слова претерпевают изменения в значении и утрачивают способность к употреблению в самостоятельном предложении. Так, в предложении *Что с возу упало, то пропало* употребление вне структуры сложного предложения части *то пропало* как самостоятельной единицы невозможно: *то* не только представляет первую часть во второй, но и находится в прямой семантической соотнесенности с относительным *что*: соотносительная пара *что — то* имеет обобщенное значение предметности.

Состав местоимений, относимых к соотносительным, иногда понимается широко: кроме указательных, к соотносительным относят местоимения отрицательные (*никто*, *ничто* и др.) и обобщенно-определительные (*всякий*, *все*, *везде*, *всюду* и др.). Однако в отличие от *т*-слов местоимения этих разрядов, семантически более определенные, в структуре сложноподчиненного предложения никаких изменений не претерпевают и сохраняют свое значение. Именно этим и объясняется характер отношений между местоимениями данных разрядов и конкретизирующей их придаточной частью: в таких предложениях устанавливаются отношения общего и частного, например: «Бысть громъ великъ, яко слышахом *вси*, что в ызбѣ сѣдяще» (Новг. IV лет.— СРС). И главное — местоимения этих разрядов не обладают способностью сливаться с союзами придаточной части. Существенно отличаясь выделенными чертами от указательных местоимений, обобщенно-определительные и отрицательные местоимения функционируют в предложении как эквиваленты собственно соотносительных слов.

При освещении истории собственно соотносительных слов (*т*-слов) важно различать лексемы, которые выполняют конструктивную роль в предложении, с одной стороны, и частицы и указательные местоимения, участвующие в конкретизации смысловых отношений в нем,— с другой. Поскольку такая дифференциация в работах по истории сложного предложения не проводится, появление соотносительных слов относится к глубокой древности. В результате компоненты собственно структурные, определяющие синтаксическое строение предложения, и компоненты, свя-

[15] А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, М., 1956, стр. 155.

занные с семантикой предложения, разные по происхождению и по значимости в организации предложения, не разграничиваются.

Материалы памятников и имеющиеся исследования по истории сложноподчиненных предложений позволяют выделить два этапа в истории синтаксических показателей зависимости, связанных со структурой главной части.

I этап — наиболее древний, характеризующийся появлением частиц, которые представляют собой анафорические знаки подчинения [16]. Такие средства связи, как *и*, *а*, *же* (реже — *но*, *да*), *ино*, *так*, *то*, являются показателями вывода, противопоставления и имеют значение «итак», «следовательно», «значит», «однако», т. е. отмечают заключающую часть высказывания. Данные построения возникали в живой речи для обозначения лексико-семантической (смысловой) связи между предложениями и широко представлены в фольклоре — в былинах, сказках, пословицах (а) и в говорах (б), например: а) «Изопьем вина, *то* прибудет ума» (Кир. Д., 131); «Рано солнце всходить, *то* уж быть дождю» (Сим. посл., 208); «Мертвой у ворот не стоит, *а* свое возметь» (там же); «Взялся за гуж, *так* не говори, что не дюж» (Даль, IV, 387); б) «А на дело — так и нет. Ругаются — *так* всех перекреплют» [17]; «Ну, уехали, *так* няхай; Будя десьт' просит', а вы платитя двадцьт'; А та ни пйет, *то* сиди малчи» (Воронеж, гов.) [18].

Частицы (наиболее часто *то*, *так*) не требуют от препозитивной части формы придаточной и указывают на то, что предикативная единица, которую они начинают, связана с предшествующей по смыслу. Конструкции такого типа широко представлены в памятниках XI—XIII вв., например: «Кто сѧ изоостанеть въ манастыри, *то* вы тѣмъ дължьни ѥсте молити за ны ба̃ и при животѣ и въ съмьрти» (Гр. Мст. 1130 г., 33); «...а жена моꙗ пострижеть сѧ въ чернице·*то* выдаите еи четверть» (Дух. зав. Клим. ок. 1270 г., 30); «А не въсхошь·*ино* какъ тобѣ любо» (Новг. I лет.— Срезн., I, 1101). Как показывают примеры, основная функция частиц заключается не в представлении первой части во второй, а в указании на смысловую зависимость части, в которой они находятся, по отношению к предшествующей. Именно это обстоятельство и создает скрепы особого рода — семантические, характерные для ограниченного круга отношений. Однако закрепленность данных частиц за определенными типами отношений (нерасчлененное значение обусловленности), их положение в начале заключающей части свидетельствуют о том, что они выполняют служебную роль.

С укреплением подчинительных союзов, которые характеризуют предикативную единицу как зависимую, некоторые из «соотносительных союзов» утрачиваются (омонимичные союзам типа *и*, *а*), другие (местоименного образования) сохраняются и образуют устойчивую связь с подчинительным союзом. Так как основную роль в выражении подчинительной связи выполняет союз, обозначающий отношения обусловленности, роль частиц *то*, *так*, *ино* и др. в структуре формирующегося подчинения изменяется: они становятся несамостоятельными средствами связи, предполагающими обязательную реализацию в препозиции придаточной части. Это создает конструктивную связанность предикативных единиц и приводит к созданию устойчивых союзных образований. Памятники широко отражают устойчивую локализацию дистантного союзного образования, например: «*Да* иже горазнѣѥ сего напише· *то* не мози зазьрѣти мънѣ грѣшьникоу» (Послеслов. к Остр. ев., 5); «И ѥгда тѧ въпрашаѭть·*то*

[16] Б. В. Лавров, указ. соч., стр. 39.

[17] Примеры Б. В. Лаврова (указ. соч., стр. 29).

[18] Примеры из кн. В. И. Собинниковой «Строение сложного предложения в русских говорах» (Воронеж, 1968, стр. 105—106).

отвѣштаи съ тихостьѭ» (Изб. 1076 г., 483); «*Ажь* оубьють моужь моужа, *то* мьстити братоу брата» (Рус. пр., 123).

Отмеченный этап в развитии средств связи представляется особенно важным, так как на семантико-синтаксической основе сложноподчиненного предложения начинает проявляться тенденция, развившаяся в последующие эпохи: формирование элементов связи в обеих частях сложного предложения, в результате чего знаки зависимости появляются в каждом компоненте двучленной структуры. Это укрепляет связь предикативных единиц и способствует формированию внутренней цельности сложного предложения.

II этап связан с появлением в главной части собственно соотносительных слов — указательных местоимений с корнем *т*. Известно, что в сложном предложении указательные местоимения выполняют функции, которые определяются и дифференцируются по признаку линейного расположения частей.

Между тем в исследованиях по истории отдельных типов сложноподчиненных предложений (по памятникам XIII—XVII вв.) соотносительными называются указательные местоимения, находящиеся как в постпозитивной, так и в препозитивной главной части [19]. В то же время именно в этот период наиболее существенным признаком, по которому противопоставляются сложноподчиненные предложения, является положение зависимой части по отношению к главной, в связи с чем функции указательных местоимений, причины и время их появления не могут быть одинаковыми в этих конструкциях. Кроме того, при таком понимании соотносительных слов стираются различия между указательными местоимениями в их основном значении (дейктические слова) и местоимениями, ставшими элементами структуры сложного предложения. В результате создается представление, что никаких изменений у местоимений не происходит при преобразовании их в элемент синтаксической связи — соотносительное слово.

При историческом описании функций указательных местоимений необходимо учитывать прежде всего генетическую связь сложных предложений с простыми и с принципами объединения последних в сложном синтаксическом единстве. Не случайно наиболее ранние случаи употребления *т*-слов в сложноподчиненном предложении совпадают с их употреблением в составе самостоятельных предложений, а *т*-слова сохраняют первичные функции и особенности употребления, свойственные указательным местоимениям в составе семантически связанных самостоятельных предложений [20]. Ср.: 1) «Въздрадоуѭ сѧ азъ о словесьхъ твоихъ ꙗко обрѣтаꙗ користь мъногоу·користь бо нарече словеса бжиꙗ, гл҃ѧ: ꙗко обрѣтохъ недостоинъ сы такъ даръ·ѥже ми сѧ пооучѧти словесьмъ твоимъ дьнь и ношть. *То* мы, братиꙗ, поразоумѣимь и послушаимъ разоумьныма оушима и поразоумѣимъ силоу и пооучение стыхъ книгъ» (Изб. 1076 г., 156); 2) «Да вѣси оубо жено·аще не поидеть корабль·*то* мои грѣси дрьжѧтъ корабль» (Син. пат., 136).

---

[19] А. И. Сумкина, К истории относительного подчинения в русском языке XIII—XVII вв., «Труды Ин-та языкознания», V, М., 1954, стр. 182 и 189.

[20] В связи с этим представляется вполне обоснованной мысль о том, что не все конструкции, в которых во второй части выступали указательные местоимения, даже специализировавшиеся в выражении относительной связи, типа *иже*, *еже*, *яже* — *он же*, *они же* и др., можно назвать относительными в собственном смысле слова. В древнейший период они, возможно, «понимались как отдельные самостоятельные предложения или же по смыслу они составляли одно целое, объясняя, дополняя друг друга, стоя рядом без всякой формальной связи» (А. И. Сумкина, указ. соч., стр. 152).

В приведенных примерах местоимение *то* ведет себя одинаково — и между самостоятельными предложениями (1), и между частями сложного предложения (2), так как является средством установления смысловых связей между предикативными единицами и выступает в анафорической функции. Эта функция традиционно закреплена за указательными местоимениями и определяется их дейктическим значением. Она свойственна и местоимению, отсылающему к предшествующему высказыванию, так как предполагает наличие определенного «содержательного фрагмента» слева. Естественно, что *т*-слова в таком употреблении не специфичны для структуры сложноподчиненного предложения и используются как средство выражения межфразовых связей в составе сложных синтаксических единств.

Функциональная однотипность *т*-слов в составе сложного синтаксического единства и в сложном предложении с препозицией зависимой части особенно очевидна в следующих построениях: 1) «...а в ладогоу кнже слати осетрьникъ и медовара по грамоте оца своюго ꙗрослава·а *тоу грамотоу* кнже отъꙗль ꙗси·а *та грамота* кнже дати ти назадъ» (Новг. гр. № 3, 1270 или 1269 г., 241); 2) «...а что моꙗ полѧнка особна досталаса ми от братьи· и *ту полѧноу* даю стмоу Михаилу» (Дв. гр. № 53, 71).

Благодаря препозиции придаточной части основные отношения между предикативными единицами совмещаются с условными, в результате эти отношения синкретичны, выражаются нечетко, недифференцированно. Поэтому употребление *т*-слов после придаточной части снимает условный оттенок в характере отношений и способствует уточнению синтаксической функции и значения придаточной части. Выступая в роли определителя имени в конструкциях типа *а что сель... тѣхъ сель...*, *т*-слова отождествляют обозначаемый именем предмет (лицо) с охарактеризованным в предшествующей части, например: «А которая села покуплена... *на тѣхъ селѣхъ* куны имати» (Новг. гр. № 16, 264).

Та же функция характерна и для субстантивных местоимений, так как имя существительное легко восстанавливается из контекста, ср.: «А что головы поимано по всей волости Новгородьскои·а *тѣ* поидоу к Новоугородоу безъ окоупа» (Новг. гр. № 12, 256—257).

Причины использования указательных местоимений в постпозитивной главной части вскрывает та сфера употребления, где наиболее широко представлены такие предложения,— деловая письменность. В памятниках делового характера условия и формы коммуникации делают важным и актуальным конкретное выражение смысловых отношений: необходима точность при указании на предметы (обычно в грамотах, где перечисляются границы владений или имущество, передаваемое в дар, завещаемое, продаваемое и т. д.), при перечислении лиц, облагаемых податью, и т. д. Благодаря указательным местоимениям устанавливается тождество с тем предметом (лицом), о котором идет речь в предшествующей части и о котором дается сообщение в главной.

И лишь на семантико-синтаксической основе сложноподчиненного предложения у *т*-слов возникают новые («вторичные») функции. Так, при постпозиции придаточной части создаются условия для распространения указательных местоимений в препозиции по отношению к придаточной части. В предложениях с определительными отношениями местоимения используются в выделительной функции, например: «Тако и *тыи* товаръ· ·что оу стеколмѣ взалѣ·такоже ꙗсмѧ творилѣ» (Гр. Новг. о погреб. товаре 1360—1387 гг.— ДРС). В таком употреблении местоимение подчеркивает единичность обозначенного именем предмета, отличительные признаки которого раскрываются в зависимой части. Показателем усиления зависимости частей, их грамматической дифференцированности являются факты

почти полного отсутствия в этом положении сочинительных союзов между частями. Качественное изменение синтаксической роли местоимений, определяемое особенностями структуры сложноподчиненного предложения, отчетливо проявляется в период исторического развития и становления местоименно-соотносительного типа предложений. Так, к XII—XIV вв. относится формирование предложений, которые принято определять как сложные с придаточными подлежащими, типа: «*Къто* искоушенъ имъ бысть и съвьршилъ сѧ и да боудетъ на похвалениѥ» (Изб. 1076 г., 392); «...а *что* ти кн҃ѧже пошло на торожку· и на волоцѣ·тивоунъ свои дьржати··на своѥи чѧсти дьржати·а новъгородьць на своѥи чѧсти дьржати» (Новг. гр. № 1, 1264 или 1265 г., 237). В работах по историческому синтаксису отмечается, что «названные придаточные не имели ни в прошлом, ни в настоящее время особых, характерных лишь для них средств связи» [21]. Однако появление и становление этих сложноподчиненных предложений связано с формированием нового типа связи — соотносительной: указательное местоимение прикрепляется к определенному структурному типу предложений и становится синтаксически значимым.

По наблюдениям В. В. Назаретского, преимущественное место в кругу данных предложений занимают построения с субъектными отношениями («придаточные подлежащие»), а их препозиция совпадает с обычным местом подлежащего (впереди сказуемого) [22]. Местоимения *кто*, *что*, *иже*, *который*, находящиеся в начале предложения, указывают на обобщенное лицо (предмет), которое отличается от однородных ему лиц (предметов) признаками, заключенными в препозитивной зависимой части. При отсутствии *т*-слов в главной части предикативная часть с относительным местоимением включается в схему простого предложения на правах его члена, поэтому предикативная единица приобретает, по определению М. В. Федоровой, номинативный характер, хотя это номинация особого рода: местоименное слово передает общее значение лица, а глагольное — его характерный признак; «Дивѣе дива *кто поимаетъ жену злообразну прибытка ради*» (Сл. Дан. Зат.— Срезн., I, 664); «*Кто сіе рукописаніе преступить*, судится со мною предъ Богомъ въ день страшнаго суда» (Рукоп. Ост. п. 1396 — Срезн., II, 1700). Появление таких конструкций М. В. Федорова связывает с тем, что предмет (лицо, признак) в данный период или в данном списке не имел или не мог иметь однословной номинации [23]. Однако такое объяснение вряд ли может быть достаточным, так как в большинстве случаев наряду с обозначением лица через предикативную единицу в языке существовала параллельно однословная номинация. Наличие таких параллелей отмечается даже в пределах одного памятника. Ср. обозначение лица, с одной стороны, предикативной единицей: «...*и иже вы хоулить* мене хоулить» (Изб. 1076 г., 666) и, с другой стороны, возможность лексического обозначения того же лица: «Не съмѣшаи сѧ съ тѣми николи же·ѩже видиши *хоулимы* от добрыхъ (там же, 275); «Горе *хоульникоу* съвѧжеть бо сѧ ѥмоу ѧзыкъ» (там же, 307). В приведенных предложениях лицо обозначено различными способами. Вместе с тем употребление того или иного способа вызывается задачами коммуникации и обусловлено возможностями семантической наполняемости единиц: лексическое обозначение субъекта позволяет лишь назвать лицо, а в предикативной единице содержится его характеристика, конкретизация. Это и образует ту живую тенденцию в языке, которая предопределила широкое развитие сложных, логически и грамматически

[21] В. Л. Георгиева, указ. соч., стр. 122.
[22] В. В. Назаретский, указ. соч., стр. 8.
[23] М. В. Федорова, Лексико-грамматические очерки по истории русских местоимений, Воронеж, 1965, стр. 30.

связанных конструкций, характерных для деловой письменности. Рассматриваемые построения находят прямую аналогию в современной разговорной речи [24]; это свидетельствует о том, что обозначение в них строится по нормам разговорной речи.

Исследователи отмечают, что «деловая речь явилась колыбелью формирования многих синтаксических конструкций, зародившихся на почве живой разговорной речи» [25]. Пожалуй, в первую очередь это замечание относится к рассматриваемым предложениям. Деловая письменность требовала точного и однозначного выражения отношений, поэтому в памятниках делового характера в таких синтаксических построениях обычно используются *т*-слова, предсказывающие наличие придаточной части с определенным значением. По наблюдениям В. И. Борковского, исследовавшего внутренние отношения между предикативными частями с препозитивным *что*, местоимение *что* «относится к члену придаточного предложения, а не главного предложения, и только через это придаточное связано с главным» [26]. Это определило специфичность связи между предикативными частями: по значению *т*-слова соотносятся с содержанием всей предшествующей части, в результате и устанавливаются между частями отношения тождества. Однако категориальное значение *т*-слова обусловливается значением относительного местоимения придаточной части.

В сущности, история рассматриваемых предложений — это история развития нового типа сложноподчиненных предложений (с XII в.) с коррелятивной связью: *т*-слова вмещают содержание предшествующей части, но грамматически связаны с относительным местоимением. Например: «*Што* вамъ было надобѣ·то было ваше·а нынѣ *што* дѣтемъ моимъ надобѣ·*того* имь не бороните» (Гр. Полоцк. епископа ок. 1300 г., 127); «А кто вѣрꙋ ихъ похулить или рꙋгается, *тотъ* ничимъ не извинитца и умретъ злою смртию» (Ярл. Мен. Тем. 1267 г.— Срезн., II, 1321); «А *кто*... наше слово преслушаеть, *тотъ* есть Бгу повиненъ» (Ярл. Узб. 1315 г.— Срезн., II, 999). Данные построения отражают то промежуточное состояние в развитии соотносительной связи, когда *т*-слова сочетают анафорическую функцию (показатели смысловой связи в составе линейного ряда) с союзной (показатели синтаксической связи предикативных единиц в составе сложного предложения). Именно в этом ряду предложений образуются соотношения, регулярно воспроизводящие схему построения *кто/тот* (*тому*), *что/то* (*того*) [27].

Для периода XII — XIV вв. данные предложения, приобретая особые языковые характеристики (наличие *т*-слов), обнаруживают признаки отчетливой жанрово-стилистической прикрепленности (отмечены в грамотах). С XV в. такие построения употребляются в судебниках, наказах, статейных списках, в XVI—XVII вв. распространяются в военной и научной литературе, законодательных актах. Благодаря традициям письменной речи местоименные слова приобретают характер постоянных элементов структуры предложения [28].

---

[24] «Русская разговорная речь», М., 1973, стр. 400—402.

[25] А. Н. Стеценко, Исторический синтаксис русского языка, М., 1977, стр. 6.

[26] В. И. Борковский, Препозитивные придаточные с неизменяемым «что» в древнерусских грамотах, «Труды отдела древнерусской литературы Ин-та русской литературы», XIV, М.— Л., 1958, стр. 586.

[27] «Придаточные сказуемые» в текстах XIV в. отмечены в единичных случаях. Образование их модели *такой* (*таков*) — *яко* (*что*, *как*, позднее *какой*, *каков*) относится к XV—XVI вв. (см.: А. Н. Стеценко, Сложноподчиненное предложение..., стр. 255—256).

[28] Ср. отсутствие соотносительных местоимений в конструкциях такого типа в диалектной речи: *Кто смала да ня пил, пат старъс'т' хватицъ*. Такие построения предложений, отмеченные в воронежских, орловских, тамбовских, рязанских, воло-

Однако распространение *т*-слов в конструкциях рассматриваемого типа, несущих на себе яркую печать прикрепленности к определенному стилю, обусловливалось теми изменениями, которые протекали в системе языка и были связаны со сложным процессом исторических преобразований в структуре простого предложения. Так, превращение указательных местоимений в строевые элементы главой части поддерживается, бесспорно, тенденцией закрепления личных местоимений (в функции подлежащего) при личных глагольных формах и переходом в связи с этим древних односоставных предложений типа *хотел еси* в *ты хотел*, т. е. в двусоставные (это связано и с разложением древней системы временных форм) [29]. Поэтому появляющиеся в главной части местоимения *тот*, *то* в функции подлежащего занимают свободную синтаксическую позицию, но эта позиция предопределена предшествующей предикативной единицей — придаточной частью с относительными местоимениями. Отсюда — устойчивость и обязательность элемента *т* в главной части.

Распространение местоимений в структуре сложноподчиненного предложения, характеризующегося мобильностью придаточной части, влияет на появление новых функций у *т*-слов. При оппозиции главной части *т*-слова предшествуют той части, из которой вырастает их содержание: они связаны со значением придаточной части, раскрывающей понятие о конкретном деятеле, предмете, объекте. Поэтому в соотносительных парах *т*-слова имеют отчетливое значение лица и предмета, а относительные местоимения используются в анафорическом значении: «Ведаютъ то *тѣ*, на комъ есме положили» (Моск. гр. 1368 г.— ААЭ, 96); «Ведаетъ ихъ и судитъ *тотъ*, кому ихъ игуменъ Никонъ прикажетъ» (Жал. гр. 1415—1425 гг.— АСЭ, 42). В этих предложениях устанавливается устойчивая связь *т*-слов и соотносительных местоимений, в результате, чего *т*-слова становятся показателями грамматической зависимости, требующими совместного функционирования предикативных частей, в которых они находятся, в составе сложного предложения.

Укреплению *т*-слов в главной части способствовали и другие разновидности сложных предложений, в которых указательные местоименные слова употреблялись для логического выделения характера отношений между предикативными частями. Наиболее ранние случаи употребления в сложном предложении местоименных наречий в постпозитивной главной части связаны с выражением сравнительно-сопоставительных отношений и детализацией локально-временных: назначение их состоит в том, чтобы обобщенно обозначать синтаксическую семантику придаточной части и ее смысловое отношение к главной. Как отмечают исследователи, уже к началу письменного периода в них устанавливаются соответствия: *ꙗко* (*како*, *какъ*) — *тако* (*такъ*); *где* (*идеже*) — *тутъ* (*ту*, *тамо*); *ꙗгда* (*когда*) — *тогда* [30]. Преимущественное употребление *т*-слов после препозитивной придаточной части связано с актуализацией характера отношений. Местоименное наречие *так* в значении «таким образом», «подобно тому» подчеркивает тождество отношений между соединяемыми частями, так как сравнительно-сопоставительные отношения опираются на общее содержание и структуру построений (смысловой и грамматический паралле-

---

годских, куйбышевских говорах, сближаются с простыми предложениями с развернутыми подлежащими и являются грамматически не организованными (см.: В. И. Собинникова, указ. соч., стр. 31—33).

[29] См. об этом: В. В. Назаретский, указ. соч., стр. 19.

[30] См.: Н. А. Щирокова, Из истории союзных конструкций, выражающих отношения сравнения, Казань, 1966, стр. 88; А. Н. Стеценко, Исторический синтаксис..., стр. 287.

лизм в обеих частях), например: «*Какъ* во утелъ мѣхъ воду лити, *такъ* безумнаго учити» (Сл. Дан. Зат.— Срезн., III, 917). При перестановке предикативных частей *т*-слова приобретают особую функцию: они предсказывают форму придаточной части, а также тот характер обстоятельственных отношений, в которых нуждается главная часть.

Для предложений с изъяснительными отношениями наличие *т*-слов также не является фактом достаточно древним и связано с особенностями структуры главной части, в которую входили глаголы с сильным управлением, требовавшие объектных распространителей. В составе таких предложений выступают формы местоимения $то_2$, семантически опустошенного. Это местоимение не имеет эквивалентов среди других форм указательных местоимений и появляется как результат обособления формы среднего рода в сложном предложении. Такие предложения отмечаются прежде всего в грамотах (данные, правые, жалованные), судебниках, отчетах послов, например: «И ты ухо положи на судѣ, а на мене се шли *на томъ*, цто еси конь позналъ у нѣмцина» (Новг. бер. гр. № 25, 199); «Бил ми челом игумен трецкои Сергеева монастыра з братьею о *том*, что деи у них отказываете люди в мою отчину въ Ярославль...» (Грам. в кн. Ив. Вас. 1463 г.— АСЭ, 245).

Появление местоимения в приведенных предложениях обусловлено двумя причинами. Во-первых, формы местоимения $то_2$ обычно отмечаются после глаголов речи, мысли, восприятия, при этом придаточная часть выполняет функции делиберативного объекта, выражая содержание сообщения, процесса мысли и восприятия. В период XIV — XV вв. значения прямого и делиберативного объекта после указанных глаголов дифференцируются: для оформления значения делиберативного объекта в простом предложении закрепляются предложно-падежные конструкции местного и винительного падежей. Это отразилось и в структуре сложного предложения. Так, в памятниках отмечаются предложения, в которых главная часть повторяет структуру простого предложения с делиберативным объектом. Именно этим и объясняются построения типа «... то буди тебе ведомо *про тую жалобу*, что витьбла не жалобилиса на рижаны» (Гр. рижан 1281—1297 гг.— ДРС). Первая часть здесь строится как самостоятельное высказывание, объект обозначен в главной части, придаточная часть, информативно более емкая, поясняет его. Употребление местоименных форм *о том*, *про то*, *в том*, *то*, представляющих содержание придаточной части как обобщенный объект речи, мысли, восприятия, предупреждает о раскрытии содержания речи, мысли составом придаточной части. Однако такое местоимение не стало конструктивно обусловленным и употребляется факультативно, так как характер отношений определяется глаголами, требующими объектной характеристики, т. е. характер отношений определяется до союза, на лексико-морфологическом уровне (благодаря наличию глаголов определенных семантических групп или словообразовательно и семантически связанных с ними существительных).

Во-вторых, использование местоимений поддерживалось в памятниках деловой письменности XV—XVII вв. особенностями оформления сложноподчиненных предложений других типов. В их составе широко представлены местоименные слова, предсказывающие характер отношений между предикативными частями. Так, в законодательных актах распространяются местоименные наречия со специализированным обозначением причины (*потому*, *оттого*, *затем*), в грамотах и частной переписке делового характера — целевые (*для того*), в различного рода руководствах, отчетах послов — наречия степени, интенсивности (*так*, *столь*).

Появление *т*-слов в предложениях с изъяснительными отношениями — процесс новый, их использование ограничено памятниками деловой пись-

менности [31]. При наличии особой смысловой мотивировки (логическое выделение объекта) форма местоимения *то*$_2$ предсказывает синтаксическое место зависимой части с *что* и тем самым акцентирует значение объекта: «Бил ми челом на вас игумен Вирсанофей воиновьской о *том*, что деи через мою великого князя грамоту мечете на его людей на монастырьских розмет» (Гр. в кн. Вас. Вас. ок. 1430 г.— АСЭ, 115—116).

Иногда в предложениях с изъяснительными отношениями отмечается употребление *такъ* («таким образом») в препозитивной главной части (обычно после глаголов речи) для выражения особых смысловых отношений. Например, в предложениях: «А в душевной своей описала *так*, что въ техъ селехъ воленъ язъ ее сынъ» (Дух. гр. 1467 г.— АСЭ, 137); «А иные *такъ* молвили, что они большие вѣсти для приѣхали не все-то съ торгомъ» (Пам. дипл. 1557 г., 37)— *так* является средством объективизации передаваемого сообщения (указывает на точность содержания чужой речи — «следующим образом», «вот что»). Близки к отмеченным и предложения типа: «Меж ими сꙋть самцы и самицы, которые *такъ* познаешь·что самецъ всегда листъ преже пꙋщаетъ на веснѣ нежели самица» (Назир., 259).

Появление *т*-слов, начиная с XV в, в предложениях расчлененного типа связано с дифференцированным выражением синтаксической семантики придаточной части и ее смыслового отношения к главной. Так как подчинительные союзы *яко*, *иже*, *что*, *как* и др. получили широкое распространение для обозначения отношений разного характера и стали знаками подчинения, использование *т*-слов в главной части (*потому*, *для того*, *так* и др.) было связано с уточнением значения и функций этих союзов. В этом плане интерес представляет выдвинутое В. А. Белошапковой положение о таких дифференциальных признаках подчинения, как предсказуемость/непредсказуемость связи и ее обязательность/необязательность [32]. Соотносительные слова *потому*, *оттого*, *для того*, *так* и др. не только сигнализируют об обязательном следовании придаточной части, но и предсказывают ее форму. В результате создаются условия для слияния *т*-слов с простым союзом придаточной части (*что*, *как*) и образования составных союзов, дифференцированно обозначающих смысловые отношения.

Изучение синтаксической роли указательных местоимений показывает, что ранние случаи их употребления в сложноподчиненном предложении с определительными отношениями (отмечаются уже в памятниках XI в.) в анафорической функции обнаруживают совпадение с употреблением в самостоятельном предложении: они служат для установления смысловой зависимости с предшествующей предикативной единицей. Их анафорическая функция в этом случае синтаксически не обусловлена, указательные местоимения получают конкретизацию в условиях контекста, однако таким контекстом может быть не обязательно сложное предложение.

С развитием новых стилей и жанров (ср. распространение жанров официально-делового стиля: грамоты, челобитные, «роспросные» речи, статейные списки русских послов) создается благоприятная почва для вхождения элементов живой речи в деловую сферу. Здесь они приобретают свойства регулярно употребляемых, закрепляются в устойчивых схемах построения синтаксических единиц, приобретают логическую стройность

[31] Материалы говоров свидетельствуют об отсутствии *т*-слов в сложноподчиненных предложениях с изъяснительными отношениями (такие примеры единичны). См. *об этом*: Л. М. Л о с е в а, *Организация сложного предложения в курских говорах*. АКД, Киев, 1953, стр. 8; В. И. С о б и н н и к о в а, указ. соч., стр. 54. По наблюдениям В. И. Собинниковой, «соотносительные местоимения отсутствуют даже в том случае, если в литературном языке глагол требует обязательной его постановки: *Я не щиталас', что я старая*» (указ. соч., стр. 56).

[32] В. А. Б е л о ш а п к о в а, Современный русский язык. Синтаксис, М., 1977, стр. 26.

и организованность. В результате сложного взаимодействия устной речи и особенностей ее письменной организации разговорная конструкция в деловой письменности претерпевает изменения в наиболее важном звене сложноподчиненного предложения — средствах соединения предикативных частей. *Т*-слова уже в составе сложноподчиненного предложения, характеризующегося подвижностью частей, приобретают новые функции — они предупреждают о появлении предикативной единицы. Известно, что усиление роли деловой сферы в общественно-речевой практике способствует тому, что основные черты, свойственные деловому языку Московского государства, определили нормы русского литературного языка и в национальный период [33]. Поэтому распространение *т*-слов в разных по жанрово-стилистической характеристике памятниках письменности XV—XVII вв. способствует не только укреплению предложений местоименно-соотносительного типа, именно *т*-словами отличавшихся от своего прототипа. В этот период на семантико-синтаксической основе *т*-слов формируются составные союзные образования типа *потому что*, становление которых связано со сложным преобразованием элементов устной речи в устойчивую традицию делового письма с актуальной для него потребностью точного обозначения синтаксических отношений. В результате появления соотносительных слов происходит обособление средств связи, закреплявшихся в письменно-литературном языке, от средств соединения частей сложноподчиненного предложения в разговорной речи.

Цитируемый материал дается по следующим изданиям:

Акты, собранные археографическою экспедициею Академии наук, I, Спб., 1836 (ААЭ); Акты социально-экономической истории Северо-восточной Руси конца XIV — начала XVI вв., I, М., 1952 (АСЭ); Ф. Буслаев, Русская хрестоматия. Памятники древней русской литературы и народной словесности, М., 1901 (Дух. зав. Клим. ок. 1270 г.; Гр. Полоцк. епископа ок. 1300 г.); В. И. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, I—IV, М., 1955—1956 (Даль); Изборник 1076 г., М., 1965 (Изб. 1076 г.); Картотека словарей древнерусского языка XI—XIV вв. (ДРС) и старорусского языка XV—XVII вв. (СРС) Института русского языка АН СССР; «Назиратель», М., 1973 (Назир.); С. П. Обнорский, С. Г. Бархударов, Хрестоматия по истории русского языка, I, М., 1952 (Гр. Мст. 1130 г.; Послеслов. к Остр. ев.); Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот, М., 1965 (Новг. бер. гр. № 25); Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными, I, СПб., 1910 (Пам. дипл.); Правда Русская, I, М.—Л., 1940 (Рус. пр.); Сборник Кирши Данилова, СПб., 1901 (Кир. Д.); «Синайский патерик», М., 1967 (Син. пат.); И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, I—III, СПб., 1893, 1903, 1912 (Срезн.); Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII—XIX столетий. Собрал и приготовил к печати П. Симони, Сборник ОРЯС, 66, СПб., 1900 (Сим. посл.); А. А. Шахматов, Исследование о двинских грамотах XV в., СПб., 1903 (Дв. гр. № 53); его же, Исследование о языке новгородских грамот XIII—XIV века, СПб., 1886 (Новг. гр. №№ 1, 3, 12, 16).

---

[33] См.: Ф. П. Филин, О языке деловой письменности, в кн.: «Вопросы филологии», М., 1974, стр. 36.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1980

МУРЬЯНОВ М. Ф.

К ИСТОРИИ АДЪЕКТИВНОЙ ФЛЕКСИИ *-ОГО*

Рассматривая отражение аканья в древнерусской письменности, Ф. П. Филин привел все те немногие случаи, когда это явление отмечено исследователями в ранних памятниках, и пришел к выводу, что «вопрос может считаться решенным только тогда, когда число такого рода находок значительно увеличится» [1]. Теорий возникновения аканья много [2]. Нужны «факты — „хлеб истории“» [3], а их мало.

Многие русисты вслед за А. А. Шахматовым считают, что аканье возникло не ранее второй половины XII в. в бассейне Оки; мнение Ф. П. Филина, что это явление развилось уже в дописьменный период, имеет мало сторонников [4]. Однако правоту в научном споре не всегда можно определять голосованием или ссылкой на авторитеты, интереснее находить какие-то другие пути.

В этой связи представляет некоторый интерес древнейший славянский текст рождественского кондака Романа Сладкопевца, византийского поэта VI в. Он находится в Типографском Уставе конца XI — начала XII в., принадлежащем библиотеке Третьяковской галереи (шифр К-5349). Рукопись получила свое — явно нелепое — название по прежнему местопребыванию в библиотеке Синодальной типографии, но еще раньше, в XVII в., она принадлежала псковскому женскому монастырю св. Духа со Усохи [5]. Единственное летописное упоминание этого монастыря относится к 1484 г.[6], основан он был не раньше XIV в.[7]. Глаголическая приписка на поле л. 124 рукописи *Михалъ псалъ Микоуле* говорит как будто о том, что писец Михаил изготовил этот литургический документ для церкви св. Николы, неизвестно которой.

Б. А. Успенский подчеркнул значение кондакарной части Типографского Устава как фонетического источника: будучи предназначенной для оснащения кондакарной музыкальной нотацией, она писалась с повышенной тщательностью и отражает скорее реальное произношение, чем ор-

---

[1] Ф. П. Филин, Происхождение русского, украинского и белорусского языков, Л., 1972, стр. 121—122.

[2] Ср.: В. К. Журавлев, Генезис аканья с точки зрения теории нейтрализации, ВЯ, 1974, 4; G. J. Stipa, Ist das russische Akanje durch Substratwirkung entstanden?, ZfslPh, 37/2 (1974); R. Auty, The problem of Russian akan'je, «Transactions of the Philological Society. 1974», Oxford, 1975.

[3] Ф. П. Филин, указ. соч., стр. 97.

[4] Л. Л. Касаткин, Аканье, в кн.: «Русский язык. Энциклопедия», гл. ред. Ф. П. Филин., М., 1979, стр. 14—15.

[5] А. А. Покровский, Древнее псковско-новгородское письменное наследие, М., 1916, стр. 78.

[6] «Того же лѣта свершена бысть церковь камена Духъ святыи на Завеличьи, въ Иглине манастыри» («Псковские летописи», 2, под ред. А. Н. Насонова, М., 1955, стр. 64).

[7] Г. И. Вздорнов, Рисунки на полях Типографского Устава, в сб.: «Древнерусское искусство. Рукописная книга», М., 1972, стр. 91.

фографическую традицию [8]. Интересующий нас кондак начинается словами **Дѣва днсь пребогатаа ражаѥть** (л. 46). В оригинале:

Ἡ παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον τίκτει [9].

Обычно в Типографском Уставе текст повторяется растяжным письмом с кондакарной нотацией, но в данном случае такого повторения нет. Но в этой же рукописи есть примеры, когда рождественский кондак, в силу древней системы пения «на подобен», указан в качестве музыкального образца для других кондаков и поэтому обозначен кратким зачалом. Это сделано для кондаков Стефану Новому, 28 ноября (л. 40) и Стефану Первомученику, 27 декабря (л. 47), где в рубриках читаем зачало: *Два днсь пребогатаго.* Противоречие объяснимо: полный текст кондака пели, а потому писали с точностью фонетической транскрипции, а обозначение подобна через краткое зачало имело значение отсылки, она не произносилась.

Может быть, написание *пребогатаа* представляет собой форму род.-вин. падежа от прилагательного *пребогатъ* [10]? Такое объяснение приходится отклонить по метрическим соображениям. В кондаке слово должно быть пятисложным, счету слогов переводчик придавал значение, как можно убедиться по тексту всей строфы, имеющему несомненные признаки стиховой организации — колоны и даже гомеотелевты, причем именно в тех местах, где они находятся и в греческом оригинале. Общее число слогов греческой строфы — 76, что, случайно или нет, равно числу названных Евангелием (Лк 3, 23—38) предков Христа, рождение которого является сюжетом произведения Романа Сладкопевца [11]. Славянский перевод соблюсти это число слогов не мог, так как приоритет давался пословной семантической эквивалентности, но, будучи однажды выполненным, этот перевод уже не допускал колебаний получившегося числа слогов, стабилизирующим фактором было то, что текст кондака пелся. На материале ирмосов Э. Коммидер пришел к выводу, что славянских переводчиков и писцов ритмико-мелодическая правильность интересовала больше, чем предупреждение лексико-грамматических ошибок [12]. Первое правило старообрядческой риторики — **дабы послѣднїа слоги в' реченїахъ чисто произносилися** [13] — в литургическом произношении существовало всегда, и в первую очередь для nomina sacra, которые и в палеографическом отношении примечательны повышенным вниманием писца. Это было доказано на византийских и латинских рукописях [14] и имеет прочные основания в феноменологии религии. Выдвижение формулы *да святится имя твое* на первое место в молитве «Отче наш», где *хлебу насущному* отведено четвертое место, как нельзя лучше отразило специфику религиозного отно-

---

[8] Б. А. Успенский, Древнерусские кондакари как фонетический источник, в сб.: «Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации», М., 1973.

[9] Romanos le Mélode, Hymnes, p.p. J. Grosdidier de Matons, 2, Paris, 1965, стр. 50.

[10] См. богатейшую подборку сравнительного материала: Н. И. Толстой, Значение кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке, «Вопросы славянского языкознания», 2, М., 1957.

[11] H. Thurn, Die Hymnentexte, в кн.: «Das Buch der heiligen Gesänge der Ostkirche», hrsg. von E. Benz, H. Thurn, C. Floros, Hamburg, 1962, стр. 60.

[12] E. Koschmieder, Die ältesten Novgoroder Hirmologien-Fragmente, 2, München, 1955, стр. 5.

[13] Б. А. Успенский, Архаическая система церковнославянского произношения, М., 1968, стр. 151

[14] L. Traube, Nomina sacra, München, 1970; ср.: О. А. Добиаш-Рождественская, История письма в средние века, Пг., 1923, стр. 160—170.

шения к номинации Бога. Свиток, в котором начертана тетраграмма имени Божия, иудеи не уничтожали и после полного износа — он подлежал захоронению с ритуальными почестями. Как прочесть это имя, какими гласными (только однажды в год, в день Очищения) должна быть вокализована консонантная тетраграмма,— было тайной, хранившейся устно в старшей линии первосвященнического рода, и никто не должен был слышать этого призыва, «вливаемого по буквам в звуки тысячных хоров, сопровождаемые трубами, тимпанами и другими музыкальными инструментами» [15].

Не означает ли написание *пребогатаа*, что писец по ошибке связал это прилагательное с существительным **дѣва**, и тогда перед нами именительный падеж? Трудно ожидать от средневекового книжника столь грубой ошибки в тексте, который всегда был на виду — до XII в. этот кондак исполнялся в Константинополе на императорских банкетах певчими соборов св. Софии и св. Апостолов, любили его и славяне [16]. Если бы это была ошибка, ее скорее всего исправили бы при многократном использовании рукописи по прямому назначению. Дело в том, что **пребогатыи**, ὑπερούσιος — «чрезвычайно важное в богословском отношении философское определение божества» [17], хотя и выраженное дофилософским термином, в славянском языке связанным с понятием «собственность, владение, богатство» [18]. Отсюда — расплывчатость, делавшая эпитет **пребогатыи**, в отличие от ὑπερούσιος, применимым не только к Христу, но даже, например, к первому русскому святому — князю Борису, в икосе борисоглебской службы (в греческом оригинале которого русскому *пребогатыи* соответствует πανόλβιος [19]), хотя в Киевской Руси каждому было ясно, что прижизненные владения князя Бориса ничего экономически выдающегося собой не представляли. Были и другие попытки передачи смысла греч. ὑπερούσιος. Как термин идеалистической философии нового времени это обычно *пресущный* (материалисты предпочитают называть то же самое более понятно — *сверхъестественным*, с презумпцией отрицания). Такой облик термина однако не нов, архимандрит Амфилохий отыскал его в Минее 1441 г.[20], пражские лексикографы передвинули эту границу указа-

---

[15] П. А. Флоренский, Словесное служение, «Богословские труды», 17, М., 1977, стр. 188. Лингвистический курьез — поиски Робеспьером Имени для нужд новоучрежденного культа Верховного Существа (J. Deprun, A la Fête de l'Etre Suprême. «Annales Historiques de la Révolution Française», 44, Paris, 1972, стр. 161—180).

[16] A. Dostál, Romanos le Mélode en traduction slavonne, «Byzantina», 5, Thessaloniki, 1973.

[17] М. Н. Скабалланович, Христианские праздники, 4, Киев, 1916, стр. 128. Об употребительности этого термина в патристике см.: G. W. H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford, 1968, стр. 1441. Ср. в ленинградском Евхологионе X в. (ГПБ), «сапфире синайском», как называл его Порфирий Успенский: Θεε πανάχραντε καὶ παντέφορε καὶ ὑπέρτατε καὶ ὑπερούσιε (М. И. Орлов, Литургия св. Василия Великого, Первое критическое издание, СПб., 1909, стр. X, 358; A. Jacob, Les prières de l'ambon du Leningr. gr. 226, «Bulletin de l'Institut Belge de Rome», XLII, Bruxelles — Rome, 1972, стр. 125, n° 18).

[18] Греч. термин οὐσία вначале имел такое же значение, затем у Платона развилась «семантическая пестрота, делающая сведение всех его значений воедино весьма тяжелой филологической задачей» (А. Ф. Лосев, История античной эстетики. Высокая классика, М., 1974, стр. 230). «Богословски же выражаясь, это начало реализации, эта полнота бытийственных потенций называется οὐσία, Οὐσία, то есть ἐσία от εἰμί — бытийственность» (П. А. Флоренский, указ. соч., стр. 139).

[19] F. Keller, Das Kontakion aus der ersten Služba für Boris und Gleb, «Schweizerische Beiträge zum VII. Internationalen Slavistenkongress», Zürich, 1973, стр. 70.

[20] Архимандрит Амфилохий, О греческом Кондакаре XII—XIII века Московской синодальной библиотеки сравнительно с древним славянским переводом, «Приложение к XVI тому Записок Имп. Академии наук», 4, СПб., 1869, стр. 25.

нием на канон св. Вячеславу в Минее 1095 г.[21]. Ср. также выражения **ха прѣестьствьна ба** (апрельская Минея XI/XII в., ЦГАДА, фонд 381, № 110, л. 44) или **иже ѿ твоѥю оутробоу паче естьства дно въплътивъ сѧ** (январская Минея XI/XII в., ЦГАДА, фонд 381, № 99, л. 6). В синодальной печатной редакции рождественского кондака утвердился вариант *пресущественный*, в других контекстах известный с XI в. (Срезневский, II, стлб. 1701).

Решающий аргумент против того, чтобы допустить в *пребогатаа* вероятность им. падежа и соответственно синтаксической связи этого прилагательного с именем **дѣва**, находится в поэтике кондака, в «кипящем остроумии антитетических сопоставлений и антиномических утверждений»[22]. В этом произведении, в одну ночь сделавшем безвестного Романа константинопольской знаменитостью, процитированная нами фраза содержит две пары противоположностей. Первая: дева — но рождает. Во второй сопрягаются бытие и надбытийственность, *днесь* дано не столько в значении календарного отрезка времени, сколько как реальность посюсторонней жизни[23], и ей противопоставлен тот, кто, по неизреченности собственного имени, назван субстантивированным прилагательным.

В русских литургических рукописях XI—XII вв. обычны написания адъективной флексии *-ааго*, *-аго*, *-ого*, можно встретить даже *-аого* (апрельская Минея № 110, л. 91об). Что засвидетельствованное Типографским Уставом написание *-аа* было тоже возможным, доказывается и стихирой апостолу Иакову в апрельской Минее № 110, на л. 107: **Свѣтъ ты мирѣу прѣбгате·ѡт прьваа** свѣта·**лви сѧ иѧкове.** Здесь род. падеж *прьваа* — вне всяких подозрений, как и в греческом первоисточнике: Φῶς σὺ τοῦ κόσμου, πανόλβιε, παρὰ τοῦ πρώτου[24].

Интерес представляет случай, когда за флексией следует слово, начинающееся с *а-*, — в выражении *падъша адама*, написанном без словоделения (январская Минея № 99, л. 100об). В такой фонетической позиции гласный в месте контакта относится как к первому, так и ко второму слову, ср. в этой же рукописи *бжствьныигнатии* (л. 116 об), *страстьми·плътьскыимигнатие* (л. 118).

Из рассмотренных примеров можно сделать вывод не только о раннем аканьи во флексии *-аго*[25], но и о природе промежуточного согласного звука. Еще в 1927 г. Н. Н. Дурново находил, что в этой флексии следует предполагать для древнейшей эпохи звук, отличный от *g*, представляющий собой задненебный фрикативный γ или фарингальный *h*, ослабленный даже до полного фонетического выпадения; в зиянии позже развилось *v*[26]. С отнесением этого явления к древнейшей эпохе не согласился С. Б. Бернштейн, считающий что «достоверные свидетельства изменения в русском языке *g* в γ относятся лишь к XIV в.»[27]. Но написания

[21] «Slovník jazyka staroslověnského», 32, Praha, 1977, стр. 494. См.: И. В. Я г и ч, Служебные Минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095—1097 гг., СПб., 1886, стр. 0219, 23.

[22] П. А. Ф л о р е н с к и й, Столп и утверждение истины, М., 1914, стр. 158. Цитирую по кн.: С. С. А в е р и н ц е в, Поэтика ранневизантийской литературы, М., 1977, стр. 236.

[23] Эта семантическая потенция слова σήμερον отмечена в текстах Оригена, см.: G. W. L a m p e, указ. соч., стр. 1232.

[24] H. F o l l i e r i, Initia hymnorum Ecclesiae graecae, 5, Città del Vaticano, 1966, стр. 32.

[25] Тенденция к аканью в январской Минее № 99 проявилась и в префиксе *о-*, ср. выражение **раздрѣши аканьноую ми дшоу** (л. 115 об.).

[26] Н. Н. Д у р н о в о, Введение в историю русского языка, М., 1969, стр. 149.

[27] С. Б. Б е р н ш т е й н, Очерк сравнительной грамматики славянских языков, М., 1961, стр. 292—296.

пребогатаа, *прьваа* зафиксировали стадию зияния уже для конца XI — начала XII в. Вряд ли фонетически беспричинны случаи, когда и местоимение *того* выглядит как *то* (**нестория погыбѣли прѣдалъ еси·обличивъ то блжне безоумиа** — апрельская Минея № 110, л. 57, стихира Акакию Мелитенскому; **наслажаа са·то** [=τούτου] **млтвми** — там же, л. 77об, канон Феодору Сикеоту) — вероятнее, что писец так воспринимал диктуемое [28]. Эти факты могут явиться полезной вехой в прояснении перехода *g* > *v*, на неизученность которого указывали многие авторы [29].

В подготовленной под руководством Р. И. Аванесова диссертации об июльской Минее № 121 того же комплекта ЦГАДА сделан вывод: «На основании сведений, полученных путем анализа написаний, встретившихся в исследуемой рукописи, трудно судить о звуковом эквиваленте буквы *г*. Однако ареал сопутствующих явлений и данные современных новгородских диалектов свидетельствуют, что фонема [г], обозначающаяся буквой *г*, скорее всего, произносилась как звонкий взрывной согласный звук» [30]. Но что произошло в тропаре этой Минеи, живописующем радость Евы по случаю попрания мюроносицами древнего змия? У византийского поэта Феофана Клейменого он выглядит так:

Ἡ προμήτωρ τὸν ταύτην,
λόγοις δελεάσαντα καὶ ἐξοικίσαντα,
Παραδείσου πάλαι,
καθορῶσα ποσὶ συμπατούμενον,
ἱερῶν γυναίων,
γνώμην ἀνδρείαν κεκτημένων,
σὺν αὐταῖς αἰωνίως ἀγάλλεται [31].

В Минее № 121 на л. 21 читаем: **Прабаба словесы·прѣльщающаго ю· и сельшао раа дрѣвле·зьрящи ногама попираема·стхъ женъ·волю моужьскыихъ имѣл еси·и съ ними вѣчно веселить са.** Перевод во многих отношениях не блестящий, но для нашего рассуждения важно то, что ошибка диктанта *сельшао* «выселившего» [32] не могла бы произойти при звонком взрывном согласном *г* во флексии. В «ареале сопутствующих явлений» есть случай, когда в каноне первомученице Фекле, 24 сентября, греч. οὐκ εμαλακίσθης, ц.-слав. **не оумагчилася еси** приобрело в новгородской Минее 1095 г. вид **не оумачи са** [33], здесь качество фонемы, обозначаемой буквой *г*, мало соответствует выводам диссертации.

В итоге можно сказать, что данные Типографского Устава и Миней ЦГАДА имеют принципиальное значение: здесь раннее аканье проступило сквозь традиционную орфографию хоть и в единичных случаях, но таких, за которыми впервые видна продуктивная грамматическая модель.

---

[28] Писать под диктовку рукопись такого графически неоднородного состава, как Типографский Устав, невозможно, писец должен видеть облик воспроизводимой страницы. Но для ненотированных Миней диктовка обеспечивала наибольшую производительность, параллельную работу нескольких писцов, без чего нельзя было удовлетворить спрос на эти рукописи. Оба способа имеют свои особенности в характере и частотности ошибок. Ср.: Е. Ф. Карский, Славянская кирилловская палеография, Л., 1928, стр. 266—271.

[29] Н. Ван-Вейк, История старославянского языка, М., 1957, стр. 124; Р. Нахтигал, Славянские языки, М., 1963, стр. 220—222; В. М. Марков, Заметки по истории русского языка, в сб.: «Вопросы истории, филологии и педагогики», 2, Казань, 1967, стр. 125—128.

[30] Л. Н. Карягина, Язык служебной Минеи конца XI— начала XII в. Палеография. Графика и орфография. Фонетика. АКД, М., 1963, стр. 19.

[31] Μηναῖον τοῦ Ἰουλίου, Ἐν Ἀθήναις, 1904, стр. 154.

[32] В Минее следующего поколения (ЦГАДА, фонд 381, № 122, л. 97 об), датируемой XII в.: **исельшаго ѡть рака**.

[33] И. В. Ягич, указ. соч., стр. 0190, 2.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1980

ГЛОНТИ А. А.

К ВОПРОСУ О ТРЕХ СУФФИКСАХ МНОЖЕСТВЕННОСТИ В ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ

По традиции в грузинском языке в именах различают два суффикса множественности *-n* (им. и зват. падежи), *-t* (косв. падежи) и *-ев*. Это отмечается в трудах как ранних [1], так и более поздних [2], включая и современные [3]. Такое мнение настолько утвердилось в специальной литературе (а отсюда и в школьной грамматике), что ни у кого никогда не возникало сомнений в его адекватности. Цель настоящей статьи — по возможности полно осветить вопрос образования множественности посредством трех суффиксов (*-eb/-ep*, *-e-pe*; *-n/-en*, *-an* и *-t* (*a*), *-et*, *-at*) и подвергнуть анализу эти системы на основе данных древнего, среднего, современного грузинского языка и диалектов. Закономерно возникает вопрос, почему все-таки до сих пор нередко считают, что существует только два суффикса, в то время как их три? Как же следует относиться к теории двух суффиксов? Г. А. Климов был прав, когда заметил, что «в современном грузинском языке в именах налицо три показателя множественности *-eb*, *-n*, *-t*» [4].

Прежде всего, следует отметить, что в специальной литературе с самого начала положение о двух суффиксах множественности в грузинском языке распространилось без достаточных на то оснований: отмечалось только, что суф. *-eb* создает полную парадигму (встречается во всех падежах), а суф. *-n*, *-t* — неполную (*-n* встречается только в им. и зват., а *-t* (*a*) — эргат., дат. и род.) [5].

---

[1] F.-M. Maggie, Sjntagmaton linguarum orientalium, quae in Georgiae regionibus audiuntur (1643 г), Romae, 1670, стр. 35, 40—41; Антоний I, Грузинская грамматика (1763 г.), Тбилиси, 1885, стр. 7, 9—14, 15, 17—19 (на груз. яз.); Д. Кипиани, Новая грузинская грамматика, СПб., 1882, стр. 25—26, 31 (на груз. яз.); Ф. Жорданиа, Грузинская грамматика, Тбилиси, 1889, стр. 131 (на груз. яз.).

[2] М. Джанашвили, Грузинская грамматика, Тбилиси, 1906, стр. 16 (на груз. яз.); С. Хундадзе, Грузинская грамматика, Кутаиси, 1907, стр. 7—11 (на груз. яз.); Н. Марр, Грамматика древнелитературного грузинского языка, Л., 1925, стр. 34—39 (далее — Грамматика...); A. Dirr, Theoretisch-praktische Grammatik der modernen Georgischen (grusinischen) Sprache, Wien und Leipzig, 1904, стр. 44; G. Deeters, Armenisch und südkaukasisch, ein Beitrag zur Frage der Sprachmischung, «Caucasica», IV, Leipzig, 1927, стр. 48—49; N. Marr, M. Briére, La langue géorgiene, Paris, 1931, стр. 60—61, 67, 68—75.

[3] А. Г. Шанидзе, Основы грузинской грамматики, I, Тбилиси, 1953, стр. 47—48 (на груз. яз., далее — Основы...); А. С. Чикобава, Общая характеристика грузинского языка, в кн.: «Толковый словарь грузинского языка», I, Тбилиси, 1950, стр. 041 (на груз. яз.); К. Д. Дондуа, О двух суффиксах множественности в грузинском, «Язык и мышление», I, Л., 1933, стр. 43—66; Б. Т. Руденко, Грамматика грузинского языка, М.—Л., 1940, стр. 30; K. Tschenkeli, Einführung in die Georgische Sprache, I, Zürich, 1958, стр. 14, 57—59; H. Vogt, Grammaire de langue géorgienne, Oslo, 1971, стр. 30—37.

[4] Г. А. Климов, Склонение в картвельских языках в сравнительно-историческом аспекте, М., 1962, стр. 10.

[5] Н. Марр, Грамматика..., стр. 40 и сл.; А. Г. Шанидзе, Грузинская грамматика, I, Тбилиси, 1930, стр. 47—48 (на груз. яз.); его же, Основы..., стр. 47—48; А. С. Чикобава, указ. соч., стр. 041; К. Д. Дондуа, указ. соч., стр. 43—66; Б. Т. Руденко, указ. соч., стр. 31.

Включение суф. *-n* и *-t* в одну парадигму, как это делается в специальной литературе, не имеет под собой достаточно твердой почвы, ибо фактическое положение вещей этого не подтверждает. Наоборот, имеются основания утверждать, что полную парадигму создает не только *-eb*, но и *-n/-en*, *-an* и *-t(a)/-et*, *-at*. Поэтому следует говорить не о двух, а о трех суффиксах множественности в грузинском языке.

1. Суф. *-eb* относится не к новообразованиям, а к элементам древнего происхождения, как и *-n* и *-t*. Поэтому мысль о новизне первого и архаичности остальных не находит убедительного обоснования.

Памятники древнегрузинского языка подтверждают наличие суф. *-eb* в самую раннюю эпоху. Правда, употреблялся он реже, чем в среднем и современном грузинском языке, но это не меняет существа дела: относительно низкая продуктивность суф. *-eb* по сравнению с *-n* и *-t(a)* не мешала ему вполне четко выражать категорию множественности. Г. Деетерс предполагал, что первоначально суф. *-eb* был несвойствен древнегрузинскому языку, и формы множественности с этим суффиксом внесены в текст позже переписчиками [6]. Однако в древнегрузинских (оригинальных и переводных) памятниках форм на *-eb* так много и этот суффикс обозначает множественность такого разнообразия имен, что едва ли возможно говорить только об исправлениях, внесенных переписчиками. Вот несколько характерных примеров из древнегрузинских классических оригинальных и переводных памятников.

В оригинальном сочинении V в. читаем: *amboxi dedebisa da mamebisaj* «мятеж женщин и мужчин» (Якоб Хуцеси, Мученичество Шушаник, 1938, IX, 10). В переводном сочинении IX в. встречаются: *ǫrmebi da dedebi* «юноши и матери» (Синайский многоглав 864 г., Тбилиси, 1959, 273, 20); *eṭlebi* «коляски» (там же, 132, 16); *maxwilebi* «мечи» (там же, 275, 1); *guamebi* «трупы» (там же, 278, 6); *çqaroebi* «родники» (там же, 278, 18). В оригинальных сочинениях X в. имеем *senaḳebisatwis* «для келий» (Г. Мерчуле, Жит. Григория Хандзтийского, изд. Н. Марра, СПб., 1911, 36); *γmrteebisaj* «богов» (там же, XI, 23); *mṭilebi* «сады» (там же, XXII, 26); *soplebi* «деревни» (там же, XXII, 39); *çignebi* «книги» (Г. Мтацмидели, Жит. Иоанна и Евфимия, Тбилиси, 1946, 19, 3); *saxelebi* «имена» (там же, I, 9); *senaḳebi* «кельи» (там же, 15,8; 60, 3); *xaṭebi* «иконы» (там же, 31, 16; 32, 4) и т. п.

Аналогичная картина налицо и в других опубликованных и неопубликованных памятниках древнегрузинской письменности. Следует при этом заметить, что формы на *-eb* нередко употребляются параллельно с формами на *-n* и *-t*.

Что же касается среднего и современного грузинского языка, то здесь, начиная с XII в., суф. *-eb* обычно образует множественность в именах вместе с суф. *-n* и *-t*. Необходимо подчеркнуть, что в некоторых (более поздних списках) древнегрузинских памятников формы с суф. *-eb* действительно могут быть отнесены к исправлениям переписчиков и редакторов, однако только этим фактом невозможно определить хронологические границы упомянутых памятников и подтвердить их позднейший характер. Более того, формы с суф. *-eb*, так же, как и формы с *-n* и *-t*, диахронически могут восходить независимо друг от друга к тем или иным диалектным слоям. Нам известно, что в древнейших центрах грузинской письменности работали и творили представители различных наречий, и вполне естественно, что в созданных или переписанных ими сочинениях отражаются соответствующие диалектные нормы. Это вполне закономерно, тем более что в те вре-

---

[6] G. Deeters, указ. соч., стр. 48.

мена еще не было и не могло быть строгого единообразия норм литературного языка.

Данные картвельских языков свидетельствуют о том, что *-eb* и его соответствия (*-ep*, *-e-p-e*) должны были быть общими для грузинско-колхского языкового единства. Груз. *-eb*, мегр. *-ep*, лаз. *-e-p-e*, как известно, реконструируется для эпохи грузинско-занского языкового единства [7] (ср. груз.: *ʒrox-eb-i*, мегр. *čxoul-ep-i*, лаз. *puǯ-e-p-e* «коровы»). В лазском параллельно с суф. *-e-p-e*, который является закономерным соответствием груз *-eb* и мегр. *-ep*, для образования мн. числа используется также *-n* и, как полагал Н. Я. Марр, его вокализованный вариант *-en* (в формах типа *orwo-n-er-i* «восьмые», *čxoro-n-er-i* «девятые» и т. п.) [8]. В местоимениях Н. Я. Марр выделял здесь и *-ni* [9]. А. С. Чикобава отмечал, что в лазском под влиянием *-a*, *-o*, *-u* в основе суф. множественности *-ep* теряет вокальный сегмент. Должно было быть **bucxa-ep-e* «ногти» (или: **bucx-ep-e*), **orʒo-ep-e*, **ḳaṭu-ep-e*, а имеем: *bucxa-p-e*, *orʒo-p-e*, *ḳaṭu-p-e* [10], соотв. «ногти», «стулья», «кошки»).

Таким образом, нельзя считать обоснованным тезис об инновативности суф. множественности *-eb*. Он такой же традиционный элемент грузинского языка, как и другие структурные элементы, в том числе *-n* и *-t*. По-видимому, каждый из этих суффиксов происходит из той или иной диалектной стихии на определенном этапе развития литературного языка.

2. Суф. *-n/-en*, *-an* одинаково могут выражать множественность как в именах, так и в глаголах. Не исключено, что в именах эти суффиксы исторически должны были иметь все падежи, что же касается глаголов, то там они обозначали множественность как субъекта, так и объекта. Таким образом, *-n/-en*, *-an* являются общими и для имен, и для глаголов:

а) в именах: *mama-n-i* «отцы», *xel-n-i* «руки» и др. Консонантный вариант суф. мн. числа (*-n*) реализован в им. и зват. падежах (*mama-n-i*, *mama-n-o* «отцы»), а вокализованный вариант (*-en*) должен был, по-видимому, выступать во всех падежах имен, но в литературном языке он не сохранился; последний можно усмотреть лишь в некоторых диалектах как подтверждение ранее существовавшей полной системы (ср. гур. *badiš-en-i* «внуки», *badiš-en-ma*, *badiš-en-s*, *badiš-en-is*, *badiš-en-it*, *badiš-en-at*, *badiš-en-o*) [11]. В полном виде он реализован (как в литературном языке, так и в диалектах) только в местоимениях: *ese-n-i* «эти», *ege-n-i* «эти», *mag-e-n-i* «те», *ig-e-n-i* «они». Н. Я. Марр указывает на вариант *-en* в пяти падежах: им. *ig-e-n-i* «те», *ag-e-n-i* «эти», эргат. *ig-e-n-ma* «те», *ag-e-n-ma* «эти», дат. *ig-e-n-s* «тем», *ag-e-n-s* «этим», род. *ig-e-n-is* «тех», *ag-e-n-is* «этих», твор. *ig-e-n-it* «теми», *ag-e-n-it* «этими» [12] (дополняем: *ig-e-n-at* «теми», *ag-e-n-at* «этими»). «В новогрузинском, —писал он, —окончание *-en* в местоимениях 3-го лица *igi* «тот», *agi* «этот» образует общую для всех падежей основу мн. числа *-ig-en*, *ag-en*, которая затем склоняется так же, как именные основы с народным окончанием мн. числа *-eb*» [13]. Соответствующие парадигмы можно привести прежде всего из диалектов (ср., например, гур. им. *imgeni* «те», эргат. *imgenma*, дат. *imgens*, *imgenis*, твор. *imgenit*,

---

[7] Г. А. Климов, Этимологический словарь картвельских языков, М., 1964, стр. 78.

[8] Н. Марр, Грамматика чанского (лазского) языка, СПб., 1910, стр. 13, 22.

[9] Там же, стр. 25.

[10] А. С. Чикобава, Грамматический анализ чанского (лазского) диалекта, Тбилиси, 1936, стр. 59 (на груз. яз.).

[11] А. А. Глонти, Случай двойного образования множественности в гурийском, «Тр. Тбилисского гос. ун-та», I, 1936, стр. 342 (на груз. яз.); его же, Топонимия Мцхеты, Тбилиси, 1975, стр. 30—31 (на груз. яз.).

[12] Н. Марр, Грамматика..., стр. 37.

[13] Там же.

обстоят. *imgenat*). Вокализованный вариант *-en*, который, как видно, образует множественность во всех падежах и создает полную систему, сохранен и в лазском (ср. *škwit-en-er-i* «седьмые»), а в мегрельском он неполный, встречается, видимо, только в диалектах, и то в двух падежах (в эргат. и дат.) — в сенакском говоре: *gur-en-k* «сердца», *ḳoč-en-k* «мужчины», *gur-en-s* «сердцам», *ḳoč-en-s* «мужчинам»; в зугдидско-самурзаканском говоре с *-en* чередуется фонетический вариант *-em*: *gur-em-s* «сердцам», *ḳočem-s* «мужчинам» [14].

б) в глаголах рассматриваемый суффикс обозначает множественность субъекта: *çer-en* «пишут», *midi-an* «(они) идут», *çero-n* «пусть пишут», *xaṭo-n* «(они) пусть рисуют»; обозначает он и множественность объекта: *da-çer-na* «написал (он их)», *dawçer-n-i* «(я их) написал»; *daçer-n-ed* «написал (ты их)», *daçer-en* «напиши (ты их)» и т. п. В глаголах вокализованными вариантами элемента *-n* являются *-en*, *-an*, *-nen*.

Суф. *-an* (*/-i + an*) обозначает множественность (собирательность) в фамильных именах во всех падежах. От *Давиташвили* образовано *Dawita-an-i*, от *Пиранишвили* *Pirana-an-i* и т. д., в которых первоначально должно было быть два *n* (*Dawita-ann-i*, *Pirana-ann-i*), но теперь сохраняется только одно [15]. В картлийском, кахетинском, кизикском, мтиульском и рачинском диалектах *-an* обозначает множество дымов, дворов: *Okrua-an-i* «Окруашвили» (во мн. ч.) *Xizan-i-an-i* «Хизанишвили» (во мн. ч.), *Bežan-i-an-i* «Бежанишвили» (во мн. ч.), [16]. В кизикском говоре в таких случаях встречается даже суф. множественности двойного образования (*-an + t*): *Berua-an-i/Berua-an-t-i* «Беруашвили» (во мн. ч.), *Abela-an-i/Abela-an-t-i* «Абелашвили» (во мн. ч.) и т. д. Таким способом образованы и сванские фамильные имена, но в них элементы *-an*, *-i-an* утратили значение множественности, ср. *-an*: *Čarksel-an*, *Margwel-an*, *Xwisṭ-an*, *Kald-an*, *Xapt-an* и др., *-i-an*: *Raṭ-i-an*, *Čarkw-i-an*, *Gasw-i-an*, *Gužež-i-an*, *Zurab-i-an* и др.[17]. Фамилии сванского происхождения распространены и в рачинском регионе: *Gogriç-i-an-i*, *Matuč-i-an-i*. Фамильное разветвление Гобеджишвили: *Šaliḳ-i-an-i*, разветвление Лобжанидзе: *Xošiṭ-i-an-i*, *Nanuḳ-i-an-i* [18].

Собственно консонантный вариант (*-n*) встречается в таких формах лексем, которые имеют два суф. множественности (*-et + -n*) и являются нормой для горнорачинского диалекта. Имеются в виду *Goči-et-n-i*, *Bela-et-n-i* и подобные обозначения [19]. Система здесь полная: им. *Beri-et-n-i* «Беришвили», эргат. *Beri-et-n-ma*, дат. *Beri-et-n-s*, род. *Beri-et-n-is*, твор. *Beri-et-n-it*, напр. *Beri-et-n-ad*, зват. *Beri-et-n-o*. В гурийском диалекте наблюдается процесс: *-n + eb*: *Xelaz-n-eb-i* «Хеладзе» (во мн. ч.), *Cxomeliz-n-eb-i* «Цхомелидзе» (во мн. ч.), *Girkeliz-n-eb-i* «Гиркелидзе» (во мн. ч.), *Sixaruliz-n-eb-i* «Сихарулидзе» (во мн. ч.). В этих основах вместо показателя множественности *-n* надо было ожидать *-en*, но в сочетании с *-eb* происходит синкопирование: *Sixarulize-n-eb-i* > *Sixarulize-en-eb-i* > *Sixaruliz-n-eb-i*. Суф. *-en* как выразитель множественности в фамильных разветвлениях сохранился в горнорачинском диалекте: *Lašxe-en-i*, *Zwiada-en-i*, *Swane-en-i*,

---

[14] И. Кипшидзе, Грамматика мингрельского (иверского) языка, СПб., 1914, стр. 030.

[15] А. Г. Шанидзе, Основы..., стр. 124.

[16] С. Макалатиа, Мтиулети, Тбилиси, 1930, стр. 78—79 (на груз. яз.); его же, Горная Рача, Тбилиси, 1930, стр. 37 (на груз. яз.); С. Н. Джанашиа, Труды, III, Тбилиси, 1959, стр. 38—39 (на груз. яз.).

[17] С. Н. Джанашиа, указ. соч., стр. 35—36.

[18] С. Макалатиа, Горная Рача, стр. 37.

[19] И. Гигинейшвили, В. Топурия, И. Кавтарадзе, Грузинская диалектология, I, Тбилиси, 1961, стр. 537 (на груз. яз.).

Ermile-en-i, *Dute-en-i* [20]. Как было указано выше, в гурийском диалекте *-en* образует мн. число имен во всех падежах *badiš-en-i* «внуки», *mezobl-en-i* «соседи» и от подобного типа основ. В имерском диалекте примером этого служит *Saxliḳac-en-i* «сродники» [21] и т. п.

Таким образом, *-n/-en* ранее образовывал мн. число имен во всех падежах. Консонантный вариант этого суф. (*-n*) сохранился только в двух падежах (им. и зват.) древнего и новогрузинского языка, что касается вокализованного варианта, то он также дошел до нас и выступает во всех падежах местоимений, фамилий и отдельных лексем. С диахронической точки зрения *-n/-en* — самостоятельная морфема множественности, равноценная *-eb*. Она является общей как для имен, так и для глаголов.

3. *-t* — древнейший суф. множественности, подобно *-n/-en* общий для имен и глаголов. Существуют его консонантный (*-t*) и вокализованный (*-et*, *-at*) варианты. Функция *-t* — обозначение мн. числа, другой роли он не выполнял и не выполняет [22]. Высказанное в специальной литературе мнение о том, что суф. *-t* одновременно обозначает и мн. число, и падеж (три падежа), не находит достаточного подтверждения. По поводу малоубедительности этого соображения мы высказывались ранее, сомневаться же в архаичности суф. *-t* не приходится. Что касается вариантов *-et* (*-at*), то они должны быть вторичными, хотя оттенок архаичности им также присущ. Суф. *-t* обозначал множественность во всех падежах [23], одна функция имелась у него и в именах, и в глаголах [24]: в именах — обозначение множественности вообще, в глаголах — множественности субъекта и объекта. Думается, что теперь это не должно быть спорным.

В древнегрузинском суф. *-t* указывал на множественность имен в пяти падежах (в эргат., дат., род., твор. и обстоят.), а в новогрузинском он сохранился лишь в трех (эргат., дат. и род.) [25]. В месхском диалекте этот *-t* встречается во всех падежах при образовании мн. числа разветвлений фамильных имен: *Zako-t-i* «Закошвили» (во мн. ч.), *Ṭetro-t-i* «Петрошвили» (во мн. ч.), *Gikora-t-i* «Гикорашвили» (во мн. ч.), *Rosṭia-t-i* «Ростиашвили» (во мн. ч.) и др.[26]. Непосредственным свидетелем этой системы является архаичное *Laḳlaḳta* «дочь Лаклакишвили» (во мн. ч.) и т. п.[27]. В топонимах *Teḳla-ti*, *ǯuma-t-i*, *Kubla-t-i* [28], надо предполагать, вокализованный вариант суф. множественности (*-at*). Система восстанавливается во всех падежах, когда совместно склоняются определение с определяемым и определяемое в ед. числе, а определение во множественном, или же когда с опре-

---

[20] С. Макалатиа, указ. соч., стр. 37; С. Н. Джанашиа, указ. соч., стр. 38—39.

[21] Ш. В. Дзидзигури, Разыскания по грузинской диалектологии, Тбилиси, 1970, стр. 156 (на груз. яз.).

[22] А. А. Глонти, Топонимия Мцхеты, стр. 29—30.

[23] А. С. Чикобава, К генезису суффиксов множественности в грузинском языке, ИКЯ, VI, Тбилиси, 1954, стр. 73 (на груз. яз.); И. Имнайшвили, Склонение имен и функции падежей в древнегрузинском, Тбилиси, 1957, стр. 386 (на груз. яз.).

[24] Н. Марр, Грамматика..., стр. 34; А. С. Чикобава, К генезису..., стр. 67—76; его же, Об основном принципе выражения множественности в системе спряжения грузинского глагола, ИКЯ, I, Тбилиси, 1946, стр. 93 (на груз. яз.).

[25] Н. Марр, Грамматика..., стр. 48—49, 50—51, 51—52, 52—53; А. Г. Шанидзе, Грамматика древнегрузинского языка, Тбилиси, 1976, стр. 32—38 (на груз. яз.); его же, Основы..., стр. 48; И. Имнайшвили, Склонение имен..., стр. 26; ср.: Ф. Жорданиа, указ. соч., стр. 161, 163—164.

[26] С. Н. Джанашиа, указ. соч., стр. 148—149.

[27] «Синодик крестного монастыря в Иерусалиме», изд. Н. Марра, СПб., 1914, стр. 69.

[28] В. Топуриа, О суффексе *-ta* в грузинских географических именах, ж. «Чвени мецниереба», Тбилиси, 1924, 11—12, стр. 7—10 (на груз. яз.); С. Н. Джанашиа, указ. соч., стр. 145, 147.

деляемым в ед. числе сочетается несколько определений во мн. числе. В таких случаях к основе имени во всех падежах прибавляется суф. множественности *-ta* и соответствующее падежное окончание. В древнегрузинском это являлось системой [29].

Что означает здесь *-ta*, падеж или мн. число? По мнению А. Г. Шанидзе, здесь элемент *-ta* передает не только мн. число, но и падеж, притом несколько падежей, так как тут не обнаруживаются другие показатели, образующие падеж: *t* обозначает и мн. число, и несколько падежей [30]. Это мнение восходит к известному положению Н. Я. Марра, которое в 1925 г. было сформулировано так: «Показатель множественности *-n* и окончание мн. числа *-ta*, воспринятые как падежные окончания, распределены между прямыми и косвенными падежами: *-n* присвоено им. падежу, а с ним зв. и неоформ. падежам... Ни показатель множественности *-t*, ни полный суффикс *-ta* сам по себе не связан с косвенными падежами. Он лишь использован в них» [31].

Это мнение распространилось и утвердилось в специальной литературе, однако без учета последних слов приведенной цитаты. Дело в том, что *-ta* фактически является не падежным окончанием, а показателем множественности, который в косвенных падежах литературного языка создает определенную иллюзию, ибо другого показателя здесь нет, хотя в диалектах во всех падежах он сохранен без изменений, а падежные окончания следуют за ним [ср. им. *Zako-t-i* «Закошвили» (во мн. ч.), эргат. *Zako-t-ma*, дат. *Zako-t-s*, род. *Zako-t-is*, твор. *Zako-t-it*, обстоят. *Zako-t-ad*, зват. *Zako-t-o*].

Первоначальной функцией суф. *-t* являлось обозначение только мн. числа имен и глаголов. Наблюдения над данными картвельских языков убеждают нас в том, что эта норма должна была существовать в период как грузинско-колхского, так и грузинско-сванского языкового единства. Общий для груз.-мегр.-лаз. *-t* закономерно соответствует сван. суф. *-šd*: *xw-i-šd* «мы есть, являемся» (эксклюз.), *l-i-šd* «мы есть, являемся» (инклюз.), *x-i-šd* «вы есть» [32]. Таким же образом в глаголах груз. *-n(-en)* соответствует мегр. *-a(n)* и лаз. *-an*, что, по мнению Г. А. Климова, отражает эпоху грузинско-занского языка-основы [33]. Сванский в некоторой степени расходится с соответствующими нормами грузинско-колхской языковой общности и использует другие аффиксы мн. числа. Этот вопрос требует дополнительного изучения. Правда, в специальной литературе высказано предположение о соответствии сван. *d* и груз. *t* [34], так как сван. *d* в ауслауте слова в результате позиционного оглушения дает *t*, но это мнение не имеет под собой достаточно твердой почвы. В последнее время против такого предположения высказался и А. Л. Ониани, отмечающий, что «мы не можем считать груз. (*-t*) следствием позиционного оглушения (*-d*)» [35].

В грузинском языке вокализованные варианты *-at*, *-et* суф. *-t* обычно употребляются для образования форм множественности (собирательности) собственных имен и фамилий.

а) *-at*, в основном сохранившийся в диалектах, обозначает множественность фамильных групп. В тушинском говоре он, например, встречается

---

[29] И. Имнайшвили, Историческая хрестоматия грузинского языка, I, ч. II, Тбилиси, 1971, стр. 150—151 (на груз. яз.); Ф. Жорданиа, указ. соч., стр. 161, 163—164.

[30] А. Г. Шанидзе, Основы..., стр. 48.

[31] Н. Марр, Грамматика..., стр. 36—37.

[32] А. Л. Ониани, Вопросы исторической морфологии картвельских языков, Тбилиси, 1978, стр. 201 (на груз. яз.).

[33] Г. А. Климов, Этимологический словарь картвельских языков, стр. 79.

[34] В. Топуриа, Сванский язык, I, Глагол, в кн.: В. Топуриа, Труды, I, Тбилиси, 1967, стр. 9 (на груз. яз.).

[35] А. Л. Ониани, указ. соч., стр. 199.

в таких контекстах: *awat ars šwelat ḳoč̣aur* [36] «болен Кочаур, сын Швелаидзе» (во мн. ч.); *guluxwat čeos bič̣ebta xidic mosṭaca* [37] «и мост утащил потомков Гулухвата, Гулухваисдзе» (во мн. ч.). Эта система более или менее известна и в других диалектах [38]. В месхском диалекте форма множественности фамилий и по сей день именно так и образуется: *Balax-at-i* «Балахашвили» (во мн. ч.), *Abul-at-i* «Абуладзе» (во мн. ч.) и т. п. [39]. Образование форм множественного числа разных фамильных имен посредством суф. *-t/-at* — общегрузинское явление. Подобные примеры наблюдаются как в восточных, так и в западных грузинских диалектах.

Для выражения множественности в фамильных обозначениях месхской диалектной традиции известно двойное образование при помощи морфем *-an* и *-t*. Соответствующими примерами изобилуют хроники XII—XVI вв., опубликованные М. Тамарашвили: *Xuci-an-t-i* «Хуцишвили» (во мн. ч.), *Abad-an-t-i* «Абадашвили» (во мн. ч.), *Kačxo-an-t-i* «Качхошвили» (во мн. ч.) [40] и под. [41]. Примеры подобного образования фамильных форм встречаются также в «Тбетском синодике», памятнике той же эпохи, что и хроники М. Тамарашвили: *Bedi-an-t-i* [42] «Бедиа» (во мн. ч.) и др. В топонимах распространен вариант морфемы *-et*, выступающий в виде *-at*; он встречается в таких основах, как *Dudnew-at-i*, *Zayn-at-i* [43] и т. п.

б) Суф. *-et* — единый показатель во всех падежах множественности в некоторых основах топонимов и антропонимов [44] — происходит путем присоединения вокалического сегмента *e* к элементу множественности *-t*, указывающему в топонимах на обычную, а в антропонимах на коллективную множественность. Это явление впервые отметил Н. Я. Марр [45]. В своих ранних работах он считал *-et* суффиксом множественности вообще и выделял его в основах даже таких топонимов, как *Duš-et-i* [46].

По нашим наблюдениям, *-et* первоначально является показателем множественного числа в фамильных обозначениях, происшедших от антропонимов и выполняющих ту же функцию в топонимах. Материалы дошедших до нас древнегрузинских памятников и современных диалектов подтверждают, что топонимы с суф. *-et* происходят именно от фамилий и обозначают собирательное множество. Таким способом, в частности, образо-

---

[36] Тушинская поэзия, собр. И. Букураули, сб. «Древняя Грузия», II, Тбилиси, 1913, стр. 6 (на груз. яз.).

[37] Там же, стр. 43; ср.: Г. И. Цоцанидзе, Пшавский диалект грузинского языка, Тбилиси, 1978, стр. 53 (на груз. яз.).

[38] С. Н. Джанашиа, указ. соч., стр. 148.

[39] И. Майсурадзе, Некоторые вопросы образования картвельских фамилий, «Тр. Тбилисского гос. пед. ин-та им. А. С. Пушкина», 23, 1969, стр. 31 (на груз. яз.).

[40] М. Тамарашвили, История католичества среди грузин, Тбилиси, 1902, стр. 403—469 (на груз. яз.).

[41] Там же, стр. 472.

[42] «Тбетский синодик», изд. Т. Енукидзе, Тбилиси, 1977, стр. 134 (540) (на груз. яз.).

[43] Н. Марр, Грамматика..., стр. 36; С. Н. Джанашиа, указ. соч., стр. 145.

[44] Н. Марр, Грамматика..., стр. 36; его же, Дневник поездки в Шавшию и Кларджию, СПб., 1911, стр. 72; К. С. Кекелидзе, Собирательные имена с суффиксом *-et* в древнегрузинском, в кн.: К. С. Кекелидзе, Этюды, III, Тбилиси, 1955, стр. 116—119 (на груз. яз.); А. Г. Шанидзе, Основы..., стр. 140; С. Н. Джанашиа, указ. соч., стр. 150—151; В. Д. Дондуа, О «Липаритет» и аналогичной форме фамильных названий в грузинских исторических источниках, «Исторические разыскания», I, Тбилиси, 1967, стр. 101—128 (на груз. яз.); И. Имнайшвили, Склонение имен.., стр. 385; А. П. Джишиашвили, Об образовании географических имен с окончанием *-et*, «Тр. Тбилисского пед. ин-та иностр. языков», I, 1958, стр. 451; А. А. Глонти, Топонимия Мцхеты, стр. 25—28.

[45] Н. Марр, Грамматика..., стр. 36.

[46] Н. Марр, К истории передвижения яфетических народов с юга на север Кавказа, ИАН, Пг., 1916, стр. 1399.

ваны имена, которые встречаются в древнегрузинских классических памятниках: *Lipariṭ-et*, *Gagiḳ-et*, *Sukman-et*, *Dawit-et*, *Waxṭang-et* и им подобные. Впервые на эти имена обратил внимание М. Броссе. В настоящее время они толкуются как собирательные имена [47], обозначающие множественность фамильных имен, происшедших от антропонимов. На старую традицию аналогичного образования разветвлений фамилий определенно указывает «Тбетский синодик», отображающий реалии жизни исторических провинций Грузии XII—XVI вв. Шавшети, частично Кларджети и Аджарии, и вместе с тем подтверждает, что это — общегрузинское явление. Здесь приводится свыше 109 фамилий типа *Lapariṭet-Mariameti*, образованных при помощи суф. *-et* (*Gorgazi-et*, *Waca-et*, *Kuabula-et*, *Bersel-et*, *Samoel-et*, *Doli-et* и т. п.) [48]. В диалектах и поныне обычно аналогичное образование мн. числа фамильных имен, например, в имерхевском диалекте встречается: *Çikr-et-i* «Цикрадзе» (во мн. ч.) [49]; в мохевском: *Iton-et-i* «Итонишвили» (во мн. ч.), *Oxṭang-et/Waxṭangeni* «Вахтангишвили» (во мн. ч.) [50]; в горнорачинском: *Gogič-et-i* [51] «Гогичаишвили» (во мн. ч.), *Erawl-et-i* «Эравлишвили» (во мн. ч.), *Buba-et-i* [52] «Бубашвили» (во мн. ч.). В горнорачинском *-et* чаще всего встречается вместе с *-n*: *Bela-et-n-i* «Белашвили» (во мн. ч.), *Betxo-et-n-i* «Бетхошвили» (во мн. ч.), *Buba-et-n-i* [53] «Бубашвили» (во мн. ч.), *Erawl-et-n-i* [54] «Эравлишвили» (во мн. ч.) и т. д. Закономерным соответствием *-et* является колх. *-at*, эквивалент которого сван. *-ešd*, а *-et/-at*, *-ešd*, по-видимому, восходит к общекартвельскому употреблению [55].

Известно, что суф. множественности *-n*, *-t*, *-eb* в грузинском языке и его диалектах часто встречаются в удвоенном виде, так как образование при помощи одного суффикса, видимо, могло восприниматься как форма ед. числа. Имеются комбинации *-n* + *-eb*, *-ta*; *-eb* + *-n*. Н. Я. Марр приводил такие примеры и из древнегрузинских памятников, иллюстрируя комбинацию *-eb* + *t*: *ḳac-eb-t-a*, *mepe-eb-t-a* [56]. И. В. Имнайшвили обращает внимание как на комбинации: *-eb* + *t* (*a*), так и на *-eb* + *-n*: *sopl-eb-n-i* «деревни», *napral-eb-n-o* «расщелины», *sopl-eb-ta* «деревням», *kalak-eb-ta* «городам» и т. п. [57]. К. Д. Дондуа приводит аналогичные примеры: *angeloz-n-eb-i* «ангелы», *araḳ-eb-ta* «басням», *sopl-eb-ta* [58] «деревням». У С.-С. Орбелиани зафиксированы: *çign-eb-ta* «книг», *šwil-eb-ta* [59] «детей». В сочинении Вахушти Багратиони встречаем *guǯr-eb-ta* [60] «грамотам», в рассказе И. Чавчавадзе — *kw-eb-ta*[61] «камней» и т. д. Что касается диалектов, то здесь довольно часто встречаются комбинации *-eb* + *-ta*, *-n* +

[47] К. С. Кекелидзе, указ. соч., стр. 116—119; В. Д. Дондуа, указ. соч., стр. 101—128; С. Н. Джанашиа, указ. соч., стр. 150—151; И. Имнайшвили, Склонение имен..., стр. 385; А. П. Джишашвили, указ. соч., стр. 451; А. А. Глонти, Топонимия Мцхеты, стр. 26—28.

[48] «Тбетский синодик», стр. 39, 60 (1, 2, 15), 64(48), 72 (105), 88 (221, 232), 134 (544).

[49] Н. Марр, Дневник поездки..., стр. 72.

[50] В. Д. Итонишвили, Топонимика Хеви, Тбилиси, 1971, стр. 15 (на груз. яз.).

[51] Ш. В. Дзидзигури, Материалы грузинской диалектологии, Тбилиси, 1974, стр. 158—159 (на груз. яз.).

[52] И. Гигинейшвили, В. Топурия, И. Кавтарадзе, указ. соч., стр. 537.

[53] Там же.

[54] Ш. В. Дзидзигури, Материалы грузинской диалектологии, стр. 157.

[55] Ср.: Г. А. Климов, Этимологический словарь картвельских языков, стр. 80.

[56] Н. Марр, Грамматика..., стр. 39.

[57] И. Имнайшвили, Склонение имен..., стр. 314.

[58] К. Д. Дондуа, указ. соч., стр. 61.

[59] С.-С. Орбелиани, Соч., II_1, Тбилиси, 1962, стр. 29 (на груз. яз.).

[60] Вахушти Багратиони, Описание царства Грузинского, Тбилиси, 1973, стр. 303 (на груз. яз.).

[61] И. Чавчавадзе, Соч., II, Тбилиси, 1950, стр. 224 (на груз. яз.).

+ *-eb*, *-n* + *-en*, *-en* + *-eb*, *-eb* + *-n*, гораздо реже, но все же встречается и *-n* + *n*. Оппозиционные единицы противопоставляются ед. числу. В гурийском: *size-n-eb-i* «зятья», *Waniʒ-n-eb-i* «Ванидзе» (во мн. ч.); *Beriʒ-n-eb-i* «Беридзе» (во мн. ч.); в горнорачинском: *cxwr-eb-n-i* «овцы», *dew-eb-n-i* «девы», *tagw-eb-n-i* «мыши» [62], а в аджарском: *moçme-n-eb-i* «свидетели», *gwerd-en-eb-i* «бока», *Xalwaš-n-eb-i* [63] «Халваши» (во мн. ч.); в тушинском: *xml-eb-ta* «саблям», *tuš-eb-t(a)* «тушинам», *šwil-eb-ta* «детям», *kal-eb-ta* «женщинам» [64]. В картлийском и кахетинском отмечено совмещение с одной стороны, например, *cxraniweni* «вдевятером», *samniweni* «втроем», *šwidniweni* «семеро», с другой стороны, сочетание *-ta* + *-n*: *ortaweni* «вдвоем», *samtaweni* «втроем» [65]. В кизикском и месхском диалектах комбинация *-an* + *-t* используется для образования формы множественности разветвления фамилий, например, кизик. *čaγara-an-t-i* «Чагарашвили» (во мн. ч.); *nadira-an-t-i* «Надирашвили» (во мн. ч.); в месхском: *dedopl-i-an-t-i*, *mepi-an-t-i* [66]; в горнорачинском ей соответствует комбинация *-et* + *-n*: *ted-i-et-n-i*, *swana-et-n-i* [67].

Удвоение суффиксов множественности объясняется позиционным ослаблением их функции и на этой почве в некоторых случаях даже ее затемнением. В структурах *Doliʒ-n-eb-i*, *mep-i-an-t* и под. у элементов *-n/-an*, как видно, не сохранилось способности обозначать множественность, откуда и возникла необходимость в дополнительных суф. множественности (*-eb*, *-t*). То же самое можно сказать и о *šwil-eb-t-a* «детям», *xar-eb-t-a* «быкам» и аналогичных формах. Как видно, здесь суф. *-eb* потерял способность обозначения множественности, сросся с основой, а потому и присоединяет элемент *-ta*. Данный процесс особенно отчетлив в структуре *ḳarebeb-i* «двери». Здесь удвоение суффикса множественности вызвано тем, что *ḳar-eb-i* «двери» (форма с одним суф. мн. числа) было воспринято как форма ед. числа, а последующее *-eb* повторилось для образования мн. числа. Так или иначе, но эта интерпретация не должна быть лишена убедительности, хотя факт остается фактом: в комбинациях *-n* + *-eb*, *-en* + + *-eb*,*-eb* + *-ta*, *-n* + *-en*, *-an* + *-t* удвоение суффиксов множественности бесспорно.

Таким образом, можно заключить, что всей историей развития грузинского языка вместе с данными диалектов подтверждается существование не двух, а трех суффиксов множественности, которые продуктивны и имеют вид полной системы: а) *-eb*(*/-ep*, *-e-pe*), б) *-n*/*-en*(*-an*) и в) *-t*(*a*), *-et*(*-at*). Диахронический анализ данных картвельских языков и их диалектов дает возможность утверждать, что эти системы проникли в грузинский литературный язык из диалектных слоев. Их реконструкция возможна и для эпохи грузинско-колхского и грузинско-сванского языкового единства.

---

[62] Ш. В. Дзидзигури, Разыскания по грузинской диалектологии, стр. 146.

[63] Ш. И. Нижарадзе, Верхнеаджарский диалект грузинского языка, Батуми, 1961, стр. 71 (на груз. яз.); его же, Аджарский диалект грузинского языка, Батуми, 1975, стр. 122—123 (на груз. яз.).

[64] Тушинская поэзия, стр. 5; Ф. Г. Утургайдзе, Тушинский диалект грузинского языка, Тбилиси, 1961, стр. 148 (на груз. яз.).

[65] Г. М. Имнайшвили, Картлийский диалект, I, Тбилиси, 1974, стр. 200 (на груз. яз.); А. Г. Мартиросов, Г. М. Имнайшвили, Кахетинский диалект грузинского языка, Тбилиси, 1956, стр. 74 (на груз. яз.).

[66] К. Д. Дондуа, Месхский говор грузинского языка, в кн.: К. Д. Дондуа, Избр. работы, I, Тбилиси, 1967, стр. 349—350.

[67] И. Гигинейшвили, В. Топурия, И. Кавтарадзе, указ. соч., стр. 537.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1980

ХАЙДАКОВ С. М.

ДЮРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ И ЭРГАТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
(на материале дагестанских языков)

Положение о том, что интранзитивный глагол в дагестанских языках управляет им. (абсолютным) падежом подлежащего, совмещающим в себе и функцию аккузатива номинативных языков, бесспорно. Однако другое, не менее существенное положение, согласно которому транзитивный глагол управляет здесь формой эрг. падежа подлежащего, нуждается в существенных коррективах. Следует сказать, что «чистых» транзитивных глаголов (типа авар. *босизе* «взять»), не отягощенных в определенных контекстах возвратной семантикой, в дагестанских языках сравнительно меньше, чем так называемых лабильных (т. е. транзитивно-интранзитивных) с семантикой типа лакск. *гъагъан* «разбить, разбиться».

Есть все основания полагать, что в более ранний период истории дагестанских языков одна из падежных форм парадигмы имени существительного, управляемая транзитивным или лабильным глаголом, совмещала в себе значения эргатива и твор. падежа или же значения эргатива и род. падежа и весьма редко значения эргатива, твор. и род. падежей, что и поныне характерно для ряда дагестанских языков. В частности, функции эргатива и твор. падежа совмещает в себе одна и та же падежная форма в ряде лезгинских и аваро-андийских языков, а также в даргинском. Ср.: токитинский диал. каратинского яз. *волъящу-д бесуна-д оса бехъу*, ахвах. *вашо-де мешуна-де унча бихъири* «сын ножом быка зарезал», авар. *Муса-ца гIошIо-ца гъветI кьотIа* «Муса топором дерево срубил», дарг. *адам-ли дураз-ли хъу бацунра* «человек сохой поле вспахал».

Приведенными примерами иллюстрируется широко известный из материала дагестанских языков факт, заключающийся в том, что субъект — источник действия (*сын*, *Муса*, *человек*) и орудия реализации этого действия (*ножом*, *топором*, *сохой*) выражены одной и той же падежной формой, несмотря на существенные различия в семантике денотатов, лежащих в их основе: субъекты действия большей частью передаются существительными, являющимися наименованиями людей и животных, а орудия действия — существительными, являющимися названиями предметов. Такая семантическая градация между отдельными субстантивами позволяет по-новому рассмотреть проблему так называемой обратной (или обращенной) эргативной конструкции, функционирование которой непосредственно связано с обязательным наличием в дагестанском глаголе категории вида [1].

---

[1] В отношении даргинского языка исследователями высказаны различные точки зрения относительно природы обратной эргативной конструкции, нашедшие отражение, в частности, в следующих работах: С. М. Быховская, Особенности употребления глагола в даргинском языке, «Памяти акад. Н. Я. Марра», Л., 1938, стр. 65; З. Г. Абдуллаев, Категория падежа в даргинском языке, Махачкала, 1961, стр. 115—120; Л. И. Жирков, Об одной грамматической особенности даргинского языка, сб. «Родной и русский языки в глаголах Северного Кавказа», М., 1955, стр. 220—222.

Прежде чем говорить об этой важной особенности, следует сказать несколько слов о других падежных формах, совмещающих в себе кроме функции эргатива и некоторые другие. В частности, в цахурском языке форма падежа, образующаяся у названий животных и вещей, функционально является эргативом и генитивом: *вергъен чIийе атIкIаъу* «солнце согрело землю» — *вергъен ишыгъ* «солнечный (букв. солнца) свет», *зеран гьолена кьышнана нак* «корова дает жирное молоко» — *зеран быьт* «коровий хвост», *биссийн кьоьв авхъу* «кошка поймала мышь» — *биссийн быьт* «кошкин хвост». Цахурский является единственным дагестанским языком, располагающим, кроме эрг. — род. падежа, еще одним чисто субъектным, эрг. падежом, закрепленным исключительно за наименованиями людей (т. е. не совмещающим функцию другого косв. падежа): ср. *гадē ичий айхъы* «мальчик девочку поймал». В отличие от цахурского языка, в лакском одна и та же косвенная форма с аффиксом *-л* выполняет функции трех падежей — род., эрг. и суженного твор., ср.: *усси-л щарссани-л стакан щина-л буцIин бунни* «брата (*усси-л*) жена (*щарссани-л*) стакан водой (*щина-л*) наполнила».

Здесь нуждается в пояснении одно существенное обстоятельство: следует учитывать, что понятие твор. падежа не покрывает понятия инструменталиса. Первое шире второго и включает в себя, кроме отношения орудийности, и отношение действия однородной массой (несовпадение обеих величин подчеркивалось уже в работах И. И. Мещанинова [2]).

Лакская форма с аффиксом *-л* в функции твор. падежа обслуживает только наименования массы, а инструменталис имеет своим аффиксом *-х*. В следующих примерах представлены обе падежные формы, ср.: *хъу лачIа-л дугьан* «поле пшеницей засеять» и *хъу трактордану-х гъайчин* «поле трактором вспахать». Для нашей интерпретации рассматриваемого вопроса принципиально важен учет двух следующих обстоятельств:

1. В дагестанских языках, очевидно, существовала (да и теперь существует) немаркированная форма им. (абсолютного) падежа, выполняющая две контрастных функции — функцию субъекта при интранзитивном глаголе и функцию прямого объекта при транзитивном, ср. лакск.: *арс ниттичIа ур* «сын находится у матери»,— *ниттил цила арс шавай увцунни* «мать своего сына привела домой».

2. Первоначально, очевидно, существовал единый в функциональном плане эрг.-твор. падеж, который и поныне сохранился в некоторых дагестанских языках, в частности, в даргинском и в ряде аваро-андийских, а также лезгинских языков. Такая падежная форма имени функционирует исключительно при транзитивном глаголе, выступая в одном случае в качестве субъекта действия, а в другом случае — в качестве орудия действия и т. д.[3]. Это, очевидно, более древнее состояние, которое можно проиллюстрировать следующими примерами: хайдакский диал. даргин. яз. *атта-ли къирбитI-ли хъу бацун* «отец сохой поле вспахал», *атта-ли тавра мухъя-лли бецIун* «отец мешок ячменем наполнил», токитинский диал. каратинского яз. *волящу-д бесуна-д оса бехъу*, авар. *васа-с нуса-ль оц хъуна* «сын ножом быка зарезал», лезг. *стха-ди хиханол-ди мих акъудна* «брат клещами гвоздь выдернул».

В остальных дагестанских языках единый эрг.-твор. падеж, который имеет прямое отношение к функционированию так называемой обратной эргативной конструкции, как в функциональном, так и морфологическом плане, не удержался. В частности, форма исконного эрг. падежа, сущест-

[2] Ср. например: И. И. Мещанинов, Новое учение о языке, Л., 1936, стр. 257.

[3] Г. В. Топурия, Эргатив самостоятельный и эргатив совмещающий, их функции в иберийско-кавказских языках, сб. «Вопросы синтаксического строя иберийско-кавказских языков», Нальчик, 1977.

вовавшая в цезском языке-основе, сменилась в конкретных его современных предложениях различными формами эргатива вторичного происхождения [4]. Здесь следует внести одно уточнение: прежняя працезская форма эрг.-твор. падежа осталась и поныне, однако она сузила свое назначение и стала выражать только функцию твор. падежа, ср.: гинух. *ужи-д* «сыном» (твор. п.) — *ужи* «сын» (эргатив). И поэтому вывод Е. А. Бокарева о том, что «в цезском языке-основе первоначально существовал также единый эргативно-творительный падеж с окончанием *-д/-ди*»[5] не вызывает сомнений и доказывается наличием и в этой подгруппе языков также особой «номинативно-творительной» конструкции, аналогичной той, которая известна и в даргинском языке.

В современных цезских языках распад некогда единого для всех аваро-андо-цезских языков эрг.-твор. падежа стал уже свершившимся фактом, в результате чего за архаичной падежной формой с аффиксом *-д* сохранилась лишь функция твор. падежа, а функцию эргатива в них факультативно стали выполнять другие косв. падежи. Ср.: цез. *чанахъан-а гьиле-д бехурси зей* «охотник пулей убил медведя», гинух. *обу-й огру-д роцо хъаца* «отец топором рубит дрова». В приведенных примерах отчетливо прослеживаются различия в маркировке эргатива (*чанахъан-а* «охотник», *обу-й* «отец» и твор. падежа (*гьиле-д* «пулей», *огру-д* «топором») как свидетельство их раздельного функционирования в современных цезских языках. Утверждение, что обычная (нормальная) эргативная конструкция является единственной в языке конструкцией при транзитивном глаголе в том случае, если глагол не дифференцирует или слабо дифференцирует свои видовые формы, имеет силу закона. При этом не имеет значения, если одна и та же падежная форма факультативно выполняет функции эргатива и твор. падежа, что характерно для некоторых лезгинских языков, ср.: лезг. *руш-а рак ахъайна* «девушка дверь открыла», *ат вацI-у тухвана* «он рекой унесен», табасаран. *агай-и йакIухь-и кIакIлар гьитIурдув* «отец топором дрова рубит».

С видовыми формами, выражающими однократное действие, функционирование помимо обычной эргативной конструкции также обратной конструкции полностью исключается ввиду того, что действие, выражаемое такими видовыми формами, всегда мыслится цельным и непосредственно ориентированным на прямой объект: хайдакский диал. дарг. *яз. дярхIялли* (*кагъар белкIун*) «сын (письмо написал)», авар. *вацас* (*кагъат цIалана*) «брат (письмо написал)».

Изменение ориентации на прямой объект с вытекающими отсюда коренными изменениями в членении предложения возможно исключительно в сфере функционирования видовых дюративных форм, которые являются преимущественно носителями длительного действия.

Что касается обозначений многократного действия — ими преимущественно являются дюративные транзитивные формы с редуплицированными основами или корневыми морфемами — то здесь ориентация на прямой объект выступает как их постоянный признак, ср. авар.: *дос къунцI-къунцIула лемак* «он стрижет овцу». В некоторых аваро-андо-цезских языках видовые дюративные формы, выражающие учащательное или длительное действие, составляют соотносительные пары, лежащие в основе функционирования как обычной эргативной конструкции, так и ее преобразованной формы.

Не приходится сомневаться в том, что форма каждой соотносительной пары глагольных словоформ, выступающая с нулевой видовой марки-

---

[4] Е. А. Бокарев, Цезские (дидойские) языки Дагестана, М., 1959, стр. 282.
[5] Там же, стр. 273.

ровкой, составляет основу функционирования обычной эргативной конструкции, поскольку выражаемое ею длительное действие, будучи по своей природе цельным, прямо ориентировано на прямой объект: авар. *инсуца цIцIалула техъ* «отец читает книгу», авар. *инсуца хъухъала цIул* «отец пилит дрова», цез. *чанахъана кIедих гулу* «охотник ищет лошадь». По поводу такой закономерности Д. С. Имнайшвили справедливо заметил, что «однократный вид глагола (немаркированную дюративную форму автор называет однократным видом — *Х. С.*) образует обычную эргативную конструкцию» [6].

Вместе с тем достаточно достоверен и тот факт, что функционирование обычной эргативной конструкции в дагестанских языках полностью исключается в том случае, если в предложении выступает второй член соотносительной пары глагольных словоформ — маркированная видовым аффиксом дюративная форма, являющаяся, по нашему мнению, носителем такого действия, которое, будучи по своей природе чрезвычайно дробным, рассеянным и по этой причине дезориентированным, остается в сфере деятельности субъекта, что приводит к перестройке в передаче субъектно-объектных отношений, т. е. к коренным сдвигам в структуре предложения — («при многократном виде глагола реальный субъект стоит в именительном падеже, а реальный объект отсутствует» [7]). Ср. следующие соотносительные фразы: авар. *эмен цIцIал-д-ола* «отец занимается чтением», *эмен хъухъа-д-ола* «отец занимается пилкой», цез. *ченахъан кIеда-на-х* «охотник занимается поисками», гинух. *эссу цах-л-иго* «брат занимается писанием».

Аффиксами вида, преобразующими транзитивный глагол-сказуемое в возвратный, в приведенных дюративных формах являются *-д-*, *-на-*, *-л-*, что в конечном счете приводит и к преобразованию эргативной конструкции в конструкцию номинативную (абсолютную).

Однако между номинативной конструкцией, обусловливаемой обычным интранзитивным глаголом (авар. *эмен вачIана* «отец пришел») и номинативной конструкцией, полученной в результате преобразования эргативной конструкции, нельзя ставить знак равенства — вторая возникла вследствие ослабления транзитивной семантики глагольного сказуемого в маркированных формах дюратива.

Причина ослабления транзитивной семантики глагола, по-видимому, заложена в самом представлении дюративного действия — оно мыслится как дробное и дезориентированное относительно прямого объекта, а это в конце концов приводит к выпадению последнего из состава придикативной синтагмы, что имеет место, в частности, в аварском, цезском, бежитинском и гинухском языках. Иначе говоря: действие, выражаемое маркированным дюративом, отведено от прямого объекта и ориентировано обратно на творца действия — на субъект, в результате чего оно приобретает характер возвратности, что не могло не отразиться на структуре предложения и, соответственно, на оформлении именных членов синтагмы.

Здесь, однако, нельзя не учитывать того, что рассматриваемый процесс специфичен для дагестанских языков, известных и некоторыми другими отклонениями от эталона эргативного строя. Поэтому в конечном счете он, по-видимому, каким-то образом связан с намечающимся смещением типологии дагестанских языков в сторону номинативного строя.

В гунзибском же языке с маркированной дюративной формой функционирует несколько иная конструкция — «номинативно-творительная».

[6] Д. С. Имнайшвили, Дидойский язык в сравнении с гинухским и хваршинским языками, Тбилиси, 1963, стр. 257.

[7] Там же.

По поводу этого явления Е. А. Бокарев писал, что «... как и аварские глаголы этого типа, гунзибские глаголы являются непереходными, т. е. требуют постановки подлежащего в именительном падеже. Но от аварского языка гунзибский отличается тем, что в предложении с таким глаголом, кроме подлежащего в именительном падеже, имеется и дополнение в творительном падеже, указывающее на какой объект переходит это обычное действие, в то время как в аварском языке постановка дополнения в предложении с таким глаголом вообще невозможна» [8]. «Номинативно-творительная» конструкция (т. е. с эргативом объекта) возможна на базе обычной эргативной конструкции в результате замены в синтагме немаркированной дюративной формы (типа *коше* «косит») маркированной формой (типа *коше-л-а* «занимается косьбой») с аффиксом *-л-*, приведшей к коренным сдвигам в членении предложения, что ясно из двух следующих соотносительных фраз: *абу-л бэх коше* «отец траву косит» (эргативная конструкция) — *абу бэхо-д коше-л-а* «отец занимается косьбой сена» (номинативная конструкция с твор. объекта). То обстоятельство, что функцию дополнения во второй синтагме выполняет именно твор. (*бэхо-д*) падеж, а не какой-либо иной, имеет под собой историческую почву. Как предполагал Е. А. Бокарев, падежная форма с аффиксом *-д* в працезском языке, как и ныне в некоторых аваро-андийских языках, выполняла и функцию эргатива. Сейчас за этой формой сохранилась лишь функция твор. падежа, она и закономерно заменила во второй конструкции им. падеж.

Ныне функционирующая в гунзибском языке номинативная конструкция полностью соответствует працезской модели, в которой с эргативом объекта из двух функций падежа на *-д* для выражения косвенного дополнения использована исключительно функция твор. падежа. Разумеется, в предложении *абу бэхо-д коше-л-а* сказуемое *кошела* «занимается косьбой» с аффиксом *-л-* выражает также действие, носящее дробный, не цельный, и следовательно, ослабленный характер. Однако несмотря на ряд негативных факторов, оно в какой-то мере ориентировано не на объект в форме твор. падежа, а на субъект в форме им. падежа.

В этом плане состояние гунзибского языка близко к состоянию даргинского языка, хотя и не идентично ему. Так называемая обратная эргативная конструкция в даргинском языке породила в дагестановедении противоречивые точки зрения, которые были тщательно проанализированы в ряде работ З. Г. Абдуллаева. Точка зрения самого З. Г. Абдуллаева сводится к тому, что «...обратный строй данной конструкции заключается только в том, что в отличие от предыдущей „настоящей“ эргативной конструкции, где реальный субъект поставлен в эргативном падеже, а реальный объект — в именительном, здесь тот же реальный субъект стоит в именительном падеже, а реальный объект — в эргативном. Переходный глагол эргативной конструкции (*нуни жузи б-учIулра* «я книгу читаю») при падежном изменении форм выражения субъекта и объекта (*ну жуз-а учIулра* «я занимаюсь чтением книги») становится как бы непереходным... Одним из условий возможности употребления этих двух параллельных конструкций — эргативной и номинативной — является то, что глагол должен иметь длительный вид с переходным значением для эргативной конструкции и с непереходным для номинативной конструкции, т. е. чтобы длительный вид глагола был бы, так сказать, переходно-непереходным. Иными словами: длительный вид даргинского глагола может выражать два значения — переходное и непереходное» [9].

[8] Е. А. Бокарев, указ. соч., стр. 63.

[9] З. Г. Абдуллаев, Категория падежа в даргинском языке, Махачкала, 1961, стр. 117 и 119.

Первопричина возникновения двух параллельно функционирующих конструкций — эргативной и номинативной с эргативом объекта — заложена в самой семантической структуре видовых дюративных форм дагестанского глагола: эти формы в потенции являются в дагестанских языках носителями двух значений — переходного и возвратного. В аварском и в ряде цезских языков носителем переходной семантики в ее целостной форме выступают исключительно немаркированные дюративные формы: цез. *цахва*, гинух. *цаха* «писать», гинух. *гъегъа* «молоть», авар. *цIцIализе* «читать» и т. д.

В тех же языках носителями возвратной семантики являются исключительно маркированные соответствующими видовыми аффиксами дюративные формы: цез. *цах-на-да*, гинух. *сах-ли-ж* «заниматься писанием», гинух. *гъегъ-ли-ж* «заниматься молотьбой», авар. *цIал-де-езе* «заниматься чтением».

Элементами, преобразующими переходную семантику глагола в возвратную, выступают здесь аффиксы *-на-*, *-ли-*, *-д-* и т. д. Преобразование сопровождается ослаблением первой семантики (она мыслится дробной и по этой причине ослабленной и не способной «добраться» до прямого объекта и, следовательно, остающейся в сфере субъекта) и усилением второй: ср. авар. *васа-с хер бецуле-б б-уго* «сын косит траву» (транзитивная конструкция) — *вас веца-р-уле-в в-уго* «сын занимается косьбой» (возвратная конструкция).

В даргинском языке несколько иная картина, хотя самый принцип построения конструкции почти идентичен. Все дюративные формы в отличие от аваро-цезских в этом языке имеют одинаковые аффиксы и поэтому фактор маркировки не играет здесь никакой роли.

Преобразование переходной семантики в возвратную в даргинских дюративных формах глагола в отличие от аварского и цезских языков совершенно не связано с видовыми аффиксами — ими маркированы все без исключения дюративные формы. Здесь важно, как мыслится само действие. Если действие мыслится как цельное и неделимое, то оно ориентировано на прямой объект, что обеспечивает функционирование обычной эргативной конструкции: *ну-ни жуз б-учIулра* «я книгу читаю». Если же действие мыслится как дробное и, следовательно, ослабленное, то оно в таком виде преобразуется в возвратное, остающееся всецело в сфере субъекта, что естественно должно было бы привести к преобразованию в антипод эргативной конструкции, каким является номинативная конструкция с эргативом объекта или же по функции номинативно-творительная конструкция: *ну жузли учIулра* «я занимаюсь чтением книги».

Оппозиция цельное действие (как носитель транзитивной семантики) — дробное действие (как носитель возвратной семантики) логически предопределила, какая должна быть смысловая структура управляемой глаголом падежной формы. Она в одном случае реализуется в функции эргатива, а в другом случае — в функции твор. падежа.

В такой ординарной фразе, как *дудеш-ли-мура удулра* «отец косит сено» падежная форма *дудеш-ли* «отец» выступает в своей главной функции — в функции эргатива, поскольку семантика глагола *удулра* «косит» устойчивым образом ориентирована на прямой объект, оформленный в им. падеже. В другой фразе *дудеш мура-ли удулра* «отец занимается косьбой сена» семантика той же формы глагола, но уже возвратная по своей природе, ориентирована на субъет действия, также стоящий в им. падеже. Возвратное действие, выражаемое глаголом *удулра*, не мыслится в синтагме в отрыве от косвенного объекта типа *мура-ли* «сено», являющегося составным компонентом номинативной конструкции с эргативом объекта, в которой нашла реализацию вторая функция падежной формы на *-ли* —

функция твор. падежа. Что в форме *мурали* действительно реализована вторая функция, подтверждается материалом гунзибского языка: в предложении *абу бэхо-д кошела* «отец занимается косьбой сена» *бэхо-д* «сено» — твор. падеж, который на працезском уровне выполнял и функцию эргатива.

В цезском, бежитинском, гинухском и аварском языках функционирование глагольной формы, выражающей возвратную семантику, совершенно не связано с косвенным объектом, поэтому он полностью выпал из структуры предложения: ср. авар. *эмен цIцIалдола* «отец занимается чтением (вообще)» и *инсуца цIцIалула техь* «отец читает книгу». Поэтому такая конструкция может быть описана как номинативная возвратная конструкция в отличие от номинативной конструкции, функционирующей с интразитивным глаголом типа авар. *эмен вачIана* «отец пришел».

Из вышеизложенного с очевидностью вытекает, что понятие конструкция и понятия падеж субъекта и падеж объекта оказываются в сложных коррелятивных отношениях. Ныне функционирующие номинативная конструкция с эргативом объекта (в даргинском и гунзибском языках) и номинативно-возвратная конструкции получены в результате преобразования переходной семантики глагола-сказуемого в возвратную, что, естественно, привело к коренной перестройке всей системы передачи субъектно-объектных отношений в структуре предложения. В частности, выясняется, что им. (абсолютный) падеж в функции субъекта выступает в трех случаях: с интранзитивным глаголом в абсолютной (номинативной) конструкции независимо от наличия или отсутствия видовых форм (авар. *эбел йачIана* «мать пришла»), с видовой дюративной формой со значением возвратности действия в номинативной конструкции с эргативом объекта (это так называемая обратная эргативная конструкция): ср. дарг. *ну кагъар-ли учIулра* «я занимаюсь чтением письма» <*ну-ни кагъар бучIулра* «я письмо пишу», а также с той же дюративной формой в номинативно-возвратной конструкции, в которой наличие косвенного дополнения в функции твор. падежа полностью исключается: авар. *вас хъухъадола* «сын занимается пилением». Рамки функционирования эрг. падежа значительно уже: он оформляет имя субъекта действия только в составе эргативной конструкции и имя косвенного объекта в номинативно-творительной конструкции: ср. дарг. (*рузбани*) *кагъурти лукIули сар*» (сестры) «письма пишут» — *рузби* (*кагъурта*) *лукIули саб* «сестры занимаются писанием (писем)».

Еще одна существенная особенность эрг. падежа в дагестанских языках состоит в том, что он функционирует вне согласовательной схемы, иначе говоря, классные показатели глагольного сказуемого согласуются здесь только с им. падежом независимо от того, какую функцию он выполняет в той или иной конструкции: дарг. *дудешли* (*жуз б-учIулра*) «отец (книгу читает)», (*дудеш учIулра*) *жузли* «(отцом читается) книга».

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

В. И. Абаев. **Историко-этимологический словарь осетинского языка.** III. S — T'.—Л., ЛО изд-ва «Наука», 1979. 359 стр.

С публикацией третьего тома историко-этимологического словаря осетинского языка В. И. Абаева в обиход лингвистической науки вошел основной корпус фундаментального труда, которому автор посвятил более 30 лет жизни (предстоит завершение четвертого тома, содержащего статьи на заключительные буквы алфавита). Поэтому уже в настоящее время имеются все основания сказать, что перед нами одно из наиболее значительных за последние десятилетия исследований в области сравнительного языкознания, глубоко значимое не только для иранистики и в целом индоевропеистики, но и для кавказоведения, а также для теории и методики этимологических штудий. Несомненно удался авторский замысел создания огромного и единообразно построенного труда, характеризующегося сочетанием принципов этимологического и исторического словаря, пристальным вниманием к культурно-историческому контексту функционирования слова.

Материалы тома служат красноречивой иллюстрацией таких ранее сформулированных В. И. Абаевым положений, как иранская генетическая основа осетинского языка, существенная роль в его формировании ареального взаимодействия с индоевропейскими языками европейского региона, с одной стороны, и кавказского языкового субстрата, с другой. Не менее убедительное подтверждение находят в нем и более частные тезисы автора, такие, как например, тезис о принадлежности к числу заимствований или экспрессивно окрашенных единиц слов, содержащих смычногортанные согласные (ср., в частности, лексику на заключающую том букву t').

Третий том, как и два предыдущих, изобилует изящными, безупречными, богато аргументированными этимологиями исконной лексики, ср., например, слова *swadon* «родник», *siaxs* «зять», *tœrxon* «суждение», *tug* «кровь». Наверное, в *syg/sug* «слеза» и «струя» совпали **asruka* «слеза» и **s(t)ruka-* «струя» от **s (t)rav-* «течь», а *sīǯœr/segœr* «сирота» отражает **sai(ra)-čara-* «живущий сиротой» с гаплологией и аблаутом от **siračara* «жизнь сироты» при согд. *sr'k* «сирота». Гаплологию можно допустить также в *syvœr/suvœr* «матка» из **su(ra)-bara* «несущая в себе дитя (**sura-*)» и в *ærdyston* «футляр для лука» из **dru-(na)-stāna-*, хотя в последнем случае приходится учитывать и **dru-stāna-*, ср. авест. *druča paurvąča* (AiW 778) «с луком и стрелой».

Вместе с *sīs/sēs* «стена» и *asīn/asīna* «лестница» (I, 76) к и.-е. **klei-*, др.-инд. *śri-* «прислонять(ся)», авест. *sray-*, др.-перс. *çay-* «наклоняться; прислоняться» восходит диг. *sera* «боковая (не фасадная) стена дома, двора» из **sraira-* «то, что заслоняет», ср. русск. *заслона*, польск. *zasłona* «занавес». С *syjyn/sujun* «мерзнуть», вероятно, объединяется н.-перс. *farāšīdan* «сжиматься; дрожать от ужаса или холода».

Этимология выглядит менее убедительной, когда в зависимость друг от друга попадают *w* и *b*, *v*, как это имеет место, например, в *rīw/rēw* «грудь» из **raibya-* (II, 414), *rīvad/revœd* «свободный; порожний» из **fraivata*, *bar* «воля; право» из *vāra-* «желание». Допустив в первых двух случаях метатезу, выведем *rīw/rēw* «грудь» из **wēr* к др.-иран. *vari-* «грудь», подобно н.-перс. *bar* «грудь» из *varah-*; *rīvad/revœd* продолжают **fraipāta-* из **apai-frāta-* «ненаполненный», где *frāta-* соответствует страдательному причастию др.-инд. *prātá-* от *par* (и.-е. **plē-*) «наполнять(ся)» (AiW 850) и *apa-* — приименное отрицание, которое содержится, например, в согд. *pd't* «несправедливый», а его вариант *apai-* продолжается в тадж.-перс. *bē/bī* «без». Подобно тому, как др.-инд. *vratám* «воля; приказ, закон; обряд, ритуал», авест. *urvata-* «установление», *urvati-* «договор» и, возможно, осет. *irœd/œrwœd* «плата за невесту родителям» (I, 546) могли развиться из и.-е. **μer* ($ə_1$)- «говорить», так и в осет. *bar* «воля; право» мог отразиться др.-иран. **bar-* «говорить», содержащийся

в согд. *prβ'yr-*, *prbyr* (**pari-bāraya-*) «говорить, сообщать»; не исключено, что к **bar-* «говорить» относится н.-перс. *bār* «аудиенция» и библ.-арам. *hdbr* «советник» (Дан. 3, 24, 27), **hada-bāra* «тот, кто находится при аудиенции». В *byjyn* «вить» корню *vi-* «вить», предшествует преверб *abi-vi-*. Также *fœlvaryn*: *fœlvœrd* «пробовать; испытывать» (I, 442) вполне объясняется из *parī-bar*, как и ср.-перс. *parvardan*.

Из Словаря выпало слово *fyd* «жернов» от **pi-* «дробить, толочь, мелить» (Mayrhofer, KEWA, II, 281). К **pi-* восходит др.-иран. **pirāka-* «пест, дробилка», которое содержится в арамейских надписях V в. до н. э. из Арахосии — *'bšwn pyrk* «пест-дробилка», *'bšwn pyrk mdm* «пест-дробилка средней величины» [1]; по типу **pirāka-* от др.-иран. *či-* «сверкать, сиять» образовано **čirāka-*, перс. *čiraγ*, согд. *čr'γ*, сак. *cirau*, осет. *cyraʒ* «светильник». С др.-иран. *mar-* «давить, сжимать» связаны осет. *bœrdyn/bœrdœn* «поршень маслобойки», *lœmaryn* «выжимать», *qizœmar* «мучение», *donmœrœn* «плотина», (H. W. Bailey. Zamb., стр. 72). Ягноб. *xutanna* «водяная мельница» (I, 182), согд. (Муг.) *γwt'rnk* объясняются из **xwat-arana-ka-* «самомелющая».

Укрепилось мнение, что авест. *zasta-* и др.-перс. *dst* «рука» закономерно соответствуют др.-инд. *hasta* «рука» из и.-е. **ĝhes-to-*, тогда как парф. *dst*, хорезм. *δst*, согд. *δst*, сак. *dasta*, вах. и другие памир. *δast*, афг. *lās* «рука» являются заимствованиями из древнеперсидского (см. I, 360). Больше походит на то, что в общеиранском наряду с **d'asta-* > > *zasta-* существовало народно-этимологическое подновление к **d'asta-* с начальным *d-* под влиянием *dasta-* (ср. др.-инд. *datta-*) от *dā-* «давать», *dā-* «делать»; это общеиран. **dasta-* «рука» получило продолжение в вышеперечисленных нерегулярных формах. О собственно др.-перс. *dst*, ввиду того, что ⟨d⟩ передает /δ/ и /d/, нельзя с уверенностью сказать, продолжает ли *dst* регулярную форму **d'asta* и является парой к авест. *zasta-* или же *dst* также является подновлением с заменой в общеиранском **d'* на **d*.

Осет. *marxo/marxwœ*, *marxwa* «пост» и груз. *marxva* «пост» (через промежуточное **maxwar*) стоят ближе к перс. *naxāra* «пост», согд. *n'γ'r* «голодный», осет. *sīxor/sexwar* «обед», чем к парф. *pahr* «охрана», отразившемуся в груз. *ṗahrak-i*.

Для лингвиста-кавказоведа третий том словаря, подобно предыдущим, ценен, по крайней мере, в двух отношениях. С одной стороны, он отражает дальнейший рост объема «общекавказского» лексического фонда, с другой — в нем предлагается этимологическое истолкование множества лексем различных кавказских языков.

Автором продолжено систематическое сопоставление осетинского словаря с лексикой абзахско-адыгских, нахско-дагестанских и картвельских языков, в ходе которого подготавливается лексикологическая база для изучения ареальных взаимоотношений языков Кавказа. Здесь удостоверяется наличие значительного общего фонда слов, обязанного своим происхождением конвергентным стимулам, действовавшим в разные исторические эпохи, устанавливается некоторое единство в принципах звукописи, характеризующее языки Кавказа независимо от их генетической принадлежности (см. особенно стр. 330—335), определяется вероятное направление словарной диффузии. Так, например, интересно, что подавляющее большинство нахско-осетинских параллелизмов, впрочем, как правило, без участия бацбийского языка, обязано осетинскому источнику — ср. стр. 15, 31, 62, 65, 95, 112, 137, 139, 149, 156, 177, 192, 202, 203, 205, 208, 209—210, 221, 231, 238, 247,275, 281, 284, 325 (эти факты дополняют общее число нахско-осетинских словарных встреч, суммированное В. И. Абаевым несколько ранее [2], и вместе с аналогиями, обнаруживающимися на других уровнях языковой структуры, позволяют усматривать аланскую подпочву для значительной доли современного ареала распространения вейнахских языков). Приводимые в томе осетинско-картвельские соположения пополняют соответствующий материал, приводившийся в известной монографии М. К. Андроникашвили [3]. Наконец, выявление автором изоглосс, трактующихся в качестве скифо-германских, наводит на мысль об участии в прошлом в языковых контактах на Северном Кавказе и готского, носители которого еще в XVI столетии отмечались в Крыму.

Существенный вклад в кавказскую этимологию представляет собой этимологизация довольно значительного пласта неисконной лексики в абхазско-адыгских, нахско-дагестанских и картвельских языках. Помимо множества ближневосточных интернационализмов «арабско-персидского» происхождения, становится очевидным здесь и большой удельный вес различных тюркизмов. Внимание картвелиста привлекают фиксируемые в словаре

[1] См.: R. A. Bowman, Aramaic ritual texts from Persepolis, The University of Chicago. Oriental Institute publications, XCI, Chicago (Illinois), 1970.

[2] Ср.: В. И. Абаев, Осетинско-вейнахские лексические параллели, «Изв. Чечено-ингушского НИИ истории, языка и литературы», I, 2 — Языкознание, Грозный, 1959, стр. 89—119.

[3] М. К. Андроникашвили, Очерки по ирано-грузинским языковым взаимоотношениям, I, Тбилиси, 1965 (на груз. яз.).

осетинизмы горских грузинских диалектов — рачинского, мохевского, мтиульского, пшавского (см. стр. 39, 65, 100, 194, 199, 202, 214, 250, 257, 315, 319, 357).

Нельзя не отметить и факт общего стимулирующего воздействия словаря В. И. Абаева на этимологические исследования в области кавказских языков (его очередным свидетельством может служить недавняя публикация этимологического словаря адыгских языков А. К. Шагирова [4]).

Несомненный кавказоведческий интерес вызывает ряд частных комментариев, встречающихся в рецензируемом томе. Так, на стр. 45 налицо убедительное разъяснение кабард. *šogen* «священник» посредством осет. *sawǵyn/sawgin* «то же», позволяющее полностью отказаться от старого истолкования слова, данного ранее Н. Ф. Яковлевым. Весьма важным представляется констатация неисконного характера некоторых нахско-дагестанских лексем, обозначающих рожь (см. *syl* «рожь» на стр. 195 и *sysyly* «плевел опьяняющий» на стр. 211) при подозрительном единообразии и нахско-дагестанских названий овса, ячменя и пшеницы. Заслуживает внимания и предлагаемая на стр. 227 этимология «общекавказского» обозначения тамады (через турецк. *damat* «жених; зять»), не получившего сколько-нибудь удовлетворительного истолкования у кавказоведов [5].

У нас есть несколько мелких замечаний по кавказскому материалу книги. Неубедительно сопоставление сван. *škeri* «рододендрон» с груз. *askil-i* «шиповник» (при груз. *šker-i* «рододендрон») на стр. 124. Чан. *ču* «кишка» сопоставимо не с агульск. *ših* (стр. 168), а с груз. *çel-*. Едва ли из алан. идет груз. *šurdul-i* «праща», каким-то образом связанное с мегр. *škurdon-i* (ср. стр. 173). Очень сомнительно допущение связи груз. *šwel-i*, мегр. *skwer-i* «серна» с адыгейск. и кабард. *šk'ä* «теленок» (стр. 193). Табас. *ṭul* «прут», имеющее надежные соответствия по многим дагестанским языкам, вероятно, по недосмотру разведено по разным статьям (ср. стр. 224 и 259). Неясно, почему автор отказался на стр. 248 от ранее выдвигавшегося им интересного сопоставления сван. *talāpa* «ресница» (/*tan-talāpa*) с осет. *fœtalœ* «веко». Груз. *dabal-i* «низкий» (ср. стр. 355) не принято считать в картвелистике звукосимволическим.

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что в целом «Историко-этимологический словарь осетинского языка» В. И. Абаева всесторонне образцовый труд, который уже оказывает свое благотворное воздействие на дальнейшее развитие этимологических исследований. Он является убедительным свидетельством достижений отечественной филологической науки, плодом энциклопедических знаний автора, его самоотверженного труда и жесткой творческой дисциплины.

Климов Г. А., Боголюбов М. Н.

---

[4] См.: А. К. Шагиров, Этимологический словарь адыгских (черкесских) языков, I — А—Н, II — П — I, М., 1977.

[5] Ср.: V. I. Abaev, Contribution à l'histoire des mots, «Mélanges linguistiques offerts à Émil Benveniste», Paris, 1975, стр. 8—10.

В. С. Виноградов. Лексические вопросы перевода художественной прозы. — Изд-во Московского университета, 1978. 174 стр.

Лингвистическая проблематика перевода многоаспектна и исключительно разнообразна. Неслучайно, что количество посвящаемых ей публикаций непрерывно растет и что при всей своей многочисленности они в огромном большинстве случаев друг друга не дублируют. Теория перевода включает в себя целые комплексы вопросов, каждый из которых может составить обширную самостоятельную сферу изучения даже и на материале двух сопоставляемых языков. Между тем, как вполне справедливо отмечает автор рецензируемой книги, в появившихся до сих пор работах по теории художественного перевода «рассматривается главным образом общая проблематика» (стр. 5) — констатация, которая может быть распространена и на целый ряд учебников, учебных пособий и монографий о других видах перевода. Что же касается теории перевода художественной литературы, то она по самому роду материала всегда давала простор для постановки самых широких и общепринципиальных проблем (соотношение планов содержания и выражения, переводимость и др.) и открывала возможности как для комплексного рассмотрения своего объекта в общефилологическом (т. е. и лингвистическом, и литературоведческом) русле, так и для раздельных исследований по этим двум направлениям, но также для споров, в свое время очень острых, о преимуществе или даже приоритете того или другого направления. Как показал, однако,

исследовательский опыт, чисто литературоведческий путь в теории перевода, не связанный с учетом каких-либо языковых фактов, является просто нереальным, так как лишает теорию конкретности. Лингвистическое же направление настоятельно требует опоры на литературно-эстетическую специфику языка художественных произведений, на понимание художественного перевода, как особого вида словесного творчества, как искусства. Такой позиции держится и автор книги: в ее первой главе (стр. 7—18) он проводит критический разбор аргументов, высказанных И. А. Кашкиным и Г. Р. Гачечиладзе в пользу взгляда на художественный перевод как на полную аналогию оригинального литературного творчества, что значительно ограничивало роль языка и лингвистики в теории перевода. Подобные взгляды сейчас, в свете того успешного развития, которое теория перевода в своем лингвистическом аспекте получила за последние полтора десятилетия во всем мире, завоевав несомненное признание, представляются уже достаточно архаическими: «лингвофобия» в теории перевода изрядно устарела.

Как явствует из заглавия книги, ее предметом служат лексические вопросы одного из видов художественного перевода — прозаического. Такое ограничение в выборе объекта, сосредоточение внимания на одном, конечно, очень важном круге вопросов определенного вида художественного перевода — своевременный шаг в развитии теории, дающий возможность ее более углубленной и специализированной разработки. В центре внимания автора — слово, и исходным моментом анализа выступает его номинативное значение, на которое наслаиваются различные ассоциации, значения коннотативные и переносные, эмоциональные оттенки. Автор настаивает на необходимости изучать в теории перевода слово как важнейшую конкретную единицу языка, учитывая, разумеется, ее связи с окружением и не преуменьшая их роли, но не растворяя ее ни в широком, ни в узком контексте. Этот пафос «реабилитации» слова — своего рода реакция на длительные увлечения концепциями, сужавшими роль слова в пользу более крупных языковых единиц и речевых единств, вплоть до неограниченно широкого контекста. Отнюдь не умаляя роль взаимодействия слова с его непосредственным и более широким окружением, нельзя также отрицать важность слова как органической части целого, требующей к себе особого внимания в сфере перевода, где она вступает в разнообразные и сложные взаимоотношения с такими же единицами исходного языка и того речевого произведения, каким является оригинал.

«В задачи исследования, — пишет В. С. Виноградов, — входят: анализ содержания и функций слова в художественном переводе в сопоставлении с лексическими единицами подлинника, определение связей и зависимостей слова в художественном целом перевода и оригинала, выявление закономерных межъязыковых реляционных категорий и разработка на их основе классификации языковых (константных) и речевых (окказиональных) соответствий, описание этапов восприятия и воссоздания текста в процессе перевода, а также изучение наиболее сложных способов и приемов работы со словом при передаче в переводе фоновых знаний, индивидуально-авторского словотворчества, игры слов и т. п.» (стр. 5).

Перечисленные задачи теории перевода в разной степени затрагивались другими исследователями, на труды которых В. С. Виноградов ссылается и опирается, но во всех случаях он идет дальше, иногда высказывается категоричнее. Это относится, в частности, к вопросу о константных соответствиях, опирающихся на номинативное значение слова, причем автор подчеркивает и их высокую частотность и вообще их роль как своего рода фундамента в переводческой работе, на что в свое время уже обращал внимание Я. И. Рецкер [1]. Вопрос о передаче слов, называющих специфически национальные реалии, сам по себе не нов, но автор ставит его по-новому, вполне оригинально, связывая его с понятием фоновых знаний — долговременных (постоянных) и кратковременных — и дифференцируя функции, которые на долю этих слов выпадают в подлиннике, а в переводе выполняются теми или иными их соответствиями.

В книге В. С. Виноградова существенное место занимают различные классификации, охватывающие и определенные явления в исходном языке, и те конкретные средства, которыми располагает язык перевода, и межъязыковые соответствия, которые связывают те и другие. И если классификациям уделено много внимания, то это вполне правомерно и оправдано их результатами: сложные взаимоотношения лексики в исходном и переводящем языках тем самым уточняются, теоретически упорядочиваются, в них выявляются новые грани.

Почти все перечисленные автором отдельные задачи его работы объединяются задачей более общей: это определение тех разных форм, которые принимает соотношение между переводом и оригиналом как речевыми произведениями

[1] Я. И. Рецкер, Теория перевода и переводческая практика, М., 1974, стр. 67; его же. Плагиат или самостоятельный перевод (Об одной судебной экспертизе), «Тетради переводчика», М., 1963.

Как известно, в современных лингвистических, а отчасти и литературоведческих работах о переводе очень большое место отводится понятию перевода как процесса и построению тех или иных схем этого процесса, моделям перевода, обобщающим те условия, в которых он протекает. Но процесс перевода, как всякий процесс литературного творчества, совершающийся в мозгу человека, представляет собой психический акт, которым за последнее время все активнее занимается психология, пользующаяся своими научными средствами и еще не сказавшая о нем последнего слова. Между тем лингвисты, строящие схемы или модели перевода, подходят к его изучению не индуктивно, не на основе конкретных наблюденных фактов или текстологических данных, по которым можно восстановить последовательность вариантов перевода, свидетельствующих о ходе творческой мысли [2], а действуют дедуктивно — главным образом, на основе умозрительных соображений, не прибегая к сопоставлению оригинала и перевода.

В книге В. С. Виноградова вопрос о процессе перевода — далеко не центральный: о нем говорится в главе «Восприятие текста и его воссоздание в процессе перевода художественной прозы» (стр. 17—28). Процесс перевода понимается здесь не как психический акт, а как доступная простому наблюдению организация переводческой работы, как последовательность взаимосвязанных этапов в освоении текста подлинника и создании текста на другом языке. Бóльшая же часть этой главы посвящена критике существующих в лингвистических работах концепций процесса перевода. Начав главу с утверждения, что «психофизическая и речевая сущность процесса перевода исследована явно недостаточно» (стр. 17), автор вскоре затем переходит к полемике с И. И. Ревзиным и В. Ю. Розенцвейгом как авторами известной книги «Основы общего и машинного перевода» (М., 1964) и статьи «К обоснованию лингвистической теории перевода» (ВЯ, 1962, 1). По поводу высказанных там положений В. С. Виноградов пишет: «... И. И. Ревзин и В. Ю. Розенцвейг устраняют из теории перевода любой сравнительный анализ двух текстов — исходного и переводного, в которых материализованы результаты мышления, и оставляют в ней в качестве объекта изучения только то, что, применительно к человеку, недоступно непосредственному наблюдению: сам процесс перехода от одной системы знаков к другой, происходящий в человеческом мозгу» (стр. 19). Это критическое рассуждение может быть отнесено и к целому ряду зарубежных и отечественных работ, авторы которых дают те или иные схемы процесса перевода, лишенные конкретного лингвистического содержания, не аргументированные данными психологии и носящие весьма общий характер. Тем самым наиболее реальным и надежным путем в конкретном изучении сущности и объективных возможностей перевода во всем их разнообразии на данный момент следует вместе с автором книги признать сопоставительный анализ данных языков — исходного и переводящего, выявление соотношений между речевыми произведениями на этих двух языках — оригиналов и их переводов, путь конкретного лингвистического исследования, основанного на материале текстов, а не умозрений. Этот традиционный анализ требует, конечно, дальнейшего усовершенствования. Установление различных соответствий становится теоретически важной частью исследования задач и форм перевода, в особенности перевода художественной литературы.

В книге много разделов, граф и параграфов. Эти членения вполне оправданы разнообразием проблематики. Изложение экономное и сжатое. На 172 страницах (всего 12,5 авторских листов) В. С. Виноградову удается разобрать все намеченные им вопросы и сказать о них все, чего мог бы ждать читатель. Лишь в одном месте — в параграфе о долговременных и кратковременных фоновых знаниях (стр. 105—108) — приходится пожалеть о том, что сказано мало, тогда как тема заслуживала бы более подробного рассмотрения. Лаконизм, стремление к экономии текста не мешают автору писать четко, даже общедоступно, живо, нигде не заставляют его перегружать и утяжелять фразу. Тем самым книга может найти дорогу и к широкому кругу читателей, не только к специалистам.

Хотя книга В. С. Виноградова в целом, т. е. по идеям, по теоретическим принципам, положенным в ее основу, по подходу к материалу, по способам его анализа, по манере доказательств, очень

[2] Работ по текстологии перевода еще очень мало. Можно назвать книгу Л. Мкртчяна «Родное и близкое» (М., 1978), где в главах «Поэма „Абул Ала Маари“ в переводе Валерия Брюсова» и «Александр Блок — переводчик Аветика Исаакяна» прослеживается по рукописям этих двух поэтов последовательность в выборе вариантов слов и целых строк и тем самым реконструируется ход творческой мысли, и статьи Е. В. Ланды «А. Блок и переводы из Гейне» в сб. «Мастерство перевода. 1963» (М., 1964) и «Блок — редактор Гейне» в сб. «Редактор и перевод» (М., 1965). О важности текстологических данных для теории перевода автору настоящей рецензии пришлось говорить в статье «О соотношении отдельного и целого в процессе перевода как творчества» (ВЯ, 1970, 6) и в рецензии на указанную книгу Л. Мкртчяна («Вопросы литературы», 1979, 2).

близка пишущему эти строки и не дает повода для принципиальных возражений, все же отдельные вопросы она вызывает.

Один из них возникает относительно материала исследования. В общем он достаточно разнообразен, однако значительная часть книги (приблизительно с ее середины и почти до конца) построена на анализе примеров из переводов двух очень специфических по стилю литературных памятников эпохи Возрождения. Это «Дон Кихот» Сервантеса и «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле, оба произведения в переводе Н. М. Любимова, причем для сравнения с последним переводом «Дон Кихота» довольно часто привлекается и предыдущий перевод знаменитого романа под редакцией Б. А. Кржевского и А. А. Смирнова. Конечно, оба подлинника относятся к мировой классике, а оба перевода Н. М. Любимова весьма авторитетны и чрезвычайно интересны в силу огромной стилистической изобретательности. Но нельзя не учитывать и специфику оригиналов, обусловленную и далекой эпохой их создания, и жанром, с которым связана смесь гротеска и фантастики в изображенных ситуациях, и необыкновенным своеобразием индивидуального стиля двух великих писателей Ренессанса. И если эта специфика, с одной стороны, способна еще ярче подтвердить положение о роли константных соответствий, количество которых, устанавливаемое по двум переводам «Дон Кихота», оказывается необыкновенно высоким, то оно же заставляет взять под сомнение типичность тех переводческих решений, которые принимает Н. М. Любимов, создавая русские соответствия, например, «говорящим именам» или некоторым каламбурам. Ведь «говорящие имена» и в романе Сервантеса, и в эпопее Рабле, а равно и в их русском переводе, возможны именно на гротескно-фантастическом фоне всего повествования, который и позволяет именам собственным сблизиться с нарицательными. Последнее было бы немыслимо, скажем, в переводе реалистической прозы XIX в. или нашего времени. Другими словами — степень применимости действующих здесь принципов ограничена относительно суженными рамками определенных условий, заданных подлинником, при всем практическом значении и теоретическом интересе, который они представляют. Эти принципы заставляют вспомнить афористический совет Тредиаковского в его предисловии к «Езде в остров любви»: «Ежели творец замысловат был, то переводчику замысловатее надлежит быть». Оба автора — и Сервантес и Рабле — в достаточной мере «замысловаты», а их переводчик нередко оказывается еще «замысловатее», и переизбыток этого качества приносит ему успех, кроме сравнительно редких, но вовсе не единичных случаев, таких, например, как непременная передача некоторых словосочетаний оригинала Рабле сложными словами или употребление сочетаний русских слов, графически слитых в одно слово (примеры см. на стр. 116 рецензируемой книги). Такие способы перевода, используемые Н. М. Любимовым очень широко, вызывают впечатление известной нарочитости и искусственности, тогда как некоторые из передаваемых с их помощью слов (например, *anéanti*, *déchalandé*) и словосочетаний (например, *égousseurs de fèves*) оригинала этой нарочитостью не отличаются. Как бы то ни было, думается, что постоянное обращение к тексту этого перевода должно было бы быть специально оговорено.

Принципиальным положениям и оценочным характеристикам, которые формулируются в трех последних главах, посвященных стилистически ярким переводам, несколько противоречит замечание в начале книги (стр. 11) по поводу обусловленных «индивидуальностью переводчика стилевых черт», «парадокс» которых «заключается в том, что они нежелательны, но неизбежны». Пожалуй, парадокса здесь и нет, ибо индивидуальное в языке автора находит не столько неизбежное, сколько необходимое соответствие в индивидуальном у переводчика, если оно в определенной мере созвучно (пусть не тождественно) авторской индивидуальности. Именно потому, что перевод — искусство, без элемента творческой индивидуальности, находящей здесь, правда, особое проявление (иное, чем в оригинальном творчестве), он обойтись не может. Иначе были бы немыслимы работы, подобные переводам Н. М. Любимова, Ю. Б. Корнеева и Э. Л. Линецкой и другие, по справедливости высоко оцениваемые в рецензируемой книге. Вопрос же о соотношении индивидуального стиля переводчика с индивидуальным стилем автора подлинника — один из насущных вопросов, уже вставших в теории перевода и активно исследуемых, притом также и в лингвистическом плане (это, в частности, предмет многочисленных публикаций М. А. Новиковой, появившихся в сборниках «Мастерство перевода» и журнале «Дружба народов»).

Необходимо одно терминологическое уточнение. Оно касается слова-термина «эквивалент», который как обозначение одной из важнейших категорий теории перевода — однозначных постоянных межъязыковых соответствий — был в свое время (еще в 1950 г.) весьма удачно предложен Я. И. Рецкером [3] и вошел

[3] См.: Я. И. Рецкер, О закономерных соответствиях при переводе на родной язык, сб. «Вопросы теории и методики учебного перевода», М., 1950; его же, Теория перевода и переводческая практика.

в разработанную и до сих пор совершенствуемую им классификацию «закономерных соответствий», на которую сочувственно ссылается и В. С. Виноградов (стр. 62—65). Между тем и некоторые теоретики перевода, и лингвисты других специальностей — очевидно, просто по привычке к словам иноязычного происхождения — пользуются данным словом, когда речь идет лишь о соответствиях (разного типа), и тем самым расшатывают значение полезнейшего термина теории перевода, становящегося от этого зыбким и расплывчатым. Подобный упрек можно отнести и к рецензируемой книге, на отдельных страницах которой встречаются случаи именно такого неточного употребления термина. Хотя излагая классификацию Я. И Рецкера (в ее первоначальном варианте) и соглашаясь с ней, В. С. Виноградов пишет: «Эквивалент всегда один» (стр. 63), в дальнейшем он несколько раз отходит от исходной трактовки понятия — говорит об «окказиональных эквивалентах» (стр. 83), что противоречит признакам постоянства и однозначности данного соответствия, или он относит к эквивалентам соответствия из числа вариантных (стр. 67) или даже из сферы описательных способов перевода (стр. 73). Это нарушение единства содержания, вложенного в термин, особенно нежелательно именно в работе по теории перевода, притом такой, где справедливо подчеркивается конструктивная важность константных соответствий, к разряду которых в первую очередь и принадлежат эквиваленты.

Те, в общем немногочисленные поводы, которые книга В. С. Виноградова дает для критических замечаний — и более крупных, и мелких, легко могли бы быть устранены в случае ее переиздания. А этого книга заслуживала бы. В ней сказано новое слово в области как общей, так и частной теории перевода, изучен обширный круг вопросов сопоставительной лексикологии в ее применении к проблематике перевода повествовательной прозы на материале двух романских (испанского и французского) и русского языков. Являясь по концепции и конкретной методике лингвистической, книга В. С. Виноградова по своему направлению должна быть признана в широком смысле филологической: автор, оперируя данными перевода художественной прозы, подвергает их лингвистическому анализу, все время помня и об их специфике как явления словесного искусства. Интересы конкретного сопоставления разноязычного материала ему удается сочетать с интересами эстетики слова — путь, по-настоящему плодотворный для теории художественного перевода.

Федоров А. В.

M.-R. Simoni-Aurembou. **Atlas linguistique et ethnographique de l'Ile-de-France et de l'Orléanais** (Ile-de-France, Orléanais, Perche, Touraine). Vol. II.— Paris, 1978. 371 cartes. («Atlas linguistiques de la France par regions»).

«Лингвистический и этнографический атлас Иль-де-Франса и Орлеанэ», подготовленный и издаваемый М.-Р. Симони-Орембу, известным специалистом по французской диалектологии и истории языка, входит в серию «Региональных лингвистических атласов Франции», которая начала выходить с 1950 г., когда появился первый том «Лингвистического и этнографического атласа Лионской области» [1]. Она была задумана еще А. Доза, впервые выступившим в печати по этому поводу в 1939 г. В течение длительного времени работа над региональными атласами осуществлялась под руководством П. Гардета, а после его смерти, последовавшей в 1973 г., этот труд взял на себя Г. Тюайон. К настоящему времени вышло в свет 32 тома и находится в печати 7 томов этой серии (18 регионов). Атласы построены более или менее однотипно и, *в основном, в традициях школы* Ж. Жильерона [2]. Это открывает большие возможности для исследования диалектного состояния Франции в целом в двух синхронных срезах — начало XX в. (появление ЛАФ) и вторая половина XX в.

Мы избрали для рецензирования именно этот атлас из всей серии, поскольку в нем описываются особенности той территории, на которой с трудом можно было бы ожидать сохранения диалектизмов до наших дней. В нашу задачу входит также, исходя из особенностей рецензируемого атласа, показать особенности

[1] См. подробнее об истории этой серии: М. А. Бородина, О «Новом лингвистическом атласе Франции» (сравнительно с атласом Ж. Жильерона), ВЯ, 1956, 3.

[2] J. Gilliéron, E. Edmont,, Atlas linguistique de la France, 35 fasc., Paris, 1902—1910 (в дальнейшем сокращенно — ЛАФ) и ряд трудов Ж. Жильерона.

всей серии «Новых региональных атласов Франции» в их сопоставлении с ЛАФ.

По сравнению с ЛАФ, региональные атласы Франции выгодно отличаются значительно более густой сеткой, более подробным и обдуманным вопросником, хорошими, иногда весьма пространными комментариями к картам, часто связанными с особенностями семантики слова. Кроме того, следуя традиции К. Яберга и Я. Юда, авторы приводят значительный материал по этнографии и фольклору, т. е. по исследуемому денотату и его функционированию в данной местности. Ж. Жильерон не ставил перед собой задачи изучения этнографических особенностей и более детального описания материала в легендах к картам. Лишь в отдельных картах мы находим пояснения к некоторым пунктам. Таким образом, если по ЛАФ мы имели возможность изучать слово только как лексему, то по материалам региональных атласов слово может быть изучено с точки зрения его внешней формы (фонетической и словообразовательной), его семического состава и его отношения к денотату.

Первый том «Лингвистического и этнографического атласа Иль-де-Франса и Орлеанэ» вышел в 1973 г. Он содержит 318 карт, посвященных терминологии, связанной с посевами, плугом, сеном, сбором урожая, обработкой зерна, виноградарским делом, садоводством, дикорастущими растениями и деревьями (всего девять тематических групп). В рецензируемом втором томе исследуются следующие тематические группы: дерево и уход за ним, источники и реки, разведение скота, молочное производство (карты №№ 319—687). Третий том будет посвящен кличкам животных.

Особенности избираемых для анкетирования тематических групп связаны со своеобразием предмета исследования. Для жителей сельской местности эта тематика особенно близка. Диалектолог, исследуя именно эти группы слов, находит в них архаизмы, интересные семантические и словообразовательные явления и т. д. И в развитии русской диалектологии изучение лексических групп слов связано с аналогичной лексикой [3].

Принцип членения региональных атласов — историко-лингвистический (не административный). Осуществление историко-лингвистического принципа представляется сложным, так как границы старых говоров, равно как и политические границы, не были одинаковыми в разные периоды истории языка. Одна из задач региональных атласов — установить реальные границы говоров, поскольку до сих пор приходилось пользоваться априорными данными: материалы ЛАФ далеко недостаточны для того, чтобы решить этот сложный вопрос. Соответственно принципам членения региональных атласов, рецензируемый том охватывает не только территорию Иль-де-Франса и Орлеанэ, но также ареал Перш и Турэнь, как это видно из подзаголовка. Эти четыре старых провинции Франции, согласно современному административному делению, охватывают (с севера на юг) часть деп. Уаз, полностью деп. Валь д'Уаз, Ивелин, Эссонн, Эр и Луара, Луаре, частично деп. Орн, Сарт, Луара-и-Шер, Эндр-и-Луара. Зона обследования расположена между Серной и Луарой. На северо-востоке зоны находится Париж; небольшая окружающая его территория остается вне поля зрения диалектной анкеты регионального атласа. Анкета ЛАФ проходила несколько ближе к Парижу. Всего на карте расположено 76 пунктов (0 + 75); в ЛАФ точек обследования было только 16. М.-Р. Симони-Орембу сочла необходимым в трех пунктах ЛАФ повторить анкету — в деп. Эссонн, п. 0 = 242, в деп. Уаза, п. 51 = 209, в деп. Луаре, п. 28 = 217[4].

Несмотря на то, что территория, охватываемая «Лингвистическим и этнографическим атласом Иль-де-Франса и Орлеанэ», расположена в самом центре Франции (имея в виду культурный, лингвистический и административный центр), где, казалось бы, волны иррадиации литературного языка должны были бы весьма основательно размыть диалектную зону, эта зона оказалась весьма интересной для обследования, содержащей немало архаизмов и регионализмов, что видно как из карт, рисунков и комментариев к ним, так и из исследований М.-Р. Симони-Орембу.

Кроме полевых материалов, составляющих основу любого атласа, привлекались также и материалы этнографического характера [например, музея в г. Шартр (деп. Эр и Луара), музея Искусств и народных традиций Перша (деп. Орн), музея в Шатодене (деп. Эр-и-Луара)].

В картах используется транскрипция, которая была выработана для ЛАФ, т. е. транскрипция, восходящая к П. Руссло, с некоторыми дополнениями. В легенде к карте даются отсылки на ЛАФ и на дополнения к нему, а также и на другие региональные атласы. Принимается следующая техника представления материа-

[3] См.: Ф. П. Филин, Исследование о лексике русских говоров, (по материалам сельскохозяйственной терминологии), М.— Л., 1936. Эта работа положила начало системному изучению лексики русских говоров, о чем подробнее в статье: Ф. П. Сороколетов, Из истории диалектной и исторической лексикологии русского языка, сб. «Диалектная лексика. 1975». Л., 1978.

[4] Первая цифра — номер пункта рецензируемого атласа, вторая — соответствующий пункт ЛАФ.

ла: слово пишется у соответствующего пункта, но в ряде карт, где формы совпадают, очерчиваются ареалы, внутри которых крупно пишется соответствующее обозначение.

Атлас открывается картой-шаблоном (масштаб 1 : 800 000), на котором под пунктом обследования дается географическое наименование села; на следующей карте отмечены местности, в которых анкетирование производилось не полностью. Под такой формулировкой имеется в виду, что, если в каком-либо селе, предварительно избранном для анкетирования, автор не находила достаточно хорошего знатока своего говора и в то же время этот район представлял интерес для анкетирования, автор использовала информанта из ближнего села, находящегося на расстоянии нескольких километров. Далее следуют карты, сгруппированные по тематическому признаку, о чем говорилось выше. Большинство карт помещается на одном листе атласа; в отдельных случаях при небольшой нагрузке на листе расположено четыре карты.

Помимо локального интереса (к той или иной диалектной области, которую представляют материалы карт), следует всегда учитывать, что каждый региональный атлас имеет более широкое значение как часть общефранцузской территории — именно на это и рассчитано издание серии. Так, территория анкетирования в атласе Иль-де-Франса и Орлеанэ на востоке примыкает к атласу Шампани и Бри [5], на юге — к атласу Центрального Массива [6], на юго-западе — к атласу Романской Бретани [7].

Рассмотрим некоторые карты, в которых содержатся интересные наблюдения над местным словоупотреблением и реалиями, что представляет интерес и для теории номинации.

1) Антитеза «литературный язык — диалект». На карте 319 «Un bois» «лес, роща», как и на соответствующей карте ЛАФ, повсеместно отмечено *bois* [bwa] с фонетическими вариантами конечного гласного — более архаичное *e*, огубление *a* (регрессивная ассимиляция). Только в п. 22, наряду с *bois*, отмечено [plāti] (по-видимому, от *plante* «растение, растительность»). Однако в результате беседы с жителями удалось выяснить девять синонимических диалектных лексем со значением «un petit bois au milieu d'un champ» «небольшая рощица посреди поля» (они зафиксированы в легенде к карте). Слово *bois*, таким образом, при основной анкете воспринималось как обобщающее литературное слово; дополнительная анкета дала более расчлененное представление о диалектном выражении этого понятия.

2) Понятийная группа слов. При анкете одновременно исследуются слова, входящие в одно понятийное поле. Так, в карте 321 «Un arbre» («дерево») выяснялись наименования «ствол дерева», «развилина у дерева», «дупло», «верхушка» и др.; результаты опроса приводятся в комментариях. Иногда несколько карт образуют одну понятийную группу: карта 375 «Un chemin, une route», карта 376 «Sentier, un raccourci».

3) Разные соотношения между обозначаемыми и обозначающими. Один предмет может быть обозначен разными лексемами. Эти лексемы, хотя и имеют разную внутреннюю форму, тем не менее связаны с одним значением. В карте 343 «Le chevalier pour scier» («козлы для пилки дров»), кроме *chevalet* (от *cheval* «лошадь»), на карте отмечены *la bique* (вариант [ẽ biko]) «коза», *un bikton* «небольшая коза», *la chevrette* (уменьшительное от *chèvre* «коза», также «самка косули»), *le diable* «черт» и др. Козлы для пилки дров, однако, тоже имеют разную форму и разную конструкцию; в связи с этим в картах для обозначения полной синонимии принят разделительный знак в виде запятой (в п. 43 *la biche*, *la bique*; в п. 61 *le diable*, [ẽ biko]; в п. 13 *la chèvre*, *la chevrette*).

При различии объектов между лексемами ставится точка с запятой.

В карте 329 «Bûcheron» («дровосек») во многих пунктах обследования встречаем *fagoteur* «вязальщик хвороста» (пп. 26, 28, 29, 30, 39, 40, 41 и др.). В комментариях читаем: «Все информанты были дровосеками и вязали хворост. Но они не были профессиональными дровосеками: в течение зимы они занимались заготовкой дров для себя. Именно поэтому один и тот же термин (имеется в виду или *bûcheron* или *fagoteur*.— *Б. М.*) означает одновременно и вязальщика хвороста и дровосека». Однако в ряде пунктов информанты все же различали эти понятия, давая оба термина, которые разделяются точкой с запятой.

4) Понятие, требуемое анкетой, отсутствует в сознании носителя языка. В таком случае под пунктом вместо слова ставится условное обозначение + [см. в картах 330 «Une hutte de bûcheron» («шалаш; хижина дровосека»); 399 «Un arbre étêté» («дерево с обрезанной верхушкой»)] и мн. др. И, наоборот, случается так, что предмет (явление) известны, а обозначение их отсутствует. В таких слу-

---

[5] H. Bourcelot, Atlas linguistique et ethnographique de la Champagne et de la Brie, I—II, Paris, 1966—1969.

[6] P. Nauton, Atlas linguistique et ethnographique du Massif Central, I—VI, Paris, 1957—1963.

[7] G. Guillaume, J. Chaveau, Atlas linguistique et ethnographique de la Bretagne Romane, de l'Anjou et du Maine, I, Paris, 1976.

чаях под пунктом ставится условный знак *x*. Так, например, в юго-восточной зоне в пп. 41, 42, 44, 45, 54, 65 и 67 жители не знали наименования самки свиньи (*truie*, см. карту 553). В пп. 1.4, 8, 42, 68 жители не знали, какими словами обозначить понятие «корова брыкается», в то время как в других районах читаем *elle rue*, *donne des coups* (*de pieds*), *gigotte* и др.; см. карту 523 («Ma vache»): *elle donne des coups de pieds*. На карте 392 «Поле, перпендикулярное многим другим» обозначение такого поля имеется только в центре обследуемой зоны ([ẽ sòmyé] и др.), в то время как на периферии понятие имеется, но номинации нет.

5) Материалы карт дают возможность при семическом анализе обнаружить дополнительные, иногда малоизвестные литературному языку, часто окказиональные, семы. Так, в карте 376 «Sentier» («тропинка») в ряде пунктов читаем: *chemin de pied*, *ruelle*, *petit sentier*, к карте 482 «La larve du hanneton» — *le ver blanc*, *le turk*, *le tur*.

Из описания и анализа «Лингвистического и этнографического атласа Иль-де-Франса и Орлеанэ» видно, что в этом атласе, как и в других современных региональных атласах Франции, подача материала более упорядочена, чем в ЛАФ. Это видно хотя бы из того, что в ЛАФ анкета составлена в алфавитном порядке, а здесь — исходя из тематических групп. В картах региональных атласов уделяется большое внимание всестороннему (лингвистическому, фольклорному, этнографическому) изучению анкетируемого понятия (предмета, денотата) и его места среди близких, родственных понятий. Это дает возможность автору атласа и его читателям делать наблюдения, интересные как в лингво-этнографическом плане, так и в плане компонентного анализа. Учитывая такое всестороннее рассмотрение материала, может быть, в начале атласа следовало бы, как это часто делается, дать серию дополнительных карт — рельефа, климатических, исторических (так, карты границ старых провинций) и др.

Несмотря на небольшую зону обследования, М.-Р. Симони-Орембу в ряде карт дает и ареальную обработку карт, вычерчивая изоглоссы, которые часто замыкают ареал, т. е. распространение слова образует зону, характерную для данной местности (карта 364 [ẽ vèzè] в значении «un terrain marécageux» — «болотистая местность»), либо ареал остается открытым — зона уходит в соседнюю территорию, карта 365 [ẽ surẽ] в значении «une petite source» («небольшой источник»), где ареал уходит на территорию Романской Бретани.

Своеобразна форма выявления ареальной картины, когда ареал не вычерчивается, но в зоне однородных форм лексема пишется заглавными буквами. Этот случай наглядно представлен в карте 375 «Un chemin». Конечно, это связано с трудностями вычерчивания в данной ситуации ареала, контуры которого представляются автору сложными и, может быть, не поддающимися точному вычерчиванию на карте. Просмотр таких карт убедил нас в том, что часто речь идет о размытых ареалах, и на этот процесс «размывания» четко указало бы построение изоглосс с указанием направления размыва стрелками. Так, в упомянутой карте «Un chemin» это литературное слово дает наглядную картину проникновения его в зону таких диалектизмов и синонимов, как *terre*, *un chemin perdu*, [ẽ bré], [tràvèrs], *la charrière* и др.

На карте 346 «Scier (du bois)» еще более наглядно видна динамика ареалов. Четыре небольших архаичных ареала расположены в маргинальных зонах карты. Здесь стрелкой наглядно и просто можно было бы показать в этой казалось бы застывшей ситуации борьбу языковых форм (см. также карту 414 и др.).

Техника проведения изоглоссы, в основном наглядная и объективная, могла бы быть усовершенствована. По одному из законов ареологии [8] изоглосса должна проходить примерно в середине между пунктами обследования, что не всегда выдерживается автором; нигде не оговорено, что означает пересечение изоглоссой пункта (так, в карте 345).

Во вводных страницах, где М.-Р. Симони-Орембу говорит о вычерчивании ареальных карт («cartes à aires»), могли бы быть оговорены особенности построения изоглосс.

Бесспорно то, что в рецензируемом атласе предполагается новый, современный лингвогеографический уровень составления атласа, равно как и новый уровень обработки лексико-семантического материала, основанный на вычленении ЛСГ и на достижениях современной семантики (выделение сем), хотя автор об этом не упоминает. К такому заключению приводит анализ материала, чтение легенд, в языке которых вполне могли бы фигурировать такие термины, как «сема», «обозначаемое», «обозначающее» и др.

В заключение отметим, что если ЛАФ давал лишь примерную дистрибуцию лексемы на территории Франции, то по региональным атласам типа атласа М.-Р. Симони-Орембу слово изучается во всех его семантических, а также функциональных состояниях, и, что очень важно, оно может быть соотнесено с денота-

---

[8] M. A. Borodina, La lecture des cartes de l'ALF et le tracement des isoglosses, в кн.: «Mélanges de linguistique romane et de philologie médiévale offerts à M. M. Delbouille», I, Gembloux, 1964, стр. 96—98.

том. Таким образом, составители региональных атласов идут интуитивно в ногу со временем, они дают материал для решения задач, связанных с проблемой знака и его обусловленности — вопрос, который не возникал сколько-нибудь определенно в период составления ЛАФ.

Карта региональных атласов часто дает общефранцузский материал и материал на уровне региональной речи; собственно диалектные данные оказываются иногда в примечаниях, где они сопровождаются этнографическими и фольклорными данными. Все это логично и связано с тем, что в современном французском языке уровень собственно диалектный почти отсутствует и исследуется больше региональная речь, чем диалектная [9].

Таким образом, материал, который собран в «Лингвистическом и этнографическом атласе Иль-де-Франса и Орлеанэ» М.-Р. Симони-Орембу представляет очень большой интерес для самых разнообразных вопросов изучения французского языка, а также для общих вопросов языкознания и методики лингвистического картографирования.

Бородина М. А.

[9] См. сб.: «Les français régionaux», publié par G. Taverdet et G. Straka, Paris, 1977.

***А. В. Бондарко.* Грамматическое значение и смысл. — Л., ЛО изд-ва «Наука», 1978. 176 стр.**

Вопросы грамматической семантики занимают одно из центральных мест в кругу теоретической проблематики языкознания. Освещение этих вопросов в одинаковой степени актуально и для разработки кардинальной проблемы взаимоотношения языка и мышления, и для углубленного научного раскрытия сущности и специфики языковой структуры. К числу работ, посвященных вопросам грамматической семантики, принадлежит и рецензируемая книга А. В. Бондарко, появлению которой предшествовал ряд других публикаций автора на близкие темы: «Вид и время русского глагола» (М., 1971); «Грамматическая категория и контекст» (Л., 1971); «Теория морфологических категорий» (Л., 1976) и др.

В центре внимания автора монографии находится соотношение непосредственного содержания грамматических единиц как элементов языковой системы и конкретного смысла высказывания, т. е. той информации, которая передается говорящим и воспринимается слушающим через содержание языковых средств. Однако соотношением этих двух семантических планов тема монографии А. В. Бондарко не ограничивается. В ней рассматриваются и некоторые другие вопросы, касающиеся собственно содержания грамматических единиц языка, но не увязываемые автором непосредственно с планом смысла высказывания. Таковы, в частности, вопросы категориальных значений в грамматике, освещаемые в последней из пяти глав монографии. Таким образом, рецензируемая работа в целом представляет собой обстоятельное рассмотрение сущности грамматических значений как фактов языковой системы, между тем как соотношение этих значений со смыслом высказывания и связанная с этим характеристика речевого смысла составляют, по существу, лишь один, хотя и наиболее важный, из аспектов проводимого исследования. Непосредственному освещению специфики речевого смысла в его отношении к содержанию грамматических единиц языка полностью посвящена четвертая глава книги и частично вторая глава. Рассмотрение вопросов собственно грамматической семантики проводится А. В. Бондарко в широком контексте более общих проблем лингвистической семантики в целом.

Одна из специфических особенностей семантической, в том числе и грамматико-семантической, сферы языка как продукта общественного сознания заключается в ее многоплановости, в возможности выделения в ней различных уровней и аспектов. Именно понимание и учет этой особенности наряду с другими факторами обеспечили рецензируемой работе А. В. Бондарко свойственную ей широту теоретической перспективы. Ведущая мысль работы А. В. Бондарко *заключается в признании двух уровней* языковой семантики — собственно языкового содержания, т. е. значения, закрепленного за определенными единицами языковой системы, и так называемого «мыслительного содержания», т. е. содержания, представленного, с одной стороны, понятийными категориями и, с другой,— конкретным смыслом высказывания. Плодотворность подобного подхода подтверждается общей совокупностью полученных в рецензируемом исследовании результатов, убедительно показавших, что действительно эффективный научный анализ теоретических проблем лингвистической семантики возможен только при условии признания и учета различных семантических уровней. Такой подход противопоставляется в «Предисловии» явно неприемлемой и подробно не рассматриваемой в работе точке

зрения, согласно которой семантическое содержание в языке ограничивается понятийным, т. е. чисто мыслительным планом и не включает в себя никаких специфических языковых моментов. В противовес этому направлению А. В. Бондарко в первой и второй главах работы излагает концепции ряда выдающихся русских языковедов прошлого (А. А. Потебни, Ф. Ф. Фортунатова, И. А. Бодуэна де Куртенэ, А. А. Шахматова, А. М. Пешковского, Л. В. Щербы, И. И. Мещанинова, В. В. Виноградова), а также многих современных лингвистов, выделяющих под различными названиями и с различных позиций два соответствующих аспекта семантики языка. Наряду с рассмотрением мнений лингвистов, в обзоре привлекаются данные экспериментальной психологии, наглядно подтверждающие правильность выделения в языкознании понятий «значение» и «смысл» (стр. 44). Весь обзор, проведенный автором с внимательным проникновением в сущность рассматриваемых концепций, вместе с соответствующими сведениями, приведенными в других частях работы, глубоко раскрывает идейное богатство отечественной грамматической теории, ее важный вклад в мировое языкознание.

В рамках выделенных двух основных уровней семантики автор проводит углубленный анализ ряда важных свойств содержания текста и речевого смысла, в частности таких, как избыточность семантических элементов в структуре текста, коннотативный компонент плана содержания текста и связанный с ним аффективный компонент смысла (например, в случаях переносного употребления грамматических форм), имплицитный компонент плана содержания текста, относящийся вместе с тем и к плану смысла (стр. 103—109). Результаты проведенного в этих направлениях анализа имеют значение как для дальнейшей разработки проблем самой семантики, так и для расширения теоретических основ других направлений языкознания, в частности, стилистики художественной речи и машинной обработки языковой информации.

А. В. Бондарко, в своей работе не выделяет все возможные уровни и аспекты семантической сферы языка, поскольку в таком выделении не было специальной надобности. Однако если в семантической сфере, связанной с содержанием грамматических единиц языка как компонентов языковой системы, количество выделяемых аспектов содержания практически соответствует потребностям анализа, проводимого во всех основных разделах работы, то в семантической сфере, относящейся к плану речевого смысла (иначе «мыслительного содержания», «конкретного смысла высказывания», «понятийного содержания», «смыслового содержания» или «логического содержания», стр. 4), важные для теоретического осмысления этой сферы аспекты вычленяются автором не везде последовательно. Ввиду этого возникает необходимость рассмотреть соответствующие места работы несколько подробнее.

В начальных частях работы (в «Предисловии» и во второй главе) речевой смысл трактуется как семантический уровень, имеющий две стороны — языковую (поскольку он выражается при помощи семантических единиц данного языка) и внеязыковую (более точно в работе не определяемую). В «Предисловии» указывается на то, «что мыслительное и языковое содержание, не будучи тождественными, образуют единство. Языковое (семантическое) содержание есть мыслительное (понятийное, смысловое) в своей основе содержание, а) выраженное средствами данного языка, б) структурированное языковыми единицами и их соотношениями, в) включенное, таким образом, в систему данного языка и образующее его содержательную сторону, т. е. выступающее как содержание языковых единиц, их комплексов и сочетаний в системе языка и в процессе его функционирования...» (стр. 5). Аналогичное понимание взаимоотношения смысла и значения поддерживается автором и во второй главе в связи с изложением точки зрения Н. А. Слюсаревой (стр. 37). Однако в четвертой главе, специально посвященной анализу взаимоотношений между планом содержания текста и речевым смыслом, этот последний рассматривается уже только как «смысловая информация», «которая базируется на ... содержании» текста. «Речевой смысл,— говорится здесь,— (в рамках данной работы — смысл высказывания) — это та информация, которая передается говорящим и воспринимается слушающим на основе содержания, выражаемого языковыми средствами в сочетании с контекстом и речевой ситуацией, на фоне существенных в данных условиях речи элементов опыта и знаний говорящего и слушающего» (стр. 95). При этом, как видно из дальнейшего изложения, под речевой ситуацией понимаются реальные условия произнесения и восприятия высказывания, в самом содержании высказывания не отражаемые, а под «элементами опыта и знания говорящего и слушающего» (иначе, «энциклопедической информацией») имеются в виду опыт и знания, непосредственно с содержанием данного высказывания не связанные. При таком понимании основным источником речевого смысла оказывается не отражение объективных явлений в сознании носителей языка, а в первую очередь, содержание языковых средств, дополняемое контекстуальной (т. е. практически той же языковой), ситуативной и энциклопедической информацией. В таком

случае уже не содержание языковых средств выводится из смысла, как это делалось в начальной части работы (стр. 5), а наоборот, смысл выводится из содержания языковых средств. Об этом в работе так и говорится: «Таким образом, источниками речевого смысла являются: 1) план содержания текста и вытекающий из него смысл (смысл текста), 2) контекстуальная информация, 3) ситуативная информация, 4) энциклопедическая информация» (стр. 95). Автор и сам не придает большого значения этим дополнительным по отношению к содержанию текста источникам смысла. «Мы не отрицаем,— пишет он,— важности контекстуальной и ситуативной, а также энциклопедической информации как источников и компонентов речевого смысла... Вместе с тем мы хотим подчеркнуть, что и независимо от этих источников информации, внешних по отношению к данному тексту, имеются существенные внутренние различия между планом содержания текста и тем компонентом речевого смысла, который базируется на содержании текста. Эти различия обусловлены неизоморфностью языковой структуры содержания текста и смысловой структуры той информации, которая вытекает из плана содержания текста» (стр. 99—100). С определяющим его моментом отражения соответствующего участка действительности в сознании носителя языка речевой смысл и в данном случае не связывается.

Следует признать, что такая элиминация денотативно-отражательной стороны речевого смысла вполне допустима при подходе к пониманию смысла со стороны воспринимающего участника речевого акта без учета позиции участника, формирующего высказывание. Но в рецензируемой работе о таком ограничении речь не идет. Специально остановившись на последовательных этапах формирования речевого смысла в сознании говорящего, А. В. Бондарко и здесь не касается вопроса о психическом отражении действительности как основном источнике смысла речи. С точки зрения формально-логической методики наметившаяся во второй половине книги односторонность освещения речевого смысла вызвана тем, что несколько неточно сформулированное в начале книги положение о двух «формах существования» мыслительного содержания — языковой и неязыковой — не получило в дальнейшем последовательного развития, и в мыслительном содержании, наряду с его чисто языковой стороной, осталась не учтенной сторона денотативно-отражательная.

В этом же плане привлекает к себе внимание и предлагаемая в монографии характеристика понятийных категорий, которые А. В. Бондарко считает составными элементами речевого смысла. Их освещение в книге испытало эволюцию, подобную той, которая наблюдается и в освещении речевого смысла. В первой главе А. В. Бондарко в положительном плане говорит о том, что «...И. И. Мещанинов обращал внимание и на собственно понятийную, мыслительную сторону выделяемых им категорий. Он подчеркивал, что понятийные категории выражают в языке нормы действующего сознания, отражают общие категории мышления. В теории И. И. Мещанинова (так же, как и в концепции понятийных категорий, выдвинутой О. Есперсеном) отразилась сложная, двойственная природа рассматриваемых мыслительно-языковых отношений» (стр. 28). Еще более четко указывает на это сам автор в начале третьей главы, специально посвященной вопросу о понятийных категориях: «Понятийные категории (такие, как возможность, необходимость, императивность, одновременность, последовательность, посессивность, начинательность, результативность, каузативность, плюральность и т. п.), с одной стороны, представляют собой отражение свойств и отношений реальной действительности, а с другой — имеют опору на язык» (стр. 72). И дальше: «Именно благодаря возможности реализации в разных языковых семантических функциях, связанных с разными формальными средствами, понятийные категории обладают относительной самостоятельностью» (стр. 73). «В фундаментальных понятийных категориях проявляется прежде всего их „отражательная“ сторона, т. е. отражение в сознании человека отношений объективной действительности, тогда как в неуниверсальных элементах языковых семантических функций на передний план выдвигается интерпретационная сторона, тот или иной способ интерпретации отношений и свойств» (стр. 79). Однако уже с самого начала возникает впечатление, что утверждение об относительной самостоятельности понятийных категорий по отношению к языковым формам их «реализации» не соответствует излагаемому в работе общему пониманию их сущности, поскольку главным условием выделения понятийных категорий из всей совокупности возможных мыслительных содержаний является именно наличие в языке системы формальных (в том числе и лексических) средств их выражения. «Признак системы в языковом выявлении того или иного понятия,— подчеркивает А. В. Бондарко, — рассматривается И. И. Мещаниновым как обязательный и необходимый признак понятийной категории, как критерий ее выделения» (стр. 28). «Понятийные категории,— говорится в монографии дальше,— воспроизводимые и формирующиеся в связи с процессами внутренней речи как отражение отношений объективного мира, недоступны непосредственному анализу (возможности самонаблюдения и кол-

лективных экспериментов весьма ограниченны). Зато языковые семантические функции, в которых отражены понятийные категории, представляют собой конкретный предмет анализа» (стр. 75—76). Вслед за этим по существу признается, что так называемые «понятийные категории» — это всего лишь результаты производимого лингвистами абстрагирования от языковых данных.

Характеристика понятийных категорий, складывающаяся в книге к концу их рассмотрения, вполне согласуется с характеристикой речевого смысла, элементами которого они признаются, как вытекающего в основном из содержания единиц языка. Но говоря о понятийных категориях как о содержательных элементах, «извлекаемых» из языковых семантических функций, нельзя приписывать им независимое от языка существование в общественном сознании, в котором они, как отмечено, не могут наблюдаться. Поэтому неоднократно применяемые в книге формулировки типа «реализации понятийных категорий в средствах (или функциях) языка» воспринимаются как не соответствующие тем отношениям, о которых действительно идет речь. Рассмотрение вопроса о понятийных категориях в книге А. В. Бондарко, несомненно, способствовало приближению его принципиального решения. Вместе с тем, вполне очевидно, что этот вопрос нуждается в дальнейшем освещении, особенно в плане определения гносеологического и лингвистического статуса понятийных категорий, оснований и источников их выделения.

Особенности рассмотрения вопросов о речевом смысле и о понятийных категориях в книге А. В. Бондарко показывают, что в принципе автор ограничил свой анализ той стороной мыслительной сферы, которая непосредственно связана с языковыми содержаниями как элементами языковой системы, и более или менее последовательно абстрагировался от денотативно-отражательной стороны языка. В таком случае было бы целесообразно изложить в работе методические мотивы такого ограничения и вместе с тем указать на его методически условный характер. Без этого может показаться, что в работе отразилась не получившая окончательного разрешения конфронтация методологически различных подходов к рассматриваемой проблематике.

Как уже упомянуто, пятая глава монографии А. В. Бондарко посвящена разрабатываемому автором вопросу о различении грамматических значений, выражение которых является основной функцией определенных классов грамматических форм (например, значения времени, выражаемые временными формами глагола), и тождественных или аналогичных им значений, выражаемых в данном случае формами, имеющими другие основные функции (например, значение будущего времени, выражаемое наряду со значением повелительности формой повелительного наклонения в выражениях типа *Пройдите вперед*, или же вообще лишенных в данном языке каких-либо систематически употребляемых средств выражения (например, значение пересказывательности в русском языке) [1]. В этой главе содержится наиболее общая характеристика грамматических значений, проводится классификация их разновидностей по принадлежности к различным грамматическим единицам, классам слов и конструкциям, дается классификация структурных типов грамматических значений морфологических форм, освещается свойство обязательности выделяющихся в данном языке грамматических значений как основной их признак в языках флективно-синтетического типа. Рассматриваемые в главе соотношения обобщенных значений и формальных средств их выражения в различных языках представляют значительный интерес для общей теории грамматики, теоретической стилистики и типологии языков. А. В. Бондарко успешно занимается их изучением уже ряд лет. Постепенное углубление их исследования в работах автора отразилось и на употребляемой им терминологии. В монографии «Грамматическая категория и контекст» по отношению к случаям выражения грамматических значений формами, имеющими другие основные функции, употребляется выражение «морфологические категории в „несобственных“ функциях» (стр. 41, 61—65). В рецензируемой работе это явление вместе с лексическим выражением значений, однородных с грамматическими, но вообще не имеющих в данном языке грамматических средств выражения, подведено под общее название «некатегориальные значения» (стр. 144—148), противопоставляемое названию «категориальные значения», которое применяется к случаям систематического выражения грамматических значений при помощи соответствующих грамматических форм (стр. 142—144). Изменение терминологии здесь было действительно необходимо, т. к. случаям прямого выражения грамматических значений закрепленными за ними формами нужно было противопоставить все остальные случаи косвенного выражения грамматических или родственных грамматическим значений. Но предложенный в этой главе новый способ терминологического обозначения указанных семантических явлений тоже не

[1] Кстати, имеются веские основания признать наличие синтаксической категории пересказывательности и в русском языке, как это сделано для украинского (см.: «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис», Київ, 1972, стр. 136—137).

кажется абсолютно удовлетворительным. Термин «некатегориальные значения», относительно удачно обозначающий общие значения, выражаемые в данном языке только при помощи знаменательных лексических средств (если отвлечься от признаваемых автором вне связи с данным вопросом понятийных категорий, которые должны, по идее, усматриваться и здесь), представляется неточным в применении к грамматическим значениям, имеющим в данном языке специальные грамматические формы для своего выражения и только в нетипичных случаях выражаемым косвенно другими грамматическими формами наряду с основными значениями этих форм, как значение будущего времени в высказывании *Пройдите вперед*. Если значение будущего времени, косвенно выражаемое в этом высказывании, по своей внутренней сущности абсолютно однородно с грамматическим значением времени в высказывании *Вы пройдете вперед* и различие здесь имеет место только в соотношении степени четкости и актуальности значений времени и наклонения в обоих случаях, а не в качественной стороне прямо или косвенно выражаемого значения, то нет оснований называть значение времени в одном случае категориальным, а в другом некатегориальным. В этой связи употреблявшееся автором раньше выражение «морфологические категории в „несобственных" функциях», как нам кажется, отражает существо дела более точно, и оно в большей степени способствовало бы утверждению авторской концепции. Что же касается общего названия, которое охватывало бы эти случаи вместе со случаями собственно некатегориальных значений в грамматике, то в нем, по-видимому, должен быть отражен косвенный характер выражения соответствующих общих значений в данном языке.

Видное место в содержании пятой главы занимает критический анализ теории общих значений грамматических форм, наиболее последовательно разработанной Р. О. Якобсоном, и концепции первичных и вторичных функций грамматических форм, выдвинутой Е. Куриловичем. Опираясь на факты языковой действительности и на результаты своих исследований, А. В. Бондарко убедительно показывает, что теория общих значений, с одной стороны, не может претендовать на универсальность, но, с другой стороны, она правильно отражает один из типов системной организации языковых грамматических значений, и поэтому концепция Куриловича, тоже приемлемая лишь частично, не может ее полностью заменить (стр. 128—140).

В работе А. В. Бондарко органически сочетается анализ и обобщение взглядов предыдущих исследователей с теоретическими выводами автора из его широких и многочисленных наблюдений над грамматическими явлениями русского и других славянских языков. В настоящей рецензии нет возможности специально останавливаться на всех этих выводах и наблюдениях, составляющих вместе с рассмотренными выше вопросами общее содержание монографии. Подавляющее большинство их представляет значительный научный интерес и, несмотря на отмеченные выше частичные недочеты в авторской концепции или в ее изложении, заметно продвигает решение ряда важных вопросов грамматической семантики флективных языков. Вместе с тем содержание работы А. В. Бондарко убедительно свидетельствует о научной актуальности затронутых автором вопросов и о настоятельной необходимости их дальнейшей разработки.

А. С. Мельничук

***І. К. Білодід.* Києво-Могилянська академія в історії східнослов"янських літературних мов.** (Нариси з історії української літературної мови). —Київ, «Наукова думка», 1979. 200 стр.

Киево-Могилянская академия занимает видное место в истории культуры русского, украинского и белорусского народов — это первое высшее учебное заведение у восточных славян. Однако ряд вопросов, связанных с ролью Киево-Могилянской академии в истории развития восточнославянских литературных языков, еще исследован недостаточно. Поэтому выход в свет книги, посвященной данной проблеме, вызывает большой интерес. Интерес этот объясняется и тем, что книга написана крупным советским лингвистом, специалистом в области восточнославянского языкознания и является закономерным продолжением его исследований по истории украинского литературного языка [1].

[1] См.: «Курс історії української літературної мови», за ред. І. К. Білодіда, т. І, Київ, 1958; т. II, Київ, 1961; І. К. Білодід, Т. Г. Шевченко в історії української літературної мови, Київ, 1964; И. К. Белодед, Развитие языков социалистических наций СССР, Киев, 1969, и др.

Книгу предваряет небольшое, но емкое предисловие (стр. 3—4), в котором с позиций марксистско-ленинской методологии сжато излагается понимание автором исторических процессов развития восточнославянских литературных языков вообще и украинского в частности. Здесь же обосновывается языковая концепция Киево-Могилянской академии, базирующаяся «на основе как древнерусской письменной и устной культуры, так и староукраинской культуры и языка XVI—XVII вв.» (стр. 4). Вот почему в рецензируемой работе, наряду с очерком о Киево-Могилянской академии и ее языковой концепции, содержатся очерки о языке «Слова о полку Игореве» — замечательном памятнике Киевской Руси, об обучении языкам в братских школах на Украине и Белоруссии, о языке памятников украинского языка XVI—XVIII вв., о языковом творчестве великого русского ученого М. В. Ломоносова, учение которого о трех стилях тесно связано с разработкой этого вопроса в Киево-Могилянской академии, и др.

В очерке «„Слово о полку Игореве" — высокий образец словесно-художественного творчества древнерусского народа — общего предка русского, украинского и белорусского народов (дальнейшая языковая интерпретация произведения на Украине)» (стр. 5—21), автор предпринял оригинальную попытку «с вершины последней четверти XX в. нашей истории» проследить, какие слова и фразеологизмы памятника войдут в состав всех будущих восточнославянских языков, а какие станут достоянием только русского, или только украинского, или только белорусского. Что касается лексико-фразеологического состава и интонационного строя «Слова», то они, по мнению исследователя, свидетельствуют о начале процесса слияния книжного литературного языка с народно-разговорной и народно-песенной стихией (стр. 8).

Непосредственными предшественниками Киево-Могилянской академии были так называемые братские школы, возникшие на Украине и в Белоруссии в XVI—XVII вв. В очерке, озаглавленном «Обучение языкам в братских школах Украины в XVI—XVII вв. Памятники украинского языка этого времени» (стр. 22—47), автор указывает, что в борьбе украинцев и белорусов против «шляхетско-католической экспансии» языковой вопрос имел большое значение. В частности, в братских школах не только изучались церковнославянский и книжный украинский языки как родные, но и само обучение (т. е. преподавание других предметов) велось на этих языках. Вместе с тем, подчеркивает автор, братским школам был чужд языковой изоляционизм: наряду с церковнославянским и книжным украинским языками в них изучались и находили применение и греческий, и латинский, и польский языки. Эта традиция была воспринята и развита дальше в Киево-Могилянской академии.

Говоря о грамматиках церковнославянского языка для братских школ, акад. И. К. Белодед справедливо отмечает, что они сыграли выдающуюся роль в регламентации церковнославянского и книжного украинского языков, способствовали дальнейшему развитию грамматической мысли восточных славян. В этом плане следует особенно подчеркнуть значение «Грамматики» Мелетия Смотрицкого, 360-летие со дня опубликования которой отмечалось в прошлом году [2]: она не только использовалась в течение столетий как учебник по «славенороссскому» языку в России, на Украине и в Белоруссии, но и имела большое влияние на создание грамматик русского, украинского и белорусского литературных языков на их народно-разговорных основах.

Автор анализирует также ряд рукописных памятников данного периода, в частности, «Разговорник» XVI в. [3] и «Грамматику» Ивана Ужевича [4]. Эти памятни-

---

[2] Институт языковедения им. А. А. Потебни АН УССР осуществил ряд мероприятий, посвященных этой дате, в частности, провел совместно с Каменец-Подольским педагогическим институтом им. В. П. Затонского теоретический симпозиум, в котором приняли участие ученые РСФСР, Украины, Белоруссии и др. союзных республик, подготовил факсимильное издание: Мелетій Смотрицький, Граматика, Підгот. факсимільного видання та дослідження пам"ятки В. В. Німчука, Київ, 1979.

[3] «Разговорник» XVI в. хранится в Национальной библиотеке Франции (Париж). Текст памятника исследован в статьях: М. А. Жовтобрюх, Украинский разговорник XVI в, в кн.: «Восточнославянское и общее языкознание», М., 1978; его же, Видатна пам"ятка староукраїнської літературної мови, «Українська мова і література в школі», 1979, 2.

[4] Известны две рукописи «Грамматики» И. Ужевича: 1643 и 1645 годов. Обе рукописи хранятся во Франции — в Национальной библиотеке (Париж) и Городской библиотеке г. Арраса; в СССР осуществлено их фототипическое издание: Граматика слов"янська І. Ужевича, Підгот. до друку І. К. Білодід і Є. М. Кудрицький, Київ, 1970. Научная характеристика рукописей дана в предисловии и вводной статье к этому изданию, а также в новейших работах: Є. М. Кудрицкий, Іван Ужевич — український граматист XVII ст. і його праця, «Мовознавство», 1970, 1; М. А. Жовтобрюх, «Граматика сло-

ки ценны для истории украинского литературного языка тем, что первый из них представляет собой попытку дифференцировать церковнославянский и украинский языки, определить их место в кругу других европейских языков, а второй является одной из первых попыток грамматического осмысления книжного украинского литературного языка с его народно-разговорными элементами. Особенно следует отметить бесспорность утверждения автора о том, что «традиции Киево-Могилянской академии, братских школ относительно родного языка, выразителем которых был Иван Петрович Ужевич, оказали влияние на все дальнейшее развитие прогрессивной грамматической мысли на Украине» (стр. 46).

Очерк «Языковая концепция Киево-Могилянской академии» (стр. 48—84) — безусловно, центральный в рецензируемой книге — представляет собою образец социолингвистического анализа исторических явлений. С подлинно научных позиций в нем рассмотрена сложная языковая ситуация, сложившаяся на Украине в XVI—XVII вв. и отражавшая требования освободительной борьбы украинского народа, стремившегося к воссоединению с братским русским народом в едином государстве.

Киево-Могилянская академия, как известно, возникла в 1632 г. в результате объединения Киевской братской школы с Лаврской школой и сразу же стала центром борьбы против социального, национального и религиозного угнетения украинского народа со стороны шляхетско-католической Польши. Условия этой борьбы выдвигали необходимость выработки четкой позиции в языковых вопросах. Автор правильно указывает, что ученые Киево-Могилянской академии (Ф. Прокопович, Г. Конисский и др.), опираясь на опыт братских школ, с одной стороны, поднимали и укрепляли престиж и достоинство церковнославянского и староукраинского литературного языков, а с другой — требовали серьезного отношения к иностранным языкам (латинскому, греческому, польскому и др.), их изучению и обучению на них (стр. 61).

В очерке исследуются языковедческие взгляды Ф. Прокоповича, Г. Конисского, М. Довгалевского, И. Галятовского и других выдающихся представителей Киево-Могилянской академии, подчеркивается их бережное отношение к родному языку, уважение к другим языкам, использование их достижений для развития родного языка, дается оценка вклада ученых Академии (в частности, Ф. Прокоповича) в учение о «трех стилях», делается обоснованный вывод о том, что «в историческом развитии культуры, науки и просвещения братских восточнославянских — русского, украинского и белорусского — народов, в частности в формировании и усовершенствовании их литературных языков, в их творческом взаимодействии и взаимообогащении, в связях восточнославянских языков с языками других народов — славянских и неславянских — почетное место принадлежит высокому учебному и научному учреждению — Киево-Могилянской академии» (стр. 84).

венская» Івана Ужевича — пам"ятка староукраїнської літературної мови, в кн.: «Слово і труд», Київ, 1976.

Два последующих очерка посвящаются великому русскому ученому М. В. Ломоносову и его учению о «трех стилях» [очерк «Учение М. В. Ломоносова о трех стилях» (стр. 85—114)] и выдающемуся украинскому философу-писателю Г. С. Сковороде — воспитаннику Киево-Могилянской академии, последователю учения Ф. Прокоповича и М. В. Ломоносова [очерк «Г. С. Сковорода в истории украинского литературного языка (от традиции к новаторству)» (стр. 115—129)]. По мнению автора, заслуга М. В. Ломоносова как великого реформатора в области литературного языка состояла в том, что свое учение о трех стилях (высоком, среднем и низком) «он применил к национальному русскому языку с целью обогащения, упорядочения литературного языка в новых условиях», «распространил не только на поэзию, но и на весь литературный язык» (стр. 93).

Учение М. В. Ломоносова имело большое значение для истории всех восточнославянских литературных языков, формирования их на народно-разговорной основе. Исследователь убедительно показывает, как под влиянием нового учения постепенно изменяется дух и направление обучения в Киево-Могилянской академии, укрепляются русско-украинские культурные и языковые связи, ускоряется процесс сближения украинского литературного языка с разговорной речью народа. Ярким примером борьбы нового в украинском литературном языке, утверждавшемся на народно-разговорной основе, и старого, находившего опору в традиции церковнославянского и старокнижного языков, по мнению автора, является творчество Г. С. Сковороды — непосредственного предшественника И. П. Котляревского. И. К. Белодед справедливо считает, что Г. С. Сковорода, являясь наиболее талантливым представителем книжной традиции XVIII в. на Украине, внес большой вклад в создание «высокого» стиля украинского литературного языка, в обогащение его посредством патетического и сатирического использования церковнославянизмов, подготовил почву, на которой в конце XVIII — в начале XIX вв. образовался новый украинский литературный язык (стр. 127).

Думается, что анализ лингвистических взглядов и литературного творчества Г. С. Сковороды и других украинских

писателей XVIII в. с учетом создавшейся новой языковой ситуации, развитие которой во многом определялось новаторскими идеями М. В. Ломоносова, и сформулированные в очерке положения очень важны для более полного освещения второго «самого сложного и пока что наименее изученного»[5] периода в истории украинского литературного языка (вторая половина XVII—XVIII вв.).

Задача небольшого очерка «Неувядаемая мелодия языка „Наталки Полтавки“» (стр. 130—141) в общей концепции рецензируемой книги состояла в том, чтобы дать читателю научное представление о новом украинском литературном языке, зачинателем которого был И. П. Котляревский. Автор определяет место «Энеиды», «Наталки Полтавки» и других произведений Котляревского в истории украинского литературного языка, анализирует речь персонажей пьесы «Наталка Полтавка», характеризует лексику этой пьесы с точки зрения современного словарного состава украинского литературного языка, приходит к выводу, что в творчестве Котляревского впервые «народно-разговорный язык был поднят на уровень национального литературного языка» (стр. 134).

Хотя Котляревскому не удалось осуществить полную реорганизацию украинского литературного языка, объединить в едином новом организме все жизнеспособные компоненты предыдущей книжной традиции, он справедливо считается «выдающимся зачинателем этого исторического дела» (стр. 134).

Очерк «П. Житецкий — исследователь истории украинского литературного языка» (стр. 142—163) посвящен одному из наиболее талантливых дореволюционных представителей украинского языкознания, в трудах которого особенно много внимания уделено проблемам истории украинского языка, его связям с русским и белорусским. Исследователь по праву называет его «первым историком украинского литературного языка» (стр. 151).

В заключительном очерке, посвященном контактам украинского языка с другими славянскими языками и унификации его разговорной литературной формы (стр. 164—191), прослеживается процесс формирования разговорной формы украинского литературного языка на разных этапах его развития. В этом процессе, считает И. К. Белодед, отчетливо наблюдаются две тенденции: стремление опереться на народно-разговорную речь и учесть достижения церковнославянского, других славянских, а также классических языков (стр. 193)[6].

Действительно, в период становления письменного языка и формирования его разговорного стандарта доминируют процессы, направленные на «выход народно-разговорной речи в письменность и закрепление в ней» (стр. 165). Иноязычные влияния также представляют собою важный фактор развития языка[7]: контакты с церковнославянским, польским, чешским, словацким, венгерским и другими славянскими и неславянскими языками, бесспорно, обогатили лексику староукраинского литературного языка. Вместе с тем — и это убедительно показывает автор — образованию единой разговорной речи в этот период мешали «разобщенность украинских земель, отсутствие отраженного в письменности ведущего разговорного монолита языка, которым с конца XVII в., т. е. с началом формирования украинской нации, стали языковые массивы Поднепровской Украины» (стр. 193) и некоторые другие причины.

Благоприятные условия для унификации разговорной формы украинского литературного языка возникли с утверждением его на новой народно-разговорной основе. Важную роль при этом играли украинско-русские и русско-украинские языковые контакты[8]. В очерке анализируются основные тенденции взаимодействия и взаимообогащения восточнославянских языков в советское время, приводится богатый фактический материал, свидетельствующий о создании монолитности разговорного украинского литературного языка на всех украинских этнических территориях.

Завершая рассмотрение новой книги И. К. Белодеда, следует особо подчеркнуть ее четкую методологическую направленность, глубину положений и выводов, органическую связанность всех ее частей, объединенных одной общей задачей — показать главные этапы развития украинского литературного языка от его истоков до наших дней в постоянных связях с русским и белорусским языками. Успешному решению этой задачи во многом способствовала избранная автором фор-

---

[5] «Історія української мови. Фонетика», Київ, 1979, стр. 43.

[6] Это подтверждают, в частности, письменные памятники украинского литературного языка XIV—XVI вв., отражающие наличие в живой украинской речи как диалектных, так и иноязычных элементов, заимствованных из церковнославянского, польского, чешского и др. языков.

[7] Ср.: B. Havránek, Zur Problematik der Sprachmischung, TCLP, 1966, стр. 82.

[8] Подробнее об этом см.: «Зв"язки української мови з російською та іншими слов"янськими мовами в XVI—XIX ст.», Київ, 1963; Г. М. Гнатюк, Російсько-українські літературно-мовні зв"язки в другій половині XVIII—першій половині XIX ст.», Київ, 1957; Г. П. Їжакевич, Українсько-російські мовні зв"язки радянського часу, Київ, 1969, и др.

ма изложения материала в виде очерков, позволивших глубже осветить ряд малоизученных вопросов. Правда, это же явилось и причиной некоторой «несбалансированности» отдельных разделов книги, проявившейся, в частности, в неоправданном повторении тех или иных положений или даже цитат (стр. 59 и 153).

Нет сомнения в том, что труд академика И. К. Белодеда будет с большим вниманием встречен всеми славистами, поскольку в нем на примере украинского литературного языка изучаются процессы и тенденции, присущие развитию и других славянских языков. Опубликованный в год празднования 325-летия воссоединения украинского и русского народов, он представляет собой достойный вклад ученого в дело укрепления дружбы и единства всех советских народов.

Андерш И. Ф.

«Учебный словарь сочетаемости слов русского языка».
Около 2500 словарных статей. Под ред. П. Н. Денисова и В. В. Морковкина.
— М., «Русский язык», 1978. 688 стр.

Рецензируемый словарь, выпущенный Институтом русского языка имени А. С. Пушкина,— результат многолетней работы большого авторского коллектива. Идея создания словаря сочетаемости для нерусских учащихся была выдвинута еще в 1965 г. В. Г. Костомаровым. Словарь предназначен в первую очередь для тех, кто изучает русский язык как иностранный или преподает его нерусским учащимся, однако он представляет особый интерес и для широкого круга лингвистов, так как это первый вышедший в свет отечественный словарь сочетаемости. Словарь содержит свыше 2500 словарных статей; основной части словаря (стр. 15—685) предпосланы «Предисловие» (стр. 3—5), «Лексикографические источники» (стр. 5) и статья «Учебный словарь сочетаемости слов русского языка и его построение» (стр. 6—12), а также список условных сокращений и алфавит.

Словарная статья состоит, как и в обычных толковых словарях из исходной словоформы заглавного слова, его грамматической характеристики и толкования; затем следует описание свободной сочетаемости заглавного слова; фразеологизмы и идиоматика приводятся выборочно в конце словарной статьи перед иллюстрирующими примерами.

Поскольку общепринятой схемы лексикографического описания сочетаемости слов не существует, перед авторами стояла нелегкая лингвистическая задача создания такой схемы и, в частности, разработки структуры словарной статьи. К сожалению, задачи словаря и принципы его составления освещены во вступительных статьях не достаточно подробно. Это ставит рецензентов в затруднительное положение: разбор и критика словаря в его реализации не могут быть отделены от критики замысла, который читателю приходится отчасти домысливать самостоятельно. В «Предисловии» авторы пишут, что им «... вероятно, не удалось полностью и непротиворечиво воплотить свою теоретическую концепцию, поскольку ясное осознание многих явлений пришло тогда, когда работа над словарем уже подходила к концу», и что они «... с благодарностью примут все критические замечания, которые будут содействовать его улучшению» (стр. 4—5). Очевидно, что изложение этой теоретической концепции в явном виде только способствовало бы повышению эффективности возможной критики.

Понятие сочетаемости не имеет в научной практике строго определенного значения. В частности, следует различать прагматический и лингвистический аспекты сочетаемости. Описание прагматики входило, по-видимому, и в задачи настоящего словаря, что нашло свое отражение в «специфическом» подборе лексики приводимых сочетаний. Так, например, в статье *девушка* находим *ухаживать за ~ ой*, *влюбиться в ~ у*, *внешность*, *обаяние*, *фигура ~ и* и т. п., а в статье *жена — ссора с ~ ой*, *сварливая ~ а*, *присутствие ~ ы*, *жена зарабатывает сколько-л.* и т. п.[1].

Сама задача демонстрации прагматической сочетаемости может только приветствоваться, до тех пор, конечно, пока она не вступает в противоречие с требованием последовательности в описании лингвистического аспекта сочетаемости, к рассмотрению которого мы и перейдем.

Множество всех свободных сочетаний, содержащих данное слово, практически бесконечно. Соответственно задача лексикографического описания сочетаемости данного слова состоит в построении такой классификации этих сочетаний, которая обеспечит переход от конечного перечня типов сочетаний к бесконечному разнообразию конкретных представителей каждого типа. Вопрос о том, включать или не

[1] Здесь и далее курсивом выделены примеры, взятые из рецензируемого словаря; наши примеры отмечены знаком °.

включать ту или иную языковую единицу в словарь, приобретает в словаре сочетаемости особенно острый характер, поскольку лексикограф вынужден с неумолимой последовательностью сокращать объем словарной статьи, подчиняясь жестким требованиям заранее сформулированного принципа, в то время, как каждое новое сочетание, по существу, вносит свой индивидуальный оттенок в характеристику сочетаемостных свойств описываемого слова. Таким образом, несколько расплывчатое понятие сочетаемости данного слова должно предстать в словаре в виде серии четко определенных сочетаемостных характеристик.

Практическая лексикография выдвигает ряд жестких требований, из которых главными, на наш взгляд, являются следующие два: 1) словарная статья не должна содержать сведений избыточных, однако вся информация, предусматриваемая задачей словаря, должна в нем содержаться в явном виде; 2) словарные статьи однотипных слов должны быть унифицированы, а статьи слов, находящихся в отношении словообразовательной или смысловой производности, должны быть согласованы. Иными словами, лексикографическое описание должно быть полным, но не избыточным, и последовательным. Соблюдение этого идеала обеспечивается, как известно, разработкой типовой структуры (таких структур может быть несколько для разных типов слов) словарной статьи, отражающей задачи данного словаря и определяющей объем, форму и порядок приписываемых сведений (строгий порядок необходим для того, чтобы читатель мог легко найти интересующие его сведения).

В лингвистической теории принято различение типов сочетаемостных свойств, как относящихся к морфолого-синтаксическому (определяющему выбор грамматических форм членов сочетания), семантическому (определяющему семантические классы слов, допустимые в тех или иных морфолого-синтаксических позициях) или собственно-лексическому (определяющему ограничения, накладываемые на конкретный лексический состав членов сочетания) видам сочетаемости. В рецензируемом словаре отражаются все три вида сочетаемости, однако они не разграничены достаточно четко ни с содержательной точки зрения, ни в плане оформления; тогда как последовательное разграничение способов демонстрации морфолого-синтаксических, семантических и лексических свойств описываемых сочетаний могло бы, как кажется, сделать структуру словарной статьи более ясной для читателя, содействуя, одновременно, преодолению ряда непоследовательностей в решении вопроса об объеме и форме сообщаемых сведений.

Морфолого-синтаксическая сочетаемость. В связи с лексикографическим описанием этого вида сочетаемости встают следующие вопросы (ответы на которые должны быть фиксированы типовой структурой словарной статьи): 1) какие из синтаксических конструкций, совместимых с данным словом, должны приводиться в словарной статье; 2) в каком порядке следует перечислять приводимые конструкции и в какой форме подавать сведения о них. Решение, принятое составителями по этим важнейшим вопросам, освещено в имеющихся вступительных статьях не полностью [2].

Важнейшие возможные расхождения в вопросе о том, какие синтаксические конструкции приводить при данном слове, таковы: а) учитывать ли только те конструкции, в которых данное слово является синтаксически главным или и те, где оно зависимое; б) учитывать ли только те конструкции, которые демонстрируют так называемое сильное управление заглавного слова или учитывать и слабое управление также. Что касается формы, в которой сообщаются соответствующие сведения, существенным является выбор между способом дифференцированного или комплексного оформления фактов, относящихся к морфолого-синтаксической, семантической или лексической сочетаемости. Вопрос об объеме, в пределах которого демонстрируется морфолого-синтаксическая сочетаемость данного слова, должен был бы быть подчинен задаче однозначного определения «словарного адреса» данного сочетания. В рецензируемом словаре он, однако, оказался подчиненным принятому способу оформления описываемой сочетаемости. Этим, по-видимому, и объясняется большинство наблюдаемых непоследовательностей. Рассмотрим это положение подробнее.

Определение «словарного адреса» данного сочетания связано с проблемой определения направления сочетаемостных ограничений: например, двучленное сочетание нецелесообразно приводить в сло-

[2] В § 46 сказано, что при данном слове указываются «все имеющиеся при нем синтаксические позиции» (за исключением четырех, специально оговоренных), однако остается неясным, в каких случаях две синтаксические позиции считаются тождественными, а в каких — разными. Ничего не сказано о позициях, занимаемых самим заглавным словом. Ответ на интересующий нас вопрос мы получаем лишь косвенно из §§ 47—49, где указывается порядок перечисления приводимых сочетаний, по частям речи и синтаксическим функциям, входящих в них слов.

варе дважды, оно, по-видимому, должно быть учтено один раз, при том слове, которое определяет сочетаемостные ограничения. Однако направление сочетаемостных ограничений может быть противоположным в одном и том же сочетании; так, например, в *вести занятие* с морфолого-синтаксической точки зрения главным является *вести* (не всякий глагол требует винительного падежа объекта, но всякое существительное может выступать в функции прямого объекта), тогда как с лексической точки зрения главное — *занятие* (*занятие — вести, а лекцию — читать*). При недифференцированном способе оформления разных видов сочетаемости вопрос об «адресе» сочетания не может быть решен вполне последовательно (указанные сочетания, так же, как и многие другие, приведены в словаре дважды). В данной словарной статье составители приводят как те сочетания, в которых описываемое слово является синтаксически главным, так и те, где оно синтаксически зависимое. С морфолого-синтаксической точки зрения, такие сочетания, как *без жены жить, остаться, прийти, поехать* куда-л. в статье *жена*, очевидно, избыточны: они не определяют ни свойств существительного, ни свойств глагола, поскольку реализуют стандартные свойства предлога *без*. Принятое составителями решение давать все синтаксические виды сочетаний поневоле приводит к непоследовательностям и дублированию. Так, например, сочетания *без* + род. не представлены в таких статьях, как *рука, рукав, подруга, слеза* и мн. др., будучи представлено в таких, как *жена, дед* и др.; сочетание *благодаря* + дат., быть может, излишнее в таких статьях, как *жена, отец, дед*, не приведено в статье *сын*. С морфолого-синтаксической точки зрения такие сочетания, как *опоздать на занятие, присутствовать на занятиях, освободить от занятий, уйти с занятий*, характеризуют управление глаголов, в словаре они приводятся в статье *занятие*, причем дважды.

Выбор объема приводимых синтаксических конструкций с данным словом в функции синтаксически зависимого или главного, с подчиненными ему слабыми зависимыми, производит впечатление случайного или, в лучшем случае, подчиненного задачам демонстрации семантической, лексической или может быть даже прагматической сочетаемости. Так, по-видимому, сочетание *девушка с веснушками* показалось составителям существенным для слова *девушка*, а сочетание типа *дед с бородой* — не существенным для слова *дед*. Впрочем, непоследовательность в этом вопросе часто не может быть объяснена ссылкой на принятый составителями метод комплексной демонстрации разнородных видов сочетаемости. Казалось бы, слова *дед* и *отец* должны обладать если не тождественной, то весьма сходной сочетаемостью, однако в рецензируемом словаре сочетаемость этих двух слов неправомерно дифференцирована. Ср. *отец — какого-л. человека, девочки, ребенка, жены, друга, Анны...*, а *дед* — только *Феди, Ани*. В статье *отец* сочетаний, не представленных в статье *дед*, но не являющихся в действительности специфическими, более пятидесяти; аналогичных сочетаний в статье *дед* — более двадцати пяти.

Малоудачным представляется неразличение фактов сильного и слабого управления; так, в статьях *человек, дело, аппарат*, с одной стороны, и *капитан, изобретение, анализ*, с другой стороны, находим возглавляемые однотипными формулами (полужирный шрифт) такие сочетания, как: *человек чего: какого-л. роста, необыкновенной красоты, большого мужества*; *дело чего: государственной важности, дело* [*всей*] *жизни кого-л.*; *аппарат чего: какой-л. модели, какой-л. марки* и *капитан чего: корабля, теплохода, «России»*; *изобретение чего: какого-л. двигателя, бумаги, радио*; *анализ чего: экономики, поэмы* (в первом значении); *крови, мочи* (во втором значении). Даже и непрофессиональный взгляд сразу оценит эти типы сочетаний как совершенно разнородные; не говоря уже о том, что при слове *капитан*, например, допустимы те же виды сочетаний, что и при слове *человек* (°*капитан высокого роста*); следовало бы, по-видимому, показать, что смысловая связь, которая имеет место в сочетании *анализ экономики*, также может быть оформлена другим синтаксическим средством — *экономический анализ*, а аналогичное преобразование для *анализ* [2] — невозможно.

Сочетания с слабоуправляемым существительным в род. падеже приводятся далеко не при всех заглавных словах (так, например, соответствующий ряд представлен в статье *пирожок*: *пирожок чего: домашнего изготовления*, но отсутствует в предшествующей статье *пирожное*; подобные ряды отсутствуют в статьях *автобус, лодка, молоко, милиция* и мн. др.); в ряде статей не отмечено и сильное управление род. падежом [таковы, например, *лестница* (°*нашего дома*), *академия* (°*общественных наук*, °*художеств*)].

Как известно, значения одного и того же слова, различаясь семантической или лексической сочетаемостью, могут совпадать в аспекте морфолого-синтаксическом. Так, например, глагол *укреплять*, в котором составители выделяют четыре значения, имеет тождественные морфолого-синтаксические характеристики во всех своих значениях. В таких случаях вместо многократного повторения сходных или тождественных сведений и примеров, морфолого-синтаксическая характеристика могла бы быть вынесена вперед к заглавному слову, как это принято в

толковых словарях по отношению ко всякой информации, общей для всех выделяемых значений.

Семантическая сочетаемость. Проблема лексикографического описания морфолого-синтаксической сочетаемости сводится в конечном счете к выбору оптимальной формы подачи информации о всех видах синтаксических конструкций, в которых может выступать данное слово. Сложнее с проблемой описания семантической сочетаемости. Число морфолого-синтаксических способов оформления той или иной позиции конечно, и конечно число самих этих позиций, а число слов, способных заполнить данную синтаксическую позицию, принципиально не ограничено. Здесь возможны два пути: первый состоит в указании достаточного числа примеров, позволяющих читателю оценить возможности данного типа сочетания и строить новые сочетания «по аналогии» с большей или меньшей вероятностью построения семантически правильных сочетаний; второй — в указании семантических классов слов, допустимых в качестве членов данного сочетания при данном заглавном слове.

Авторы пошли по первому пути, обладающему преимуществом наглядности и общедоступности, однако форма, в которой представляется семантическая сочетаемость в настоящем словаре, к сожалению, производит впечатление малоупорядоченной. Не обоснован порядок сочетаний в данном ряду. По-видимому, как заключаем косвенно из § 48 (о порядке следования существительных при заглавном прилагательном), порядок «тематический». Однако чем определяется порядок тем, как определить, в какую тематическую группу входит то или иное сочетание? Поиск искомого сочетания требует полного прочтения всего сочетательного ряда, а такой ряд, например, в статье *человек* насчитывает более 350 сочетаний — и все через запятую, в порядке, не известном читателю. Только после сплошного прочтения всего этого ряда можно узнать, что сочетание °*интеллигентный человек* отсутствует (хотя сочетания с этим прилагательным приведены в статьях *мужчина*, *женщина*, *девушка*). Принцип, по которому одни сочетания приводятся, а другие нет, неясен. В том же ряду обнаруживаем пять однотипных сочетаний *голубоглазый*, *синеглазый*, *кареглазый*, *черноглазый человек*, но при наличии *широколобый* — °*узколобый* отсутствует; отсутствует *дальнозоркий*, а *близорукий* зато представлено дважды (в соответствии с двумя значениями сочетания *близорукий человек*; также дважды приводится *сильный*, *слабый человек*; а вот почему дважды в этом ряду фигурирует прилагательное *безжалостный* — неясно.

Часто приводятся избыточные сочетания. Так, в статье *брать* находим ряд: *взять у брата*, *у отца*, *у него*, *у меня*, *у Ани*, *у Мухина*... Однако из допустимости заполнения позиции объекта формой слова *брат*, следует, по-видимому, и допустимость заполнения этой позиции формами таких слов, как *отец*, *Аня*, *Мухин*, и формами личных местоимений. Такого рода перегрузки встречаем чуть ли не в каждой статье.

Статьи названий месяцев включают такие ряды, как: *август какого-л.* (*этого*, *текущего*, *нынешнего*, *прошлого*, *будущего*, *следующего*, *1976*, *1999*...) *года* (по-видимому, достаточно того, что эти сочетания приведены в статье *год*); также *начало*, *середина*, *конец*, *часть*, *первые* (*десятые*, *двадцатые*, *последние*) *числа*, *первая* (*вторая*, *третья*, *последняя*, *предыдущая*, *следующая*, ...) *декада*, *первая* (*вторая*) *половина*, *первое*, *второе*, *двадцать шестое*... *августа* (по-видимому, достаточно того, что почти те же сочетания приведены в статье *месяц*). Указанные сочетания приводятся в словаре при каждом названии месяцев (они продублированы 12 раз!). Такая избыточность особенно поражает на стр. 216, где помещаются непосредственно друг за другом статьи *июль* и *июнь*. Здесь уместно отметить, что последовательная унификация разработки слов с тождественными или сходными семантическим и сочетаемостными свойствами открывает возможность использования отсылочного способа оформления. Так, вместо 12 словарных статей, почти абсолютно совпадающих по содержанию, можно было бы дать одну (например, *январь*), и в ней полностью привести соответствующую информацию, а во всех остальных 11 статьях после словоизменительных сведений и толкования дать отсылку к статье *январь* и привести только те сочетания, которые специфичны для данного слова, если такие есть.

Лексическая сочетаемость. Под описанием лексической сочетаемости понимают обычно описание лексических ограничений, не следующих из ограничений семантических. Последовательное описание лексической сочетаемости в этом смысле не входило, по-видимому, в задачи рецензируемого словаря. Поэтому, не останавливаясь подробнее на разборе того, как в словаре демонстрируется лексическая сочетаемость, отметим лишь две легко устранимых погрешности. Во вступительной статье авторы указывают, что они сознательно не приводят сочетаний с числительными. Такое решение представляется неоправданным. Хорошо известно, что в русском языке многие существительные, подлежащие счету в экстралингвистическом плане, не сочетаются с числительными непосредственно: так, вместо **два багажа* надо °*два места багажа*, вместо **пять луков* — °*пять луковиц* или °*пять головок лука* и т. п. Полное отсутствие предупреждений о несовместимости этих

и многих подобных существительных с числительными может создать у читателя-иностранца просто неверное представление о повсеместной допустимости таких сочетаний.

К проблеме лексической сочетаемости примыкает и вопрос о связных сочетаниях и идиоматике. Решение авторов не перегружать учебный словарь идиомами и фразеологизмами представляется совершенно правильным. Однако, учитывая практическую направленность словаря на учащихся-иностранцев, следовало бы, как кажется, не включать в иллюстративную часть идиоматических выражений, не содержащихся в самом словаре. В статье *называть* находим пример составителей *Я своими ушами слышал, что председатель назвал твою фамилию*, однако выражение *слышать своими ушами* в словаре нигде не интерпретируется.

Среди грамматических помет следует различать собственно словоизменительные и ограничительные. Употребление этих последних в рецензируемом словаре недостаточно упорядочено, тогда как последовательность в этом вопросе особенно актуальна для словаря сочетаемости, так как эти ограничения (по числу — для существительных и по виду — для глаголов) описывают по существу как раз сочетаемостные свойства соответствующих классов слов. Так, например, при том, что невозможность употребления мн. числа отмечается иногда даже при отдельных значениях многозначных слов (см. *власть, вкус, возможность*), такие классические singularia tantum, как *молоко, молодость*, и такие слова, как *багаж, борьба, благосостояние, образование* и многие другие подобные, идут без каких бы то ни было специальных помет о числе. Дифференцированные по значениям пометы о числе следовало бы дать и при таких, например, словах, как *анализ, переход, строение* и т. п. (ср.: °*качественный анализ* — °*анализы больного*, °*переход от главного к частному* — °*подземные переходы* и т. п.).

В лингвистической литературе неоднократно отмечалось, что разные значения одного и того же слова, отличающиеся друг от друга, такие, как «свойство» и «носитель свойства», «действие» и «объект действия», «процесс» и «результат процесса» и некоторые другие, систематически различаются в русском языке своим числовым поведением. Ср.: *неловкость ситуации — допустить ряд неловкостей, злоупотребление властью — устранять злоупотребления, издание словаря — дорогие издания, перечисление средств — безналичные перечисления* и т. п. В статье *начинать* не отмечен такой широко известный факт, как недопустимость инфинитива совершенного вида в качестве дополнения при этом глаголе.

Решение использовать в традиционной части словарной статьи (толкование и грамматические пометы) материал таких авторитетных лексикографических пособий, как четыре основных толковых словаря, представляется вполне оправданным. Однако авторы не снимают с себя ответственности за выбор толкований: «При определении значений слова широко используются наиболее удачные, с точки зрения авторов, толкования, зафиксированные в существующих толковых словарях русского языка, или их комбинации» (§ 26, стр. 7). В некоторых случаях, как кажется, толкования выбраны не вполне удачно. Так, слово *девушка* имеет в рецензируемом словаре толкование «лицо женского пола, достигшее физической зрелости, но не состоящее в браке». Под это определение подходит и вдова, и женщина, состоящая в разводе со своим мужем, и т. п. Формулировка Д. Н. Ушакова (и всех других словарей) «еще не состоявшая в браке» точнее определяет значение этого слова.

В процессе изучения сочетаемости слов современного русского языка накопилось уже большое количество наблюдений и материалов; успешно разрабатывается и методика лексикографического описания сочетаемости. Таким образом, обеспечены необходимые предпосылки для разного рода экспериментальных лексикографических изданий, отвечающих современному уровню развития лингвистической семантики. Рецензируемый словарь полезен не только первичной разработкой весьма обширного материала, но и как стимул для дальнейших опытов в этом направлении. Работа с этим словарем позволит лучше понять, какие специализированные словари русского языка необходимы как практикам, так и ученым, поскольку острая необходимость в лексикографических пособиях специализированных типов давно осознается и лингвистами, и преподавателями русского языка нерусским.

Вентцель Т. В., Поливанова А. К.

«Словарь русских говоров Новосибирской области». Под ред. А. И. Федорова. — Новосибирск, СО изд-ва «Наука», 1979. 606 стр.

Диалектная лексикография является той областью русистики, где за последние десятилетия достигнуты наиболее крупные успехи. Уже вышли из печати десятки диалектных словарей отдельных областей и географических районов. Сюда относятся «Краткий ярославский областной словарь» Г. Г. Мельниченко (Ярославль, 1961), «Словарь русских говоров Среднего Урала» (т. 1—2, Свердловск, 1964—1971), «Материалы для словаря русских старожильческих говоров Прибалтики» (Рига, 1963), «Словарь русских старожильческих говоров средней части р. Оби» (т. 1—3 и 1—2. Дополнения к нему, Томск, 1964—1975), «Псковский областной словарь с историческими данными» (вып. 1—4, Л., 1967—1979), «Словарь говоров Подмосковья» (М., 1969), «Словарь русских говоров южных районов Красноярского края» (Красноярск, 1968), «Словарь смоленских говоров» (вып. 1, Смоленск, 1974) и др. На протяжении полутора десятков лет издается «Словарь русских народных говоров» (вып. 1—16, М.— Л., 1965—1980), самый крупный сводный словарь диалектной лексики.

Главная задача диалектной лексикографии — наиболее полная регистрация всех диалектных слов с детальным описанием их семантики, с выявлением ареала каждого слова.

Изданием указанных словарей в научный оборот введено значительное количество диалектной лексики, до этого времени не известной специалистам.

Многие признают, что успехи современной областной лексикографии сыграли важнейшую, определяющую роль в становлении диалектной лексикологии как особой отрасли современной русистики (Ф. П. Филин, О. И. Блинова, Т. С. Коготкова, И. А. Оссовецкий и др.). Лексикографические работы явились не только базой, но и толчком к дальнейшему развитию диалектной лексикологии. Исследователи уже подчеркивали эту важную роль диалектных словарей русского языка. В. В. Колесов в рецензии на десять выпусков «Словаря русских народных говоров» (СРНГ) усматривает значение этого издания в том, что оно «...обеспечит русистику и славистику основательной базой, необходимой для широких лексикологических исследований, снимет тот налет тематической узости, неизбежного субъективизма в толкованиях, случайности в интерпретациях наличного материала, которые характерны для современных лексикологических работ» [1]. Однако было бы ошибкой сводить роль областных словарей, диалектной лексикографии в целом только к этому.

Значение диалектных словарей для русского и славянского языкознания огромно. Они дают богатейший и ценнейший материал для лексикологии, истории русской и диалектной лексики, славянской этимологии. Кроме того, издание диалектных словарей имеет значение не только для отдельных разделов науки о языке, но также для истории русского народа, этнографии и археологии.

Латышский языковед К. А. Карулис, также отзываясь на выход первых десяти выпусков СРНГ, так оценивает значение этого словаря: «...зафиксированная во многих словарях современная литературная, диалектная и историческая лексика русского языка раскрывает не только охваченную языком жизнь и мышление русского народа, но дает также новый взгляд на взаимные языковые отношения и часто обращает внимание на важные явления в истории языков этих других народов — раскрывает причины и закономерности языковых фактов» [2].

Диалектные словари дают возможность ставить и разрешать многие теоретические вопросы языкознания. Важный в теоретическом плане вопрос о различиях между словарным составом народных говоров и лексикой литературного языка, обсуждаемый всегда остро и без недостатка полемического задора, лишь в последнее время, именно в связи с лексикографическими работами, получает наиболее глубокое теоретическое обоснование. Обсуждение вопроса о взаимодействии лексики литературного языка и диалектов в решающей степени зависит от того, насколько широким по охвату является привлекаемый в сферу исследования материал. В этом отношении материалы, предлагаемые диалектными словарями, оказывают неоценимую помощь.

Богатство словообразовательной омонимии и вариантности в говорах было в полной мере открыто и во многом истолковано в результате лексикографической обработки словарного состава говоров. Само своеобразие словообразовательной системы, набор словообразовательных средств, совокупность словообразовательных типов и моделей, способов словообразования были выявлены и исследованы в результате фиксации и лексикографической обработки лексического состава говоров в областных словарях.

---

[1] В. В. Колесов, рец. на: «Словарь русских народных говоров», вып. 1—10, ВЯ, 1975, 5, стр. 148.

[2] К. А. Карулис. О «Словаре русских народных говоров» (вып. 1—10), в сб. «Диалектная лексика. 1974», Л., 1976, стр. 213.

С этих позиций следует оценивать появление новых диалектных лексикографических трудов, таких, как рецензируемый «Словарь русских народных говоров Новосибирской области». Словарь входит как важное звено в комплекс создаваемых диалектных словарей русского языка, в частности, диалектных словарей русского старожильческого населения Сибири. Он представляет собой богатое собрание русской диалектной лексики. В Словаре нашла отражение самая разнообразная лексика: бытовые слова, наименования ремесел, сельскохозяйственная терминология, лексика, относящаяся к природе, названия обычаев, нравов, эмоциональная, экспрессивная лексика и т. п. В основу отбора материала для Словаря положен дифференциальный принцип, получивший широкое распространение в русской диалектной лексикографии.

Научное значение диалектного словаря определяется не только богатством заключенной в нем лексики, но также наличием лексики, которая вводится в научный оборот впервые. В рецензируемый Словарь вошло немалое количество диалектных слов, отсутствующих в сводном СРНГ. Простое сравнение небольшой части Словаря на букву «К» с соответствующим выпуском СРНГ (15 вып., 1979) хорошо иллюстрирует это. Так, в Словаре находим следующие новосибирские слова, отсутствующие в СРНГ: *корча́* «выкорчеванное дерево или пень», *корча́га* и *корча́жка* «яма для гонки дёгтя», *кор́ястный* в значении «маленький, немногочисленный; худой, тщедушный», *корь* «упрек, укор», *косату́ха* и *коса́тый* «разновидность утки», *коса́чий* «тетерев», *косматю́щий* «косматый», *косови́ца* «ряд скошенной травы», *косого́н* «деталь косылитовки», *косопря́дница* «сплетница», *косопя́ты* «следы медведя», *кости́линки* и *кострі́на* «льняная кострика», *костра́* «сумка, сплетенная из очищенных от волокон стеблей льна или конопли», *кос́ынчик* «божница» и т. д.

В некоторых случаях Словарь дополняет сведения о распространении слов СРНГ указанием на бытование их в Новосибирской области (см. слова *ко́ска* «коса для косьбы», *коса́тая* «разновидность утки», *космату́ха* «женщина с непричесанной головой», *ко́сево* и *коси́ловище* «рукоятка косы», *коря́жина* «корявое дерево», *косопря́дничать* «сплетничать» и т. д.

Диалектная лексика, содержащаяся в Словаре, отражает сложную историю заселения Новосибирской области, начиная с XVII в., выходцами из разных областей европейской России, процесс, продолжающийся еще и в XX в., отражает не менее сложное поэтому формирование новосибирских говоров, их генетическое многообразие.

Кроме лексики, по происхождению связанной с европейскими говорами, в Словаре содержатся слова, отмеченные только на Урале и в Сибири. Среди них: *баргузи́н* «северо-восточный ветер», *горбату́ха* и *горба́ч* «старинная женская одежда», *горбуне́ц* «мелкий рачок отряда бокоплавов», *горе́льник* «выгоревший лес», *горля́нка* «разновидность змеи», *горю́кать*, *грабёжный* «грабельный» и т. д., а также слова, известные только в новосибирских говорах. Это придает своеобразие, оригинальную самобытность лексическому составу новосибирских говоров.

Исключительно сложные условия, в которых формировались новосибирские говоры, их генетическая разнородность обусловила наличие большого количества слов, тождественных по значению, иногда действительно являющихся синонимами в говорах, а иногда представающими таковыми при лексикографическом описании на страницах Словаря. Ими являются наименования рукоятки, черена граблей (*грабели́на*, *грабе́льник*, *грабе́льно*, *граблёвище*, *гра́блище*, *грабловй́ще*, *грабо́вище*), *грабёльный* и *грабёжный* «грабельный», названия грибного супа (*грибо́вница*, *грибо́шница*, *гри́бница*, *грузде́ница*, *грузде́нка*), наименования гумна (*гуено́*, *доло́нь*, *ладо́нь*, *майда́н*), слова, обозначающие человека-гуляку (*гулева́н*, *гульта́й*, *гуля́вый*, *гуля́шник*), гусыню (*гуси́ха*, *гуси́ца*, *гу́ска*, *гу́ся*), старожила (*давнёшний*, *давни́шний*, *давно́шный*, *закад́ычный*, *земля́к*, *закоренённый*, *ра́нешный*), квашню (*де́жа* и *дежа*, *де́жка*, *дежня́*, *кваше́нник*, *лагу́н*, *хлёбница*), названия светильника, в котором горело масло или жир (*жирови́к*, *жирни́к*, *жиро́вушка*, *жару́шка*, *кагане́ц*, *копти́лка*, *мигу́нчик*, *са́льник* и др.) и т. д. Наличие у слова синонима, как правило, соответственно отмечается.

В Словаре представлено значительное количество разнообразных как по типологии, так и по содержанию фразеологических выражений и оборотов, как например, *дни заходят* «о наступлении старости», *зажи́ть доброту* «заслужить доброе отношение, уважение к кому-либо», *мо́рок натягает* (*натягивает*) «становится пасмурно, сумрачно», *натяну́ть хмару* «покрыться тучами», *нали́ть в оплыв* или *нали́ть пупком* «нали́ть с верхом», *неклёпанный язык* «о косноязычном человеке», *не пойти́ по подъему* «не удалось, плохо вышло», *ни у́йму*, *ни за́клику на кого-либо* «нет управы на кого-либо» и т. п. Особенно много таких выражений в словарных статьях на слова *год*, *гнать*, *дружка*, *дурнина*, *душа*, *ездить*, *есть*, *ехать*, *живой*, *жизнь*, *делать*, *держать*, *добро*, *довести*, *дойти*, *дом*, *заводить*, *зайти*, *заниматься* и т. д.

Лексическое наполнение Словаря, его содержательная сторона свидетельствуют о богатстве лексики и фразеологии новосибирских говоров, об обилии синонимов, о разнообразии способов и средств выражения, передающих эмоциональную и

экспрессивную сторону диалектной речи, наконец, о большом своеобразии лексики новосибирских говоров.

Лексический материал Словаря с достаточной полнотой описан и разработан в словарных статьях, содержащих, кроме толкований лексических значений слов, указаний на грамматические их свойства, также примеры употребления слов с указанием места записи. Специальными пометами отмечаются эмоциональность, экспрессивность, оценочный характер слов, а также их устарелость или, наоборот, новизна. Вообще лексикографическая разработка всего лексического материала безусловно заслуживает похвалы, она проведена на высоком профессиональном уровне. Определения значения слов в большинстве случаев отличаются точностью, лаконичностью и ясностью. Кроме того, большую ценность имеют диалектные примеры, которые не только подтверждают значения слов, но также раскрывают специфику их употребления, грамматические и синтаксические свойства.

В настоящее время под мощным воздействием литературного языка диалекты утрачивают свои особенности, в том числе и лексические. Диалектные слова выходят из повседневного употребления, сохраняясь в памяти старейших жителей, и могут навсегда исчезнуть. Между тем, за этими словами кроется очень интересный пласт жизни нашего народа. Записать и сохранить диалектные слова и своеобразные выражения, в которых отражается практический опыт, уклад народной жизни, обычаи, нравы, психология, характер русского человека — такова основная цель составителей диалектных словарей. Создание диалектных словарей поэтому — большое национальное дело, важная научная и общественная задача.

Кузнецова О. Д., Сороколетов Ф. П.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1980

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

21—23 января 1980 г. в Москве состоялась II Всесоюзная конференция по теоретическим вопросам языкознания, организованная Научным советом по теории советского языкознания при Отделении литературы и языка АН СССР. Конференция была посвящена проблемам диалектики развития языка.

Открывая конференцию, Г. В. Степанов (Москва) отметил, что ключевым вопросом современной лингвистики является теоретическое обоснование источников, механизмов и законов развития языка и прежде всего изучение развития языка как саморазвития, как спонтанного развертывания заложенных в языке противоречий. Г. В. Степанов остановился на характеристике асимметричности отношения между структурным и историческим подходами в лингвистике, что проявляется в подчиненности аспекта структурности аспекту развития и соответственно — в признании ведущего характера исторического подхода. Г. В. Степанов рассмотрел также вопрос о соотношении категорий развития и истории, различая два вида развития: развитие как индивидуальный процесс, осуществляемый отдельным языком в системе «конкретный язык — общество (отдельный социум)», и развитие как общий процесс, осуществляемый языком вообще в системе «язык — человечество». Включение конкретного языка в общую систему связи, по утверждению Г. В. Степанова, ломает узкие временные рамки индивидуального существования языка и выводит его на арену истории. Такая постановка проблемы позволяет вскрыть двоякий смысл развития языка: как отражения языком действительности и как отражения языка в действительности.

В докладе «Основные проблемы исторического анализа языка» [авторы В. Н. Ярцева, М. М. Гухман, Г. В. Колшанский, А. А. Уфимцева (Москва)], прочитанном В. Н. Ярцевой, подчеркивалось, что диалектико-материалистическая трактовка исторического развития языка неотделима от понимания человеческого языка как «диалектически организованного феномена». В докладе было показано, как в объективной диалектике языка находят свое отражение диалектические категории материального и идеального, содержания и формы, объективного и субъективного, общего и отдельного, абстрактного и конкретного, виртуального и актуального, сложно взаимодействующие друг с другом. Анализ объективной диалектики языка, по утверждению авторов, помогает вскрыть наиболее типичные тенденции его развития, наметить основные узлы внутренних противоречий языка, присущих ему как структурному образованию и социальному явлению, а также средства и способы разрешения этих противоречий. Особое внимание было уделено раскрытию тезиса о том, что движение во времени, т. е. изменение как форма бытия языка, есть неотъемлемая сущностная характеристика языка и что реализация этого свойства, содержание и направление изменений являются результатом действия внешних и внутренних стимулов, внешних и внутренних противоречий в процессах языковых изменений. В докладе анализировалось принципиальное различие между изменениями в системе форм существования языка и в языковой структуре (на материале словоизменительных систем индоевропейских языков).

Большая группа докладов и сообщений была посвящена проблемам философско-методологического обоснования и теоретического развертывания тезиса о языке как диалектически развивающейся системе. В центре внимания докладов этого цикла — специфика диалектических противоречий в языке, соотношение качественных и количественных изменений в языке, соотношение процессов развития и изменения в языке, проблема прогресса в развитии языка.

В докладе «Язык как развивающаяся реальная система» А. С. Мельничука (Киев) подчеркивалась недостаточность абстрактного понятия языковой системы для всестороннего раскрытия сущности языка и обосновывалась необходимость разработки конкретного научного представления о реальной природе языка как особого вида общественной деятельности. Докладчик остановился на раскрытии тезиса о развитии языка как результате борьбы внутренних противоречий в его реальном существовании в виде речевой деятельности общества, относя к числу главных противоречий,

вызывающих изменения в языке, противоречия между установившимися языковыми навыками и постоянно меняющимися (под влиянием внешних обстоятельств) потребностями выражения новых мыслей, а также противоречия между тенденцией к устойчивости и единообразию языковых навыков у всех членов языкового коллектива и неосознаваемыми отклонениями в речевой практике каждого члена коллектива от общепринятых образцов произношения и осмысления языковых форм.

В докладе Ф. П. Филина (Москва) «Противоречия и развитие языка» [1] обосновывалась идея о том, что в любом языке заложены потенциальные возможности развития и прогресса и что развитие языка осуществляется только благодаря наличию и преодолению имеющихся в языке противоречий, которыми он пронизан на всех своих уровнях.

В сообщении Т. С. Шарадзенидзе (Тбилиси) «Проблема прогресса в изменениях языка» обосновывалась мысль о том, что критерий прогресса языка следует искать в зависимостях языка от развития общественной жизни, мышления, науки и техники, всей культуры народа — носителя данного языка. Необходимым условием адекватного решения проблемы прогресса является разграничение процессов изменения и развития в языке (к числу последних могут быть отнесены: обогащение лексики, упорядочение грамматического строя, стабилизация системных отношений и устранение исключений).

В сообщении М. М. Гухман (Москва) подчеркивалась необходимость различения изменений, охватывающих любое движение, любой переход от одного состояния к другому, и развития языка и его подсистем от низшего состояния к высшему, от простого к сложному, в чем, собственно, и должен заключаться прогресс языка. М. М. Гухман остановилась на разграничении двух типов изменений: изменений, связанных с преобразованиями в функционировании языка, и изменений языковой структуры. В первом случае включение новых сфер общения, развитие культуры и науки, литературы и искусства стимулируют образование новых пластов лексики и словообразовательных моделей, переосмысление унаследованных грамматических категорий, уточнение синтаксических построений в результате более четкой членимости компонентов сложного синтаксического целого, развитие стилистической дифференциации. Во втором случае сосуществование в одной микросистеме разных исторических пластов создает «слабые» участки системы, где нарушается присущая языку устойчивость и возникают предпосылки будущих преобразований. М. М. Гухман остановилась также на проблемах неравномерности проявления процессов развития языка в разных компонентах его системы, на неодинаковости проявления относительной самостоятельности языка применительно к разным языковым уровням, а также на проблеме внутриструктурных противоречий.

А. Е. Супрун (Минск) в сообщении «К вопросу о темпе языковых изменений» отметил в числе актуальных задач языкового развития разработку метода определения скоростей изменения языка и их сравнения. Понимая под скоростью языковых изменений количество перемен в языке за единицу времени, А. Е. Супрун усматривает основную трудность в выработке понятия элементарного языкового изменения, а также в выборе и отграничении единицы времени. К числу актуальных задач лингвистики А. Е. Супрун относит получение эмпирических данных о темпах развития языковых явлений на разных этапах развития языка, определяя темп языковых изменений как соотношение скорости языковых изменений с общим объемом языкового континуума.

Несколько докладов и сообщений было посвящено проблеме определения специфики форм развития и взаимодействия разных уровней языка, а также проблеме динамического моделирования языка.

В докладе В. В. Мартынова (Минск) был поставлен вопрос о необходимости построения универсальной модели представления языка как развивающейся двухуровневой системы. Такая модель должна включать порождающую фонологию и порождающую семиологию, отражающие процесс исторического развития языка. Поскольку внутренняя структура единиц системы проявляется только в развитии системы, воссоздать статическую систему языка, последовательно отвечающую его онтологии, невозможно. Само описание системы должно отражать динамику ее развития.

Вяч. В. Иванов (Москва) в докладе «О соотношении развития морфологического и синтаксического уровней языка» рассмотрел ряд явлений, представляющих интерес для пересмотра упрощенных схем движения языков «от синтеза к анализу» (О. Есперсен) и более усложненных моделей однонаправленной смены нескольких языковых типов (Н. Ф. Яковлев). К числу явлений этого рода автором были отнесены случаи превращения древних синтаксических сочетаний слов в морфологически единые цельнооформленные слова (ср. развитие рефлексивных глаголов в славянских и балтийских языках из более древних сочетаний с возвратным местоимением). По-

[1] Полный текст доклада опубликован в «Вопросах языкознания», 1980, 2.

скольку в правилах, определяющих возможности сочетаний морфем в пределах слова, в этих случаях могут быть обнаружены в преобразованном виде более древние законы синтаксического уровня, то эти последние представляется возможным реконструировать на основании позднейших морфологических соотношений, что дает прочную основу для сравнительно-исторического синтаксиса.

В сообщении С. Г. Бережана (Кишинев) «Количественные изменения в лексических микросистемах и качественное развитие лексики языка» отмечалось, что модификации в лексике конкретного языка могут быть выявлены и объяснены при условии, если лингвистическому анализу будут подвергнуты целые лексико-семантические группы слов. В сообщении обосновывалась также идея о взаимосвязи системно-структурного и историко-генетического подходов к исследованию языка.

А. В. Бондарко (Ленинград) отметил в своем сообщении необходимость диахронического исследования взаимодействия единиц и категорий не только в рамках одного и того же уровня языка, но и в пределах разных уровней языка, поскольку система языка развивается в специфических формах, характерных не только для отдельных уровней языка, но и в формах межуровнего взаимодействия. Одной из форм межуровнего взаимодействия являются исторические изменения в тенденциях и результатах взаимодействия грамматических, лексических лексико-грамматических единиц, категорий и группировок в составе функционально-семантических полей. Так, исследование происхождения и развития категорий вида в славянских языках включает анализ изменений грамматических, лексических и лексико-семантических элементов поля аспектуальности.

В сообщении К. В. Ломтатидзе (Тбилиси) «К вопросу о неравномерном характере фонетических изменений» на материале абхазско-адыгских и картвельских языков развивалась идея о сложности выявления системного характера фонетического процесса вследствие того, что общие тенденции изменений в фонетике предстают лишь как возможность, реализация которой часто зависит от факторов морфологического, семантического, психологического характера.

Рассмотрению вопроса о соотношении фонетических, лексических и морфологических изменений на материале чадских и афразийских языков было посвящено сообщение В. Я. Порхомовского (Москва). В выступлении В. П. Конецкой (Москва) рассматривались вопросы развития лексико-семантических подсистем языка на примере подсистем синонимов и терминов.

Существенное внимание на конференции было уделено также актуальным проблемам сравнительно-исторического языкознания и диахронической типологии.

В докладе А. С. Чикобава (Тбилиси) (доклад был прочитан Т. С. Шарадзенидзе) «К вопросу об истории языка и сравнительной грамматике» отмечалось, что лингвистика как объяснительная дисциплина невозможна без постулирования принципа историзма, с использованием которого связаны наиболее ценные достижения в изучении человеческой речи. Особое внимание было обращено на необходимость усовершенствования методики лингвистического анализа применительно к процессам конвергенции.

Т. В. Гамкрелидзе (Тбилиси) в своем докладе остановился на методологических вопросах реальности реконструкций и типологической верификации реконструируемых лингвистических моделей. По убеждению докладчика, исходная языковая система, постулируемая в классическом индоевропейском языкознании, не соответствует синхронной типологии языков и, более того, противоречит универсальным языковым закономерностям, устанавливаемым в лингвистике универсалий; поэтому она не может считаться лингвистически реальной. Соответственно не могут считаться реальными и те фонетические изменения и преобразования, которые допускались в классической индоевропейской сравнительной грамматике при объяснении и описании трансформаций исходной системы в исторически засвидетельствованные индоевропейские языки. Т. В. Гамкрелидзе предлагает новую интерпретацию индоевропейского консонантизма, что позволяет, по его мнению, переосмыслить основные законы классической компаративистики, приобретающие при новой фонологической интерпретации индоевропейской системы смычных иное содержание.

Л. Г. Герценберг (Ленинград) остановился на проблеме реальности реконструкций в сравнительно-исторических исследованиях и на вопросе об историческом эксперименте в лингвистике.

О. С. Широков (Москва) предложил использовать в качестве критериев (принципов) при построении генеалогической классификации родственных языков процессы изменения и развития на каждом из уровней фонетического яруса языка — мерисматическом, фонематическом, просодическом.

Сообщение Ю. Н. Караулова и В. П. Нерознака (Москва) было посвящено типологической и структурно-процессуальной характеристике языковых общностей.

Существенное внимание на конференции было уделено проблеме причин-

ности языковых изменений, в частности, вопросу о соотношении внешних и внутренних стимулов в развитии языка. Н. З. Гаджиева (Москва) в сообщении «Внешние и внутренние причины языковых изменений» обращает внимание на многоаспектность проблемы эволюции языковой системы и на необходимость выработки методологии конкретных причин языковых изменений. Исходя из положения о двусторонней зависимости эволюции языка от внешних и внутренних факторов, Н. З. Гаджиева на материале тюркских языков показывает, как внешние и внутренние факторы языковых изменений, сложно переплетаясь и взаимоперекрещиваясь, совокупно влияют на общий процесс, направленный к совершенствованию языка. Этот процесс языкового развития, изучение которого требует четкой методологии, заслуживает выделения, по мысли Н. З. Гаджиевой, в качестве специальной лингвистической дисциплины — теории эволюционного развития языка.

В докладе А. В. Десницкой (Ленинград) «Языковой союз как категория исторического языкознания» был поднят вопрос о необходимости выделения нового раздела языкознания — типологии языковых союзов. Создание такой лингвистической дисциплины может иметь, по мнению докладчика, большое значение не только с точки зрения изучения лингвистических ситуаций современного мира, но и для сравнительно-исторического языкознания. Особое внимание в докладе было уделено спорным и сложным проблемам балканского языкового союза. Отмечая возможность постановки проблемы балканского языкового союза с позиций лингвистической типологии, А. В. Десницкая считает теоретически более важным исследование балканского языкового единства как проблемы прежде всего исторической с учетом внутренних и внешних факторов развития данного ареала.

В докладе «Неравномерность развития звеньев языковой и мифологической системы в этнолингвистическом аспекте» Н. И. Толстого (Москва) развивался тезис о том, что язык как составная часть и орудие культуры может быть описан через признаки, общие для всех явлений культуры. Эта идея лежит в основании нового направления в языкознании — этнолингвистики, ориентирующейся на рассмотрение взаимосвязи языка, духовной культуры и народного творчества. Была показана изоморфность пучков изоглосс с пучками изопрагм (линий, выделяющих ареалы одинаковых явлений материальной культуры) и пучками изодокс (линий, выделяющих ареалы одинаковых явлений духовной культуры). В докладе на материале славянских языков и мифологических систем была раскрыта роль этнолингвистики в исследовании архаической лексики и в лексической реконструкции, а также обоснована необходимость придания этнолингвистике исторической направленности.

А. М. Кузнецов (Москва) остановился на соотнесенности развития лексико-семантической системы и динамики развития объективных знаний об окружающей действительности.

Сообщение Н. С. Гринбаума (Ленинград) было посвящено проблеме соотношения внешних и внутренних факторов развития древнегреческого литературного языка, а сообщение Н. Н. Казанского (Ленинград) — выявлению внутренних и внешних стимулов в развитии фонетической системы языка на материале памфилийского диалекта древнегреческого языка.

Соотношению внешних и внутренних факторов семантических изменений посвятил свое выступление В. В. Левицкий (Черновцы), который разграничил первичные, внелингвистические причины, обусловленные потребностями говорящих выражать свои мысли и чувства, и вторичные, внутрилингвистические причины синтагматического и парадигматического характера.

Говоря о нестабильности равновесия между внешними и внутренними стимулами в развитии языка, С. В. Семчинский (Киев) утверждал, что определяющим фактором развития является воздействие причин, находящихся за пределами самого языка.

М. К. Сабанеева (Ленинград) остановилась на значении изучения речемыслительных процессов говорящего и слушающего для теории диахронических процессов, показав роль участников коммуникации в динамике языкового развития на материале истории латинского и французского языков.

Из объявленных в тезисах конференции докладов и сообщений ввиду отсутствия авторов не были прочитаны: доклад В. Г. Гака, посвященный эволюции способов номинации и соотношению внешних и внутренних стимулов в развитии языка, сообщения В. К. Журавлева о диалектике внешнего и внутреннего в языке, Н. А. Слюсаревой о роли синхронных характеристик языка при изучении его развития.

В прениях преимущественно дискутировались проблемы, связанные с разграничением процессов изменения и развития в языке, а также вопрос о специфике диалектических противоречий в языке.

В выступлении М. В. Раевского (Москва) обосновывалась необходимость четкого разграничения двух видов исторического изменения языка:

изменения в строгом смысле слова (свертывание или развертывание до определенной степени набора грамматических категорий и фонем) и развития (развитие функций языка).

Г. Фойдель (Центральный Институт языкознания АН ГДР, Берлин), отмечая различие между закрытыми и открытыми частями системы, показал, как развитие разных частей системы ведет к возникновению противоборствующих тенденций.

Б. А. Абрамов (Москва) отмечал, что понятие прогресса (формы развития, при которой в ходе смены старого новым происходит восхождение от низшего к высшему) применимо к языку, видимо, лишь с оговорками.

М. В. Мачавариани (Тбилиси) обосновывала тезис о связи проблемы развития языка с трактовкой сущности языка.

А. Я. Шайкевич (Москва) обратил внимание на то, что не всякая дихотомия может быть возведена в ранг противоречия, служащего источником развития. Для этого необходима как масштабность самих противоречий, так и корреляция их с развитием языка.

В выступлении В. И. Кодухова (Ленинград) были проанализированы двухступенчатые и трехступенчатые диалектические теории динамики, развития и истории языка. Р. Эккерт (Центральный Институт языкознания АН ГДР, Берлин) продемонстрировал идеи о противоречивых тенденциях развития языка на примерах взаимодействия древнерусского народного языка и старославянского языка. Л. Дэжё (ВНР, Дебреценский университет) отметил важность процессов перекодирования для типологических исследований. В выступлении Л. И. Баранниковой (Саратов) рассматривались вопросы развития диалектных систем в ретроспективном и перспективном планах.

В обсуждении докладов приняли участие также Н. Ф. Алиева (Москва), Э. М. Ахунзянов (Казань), К. Е. Гаткаев (Одесса), Т. И. Дешериева (Москва), А. П. Евгеньева (Ленинград), С. Б. Кишинский (Чита), В. М. Лейчик, В. И. Постовалова (Москва), М. В. Федорова (Гомель).

Закрывая конференцию, председатель Совета «Теория советского языкознания» В. Н. Ярцева отметила, что историзм всегда являлся одной из характерных черт советского языкознания. Доклады и сообщения, вынесенные для обсуждения на II Всесоюзную конференцию, подводя итоги определенному этапу исторических изысканий, явятся основой дальнейшего углубленного исследования диалектики развития языка.

Постовалова В. И. (Москва)

10 января 1980 г. в Институте русского языка АН СССР состоялись XI ежегодные чтения, посвященные памяти академика Виктора Владимировича Виноградова. Обсуждались проблемы лингвистики текста.

Открывая чтения, чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филин подчеркнул, что традиционные Виноградовские чтения — дань уважения советских языковедов памяти замечательного ученого. Постоянные ссылки на труды В. В. Виноградова свидетельствуют о том, что его мысли, наблюдения живут и продолжают вдохновлять ученых сегодня.

В докладе И. И. Ковтуновой (Москва) «Вопросы структуры текста в трудах акад. В. В. Виноградова» были изложены идеи В. В. Виноградова, существенные для общей теории текста и касающиеся принципов анализа художественных текстов. Докладчик указала на большое значение концепции образа автора у В. В. Виноградова для решения проблемы внутреннего единства, глобальной связности и цельности текста для характеристики литературных направлений; для ответа на вопрос о соотношении лингвистического и литературоведческого подходов к литературному произведению. И. И. Ковтунова подчеркнула плодотворность идеи В. В. Виноградова о необходимости двух подходов к анализу языка литературного произведения — «социально-лингвистического» и «литературно-стилистического», учета при втором подходе «композиционных форм речи», наблюдающихся в организации литературных произведений, и их исторической типологии; отметила актуальность идеи В. В. Виноградова о двух путях развития лингвистики речи: во-первых, лингвистика речи определяет свои цели и методы «соотносительно с понятием языка как социальной системы средств коммуникации»; сюда входит и изучение индивидуальных отклонений от языковой системы; во-вторых, лингвистика речи «стремится раскрыть структурные формы словесного творчества личности в имманентном плане». В докладе также рассматривался метод имманентного анализа произведения как «индивидуально-неповторимой словесной структуры», вопросы изучения в трудах В. В. Виноградова всех уровней и типов связи в структуре художественного произведения.

В. В. Одинцов (Москва) в докладе «Формы субъективации в реалистической прозе» развил идею В. В. Виноградова о связи процессов формирования литературного языка и языка художественной литературы, о «воспроизведении социальных характеров с помощью их собственных „голосов“ как в формах диалога, так и в формах „чужой“ или непрямой речи в структуре повест-

вования». В сфере форм выражения «чужого сознания», выявленных в значительной степени В. В. Виноградовым, докладчик выделил речевые и конструктивные формы субъективации и остановился на анализе последних. В. В. Одинцов отметил, что развитие таких форм субъективации, как форма представления, вызвало решительную перестройку художественного текста, изменение его структуры. В формах представления все повествование определяется движением от неизвестного к известному. Здесь обычно использование неопределенных местоимений, наречий, лексических единиц с неопределенным объемом понятий, субъективных, описательных, непрямых обозначений, вводных слов, выражающих сомнение, неуверенность. К экспрессивным формам субъективации выступавший отнес способы лексико-семантической и грамматической изобразительности, в том числе субъективно-экспрессивные формы синтаксиса, а к монтажным — прием создания у читателя эмоционального эффекта восприятия отдельных изображений эпизода как цельного образа.

Б. Н. Головин (Горький) в своем докладе «Лингвистика текста или лингвистика речи» остановился на разъяснении тезиса В. В. Виноградова о двух сторонах сложного двуединства произведения (текста) — идейно-смысловой и языковой. Докладчик подчеркнул, что В. В. Виноградов предупреждал о возможности смешения содержания и языкового выражения. Б. Н. Головин считает неуместным вводить термин «лингвистика речи», поскольку именно речь, ее языковая организация, ее зависимость от выражаемых смыслов и ее влияние на эти смыслы остается одним из главных предметов лингвистического изучения. Смысловое содержание текста (произведения или отдельного высказывания) всегда актуально как отражение в сознании личности определенного факта действительности. Тексту не может быть приписан статус единицы языка или уровня языковой системы, так как при таком подходе утрачивается представление о границах языка как особой системы общения, стирается различие между языком и сознанием, их фактическое единство превращается в их отождествление. Внимание лингвистов к коммуникативному процессу во всех его сложностях, к нерасчлененно воспринимаемому единству языка, речи и речевой деятельности не должно исключать главный объект исследования — язык в его традиционном понимании; при этом предполагается обращение к бо́льшим, чем предложение, отрезкам речи, к синтактике предложений, к приемам и способам их организации.

В докладе А. В. Бондарко (Ленинград) «Грамматические категории слова в тексте и в системе языка» подчеркивалась необходимость разграничения и соотнесения следующих уровней (или аспектов) существования (и, соответственно, описания) грамматических категорий слова: 1) уровня грамматической системы языка (абстрактно-грамматической системы, рассматриваемой в отвлечении от лексики); 2) уровня лексической реализации элементов грамматической системы (рассматриваемых в их отношении к лексемам и классам лексем); 3) уровня функционирования словоформ в тексте. На примере анализа процессных и обобщенно-фактических ситуаций были охарактеризованы задачи исследования типов актуальных (а также модальных, темпоральных и т. п.) ситуаций в их отношении к грамматическим категориям в системе языка, а также задачи исследования функционального взаимодействия грамматических категорий слова в тексте и в языковой системе. Были определены основные задачи анализа по дифференциальным семантическим признакам на уровне функционирования словоформ в тексте. Анализ грамматических категорий слова в тексте (с проекцией на систему языка) автор рассматривает как одну из сторон функциональной грамматики. Исследование грамматических категорий в тексте должно раскрывать аспекты грамматического строя языка, выявляемые в тексте.

В докладе Т. М. Николаевой (Москва) «Конституционная обусловленность высказывания как единого семантического целого» был поставлен вопрос о связи двух формулируемых явлений — целостности семантики высказывания (в некотором аспекте) и его потребности в распространении контекстно-конситуационным окружением. Семантическая связность высказывания рассматривалась на материале зависимости таких явлений, как определенность/неопределенность имени, вид глагола-сказуемого, тип темпорально-локального актуализатора. Оказалось, что и эти связанные параметры определенным образом соотносятся с возможностью/невозможностью элиминировать местоименный детерминант при имени и степенью включенности в коммуникативное окружение. В этом окружении различаются три фактора: пресуппозитивный, конситуативный и непосредственно контекстуальный. Материалом исследования служили высказывания с частицами, основная коммуникативная специфика которых, способность отбрасывать «теневой, неявный», дополнительный по отношению к основному высказыванию, смысловой комплекс (*Даже он не вернулся → Он-то должен был вернуться*; *Только он не вернулся → Остальные вернулись* и т. п.). Этот «теневой» комплекс

может по-разному воплощаться и реализовываться: в виде контекстов (анафорически/катафорически, большей/меньшей протяженности), оставаться не выраженным вербально, но обеспечивать ситуационное или пресуппозиционное единство участников коммуникации. Т. М. Николаева связывает выбор каждой из этих возможностей коммуникативного дополнения основного высказывания с его общей семантикой.

В докладе М. В. Ляпон (Москва) «Структура отношения и ситуативные условия его реализации в сложном предложении» рассматривались аргументы, мотивирующие отнесенность сложного предложения к единицам текстового уровня. Семантическая структура сложного предложения формируется как взаимодействие двух конкурирующих начал: нейтрально-информативного и субъективно-концептуального. Процесс разграничения этих начал оказывается многоступенчатым. Семантический потенциал отношения (и соответственно союза — как знака и квалификатора отношения) не всегда поддается одномерной детерминации. Этот потенциал характеризуется, во-первых, определенной глубиной, во-вторых, нуждается в разноаспектной характеристике (т. е. может быть интерпретирован и на формально-логическом уровне, и в аспекте коммуникативной ценности). Сложное предложение является точкой приложения той мыслительной активности, без которой не образуется текст как продукт речевой деятельности индивидуума. Выбор союза, с помощью которого говорящий соединяет два фрагмента информации, когда он строит высказывание в форме сложного предложения, есть операция умозаключения, потому что этот выбор предопределен тем выводом, к которому говорящий приходит, оценивая и квалифицируя отношения между фрагментами информации.

В докладе Е. С. Копорской (Москва) «Семантические преобразования слова контекстуально стимулируемые и контекстуально нестимулируемые» говорилось о том, что вопрос об обусловленности/необусловленности изменений значений слов контекстом является одним из аспектов общей типологии семантических процессов, построенной на широких и существенных для истории языка основаниях и учитывающей множественность и опосредованность воздействия различных факторов. На разных уровнях этой типологии контекстные связи могут выступать как фактор нейтральный по отношению к причинам, стимулирующим семантические преобразования слов, могут быть основным фактором, вызывающим изменение семантики слова, и могут являться дополнительным фактором, корректирующим формирование значения слова, среди других причин, обусловливающих семантические процессы.

К. П. Смолина (Москва) выступила с докладом «Виды контекстуальных позиций слова в их отношении к его лексическому значению». Большое внимание в этом докладе было уделено изучению коррелирующих позиций слова в тексте, при которых создаются условия для реализации заложенных в его лексическом значении «скрытых» смысловых элементов. Такие коррелирующие противопоставления в историческом плане еще мало изучены. Выявление же их дает возможность установить семантический потенциал слова в определенные периоды его развития и обнаружить как устойчивые, так и неустойчивые смысловые элементы в лексическом значении слова и на основе этого определить этапы его смыслового развития.

В докладе Н. Ю. Шведовой (Москва) «Типы контекстов, конструирующих многоаспектное описание слова» развивался тезис о том, что языковые условия существования слова имеют тройственный характер. Это, во-первых, условия существования слова в кругу его смысловых партнеров и смысловых антиподов, т. е. в границах лексического класса (группы, ряда и т. д.) и, одновременно, в условиях смысловых противопоставлений, разнообразных семантических оппозиций и отталкиваний. Во-вторых, это условия разнообразных синтаксических связей слова, его непосредственно линейных окружений, как закрепившихся в языке (системных, стабильных), так и новых, становящихся, поначалу индивидуальных или окказиональных. В-третьих, это условия бытования слова в пределах характерных для него содержательных целостностей, в контексте таких речевых ситуаций, собственно языковые границы которых, в отличие от целостностей синтагматических и парадигматических, не могут быть строго и четко определены. Таким образом, лексическая единица всегда существует одновременно в контексте класса, в контексте текстовой последовательности и в содержательном контексте речевой ситуации. Описание слова в словаре есть не что иное, как специально концентрированная препарация названных типов контекстов в разных их отношениях. В идеале словарная статья является многоаспектной конденсацией разнообразных и полифункциональных окружений слова, его принадлежностей к классу и тех экстралингвистических ситуативных условий, в которых это слово функционирует.

Закрывая чтения, чл.-корр. АН СССР О. Н. Трубачев отметил большую теоретическую и практическую ценность, актуальность и высокий научно-теоретический уровень всех прочитанных докладов.

Лазуткина Е. М., Суханова М. С
(Москва

CONTENTS

Articles: Beloded I. K. (Kiev). The importance of Russian-Ukrainian linguistic interaction in the formation of norms of the New Ukrainian literary language; **Discussions:** Gamkrelidze T. V. (Tbilisi), Ivanov V. V. (Moscow). The series of gutturals in Indo-European. The problem of the centum and satəm languages; Edelman D. I. (Moscow). The substrat heritage of the Central-Asian language union; Potaenko N. A. (Chita). Dictionary definitions as a means of eliciting the structural organisation of the word-stock; **Materials and notes:** Nazarenko A. V. (Moscow). On the name *Rus'* in the German linguistic sources of the IX—XI centuries; Grinbaum N. S. (Leningrad). The ancient Greek literary language. The late Hellinistic period; Ušakov V. D. (Moscow). On some stylistic figures in the works of 'Abdalqāhir Jurjānī; Poroxova O. G. (Leningrad). Words with non-pleophonic structure in Russian dialects; Kovtun L. S. (Leningrad). Old Russian ABC-books or alphabets of foreign languages in the XVI—XVII centuries; Kuznecova R. D. (Kalinin). On the function of the demonstrative pronouns in the complex sentence; Murjanov M. F. (Moscow). On the history of the adjectival inflection *-ого*; Glonti A. A. (Tbilisi). On the three suffixes of plurality in Georgian; Xaidakov S. M. (Moscow). Durative action and the ergative construction (based on the materials of the Daghestan languages); **Reviews: Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: Beloded I. K. (Kiev). L'importance de l'interaction linguistique russe-ukrainienne pour la formation des normes de l'ukrainien nouveau littéraire; **Discussions:** Gamkrelidze T. V. (Tbilissi), Ivanov V. V. (Moscou). Les séries gutturales en indo-européen. Le problème des langues centum et satəm; Edelman D. I. (Moscou). L'héritage des substrats dans l'union linguistique de l'Asie Centrale; Potaenko N. A. (Tchita). Les définitions dans les dictionnaires en tant que moyen pour la recherche de l'organisation structurelle du vocabulaire; **Matériaux et notices:** Nazarenko A. V. (Moscou). A propos du nom *Rus'* dans les sources linguistiques allemandes de IX—XI siècles; Grinbaum N. S. (Léningrad). Le grec ancien littéraire. La dernière période héllénistique; Ušakov V. D. (Moscou). Sur quelques figures stylistiques dans l'oeuvre de Abdalqāhir Jurjānī; Poroxova O. G. (Léningrad). Mots de structure non-pléophonique dans les parlers russes; Kovtun L. S. (Léningrad). Les abécédaires ou alphabets des langues étrangères en tant que sources linguistiques de vieux-russe de XVI—XVII siècles; Kuznecova R. D. (Kalinin). Sur la fonction des pronoms démonstratifs dans la phrase complexe; Murjanov M. F. (Moscou) Sur l'histoire de la désinence adjectivale *-ого*; Glonti A. A. (Tbilissi). A propos des trois suffixes de pluralité en géorgien; Xaidakov S. M. (Moscou). L'action durative et construction ergative (fondé sur les matériaux des langues du Daghestan); **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Т. Н. Сенченко*

Сдано в набор 30.06.80 Подписано к печати 03.09.80 Т-12749 Формат бумаги 70×108¹/₁₆
Высокая печать Усл. печ. л. 14,0 Уч.-изд. л. 16,1 Бум. л. 5,0 Тираж 7027 экз. Зак. 3251

Издательство «Наука», 103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099 Москва, Шубинский пер., 10